БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Денис Лешков



Партер и карцер

Библиотека мемуаров



Денис Лешков

ПАРТЕР И КАРЦЕР

В зеркале высокого и непреходящего прошлое значительно ближе настоящего...

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ



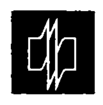
...Нас в балете считали за богатых рантье, что отчасти было и хорошо, ибо иначе нам не удалось бы проникнуть в самую гущу актерской среды и изучить ее.

Денис Лешков

Партер и карцер

Воспоминания офицера и театрала

Библиотека мемуаров



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2004

УДК 92
ББК 85.335.42
Л 53

*Составление,
предисловие и комментарии
Т. Л. ЛАТЫПОВОЙ*

*Серийное оформление
К. Г. ФАДИНА*

ISBN 5-235-02517-2

Забытый хроникер

Если бы не это кошмарное время и имелась бы фактическая возможность посвятить достаточно времени, — то, кажется, здесь хватило бы на всю жизнь интереснейшей работы, хотя бы на одни монографии и разработку исторических материалов, но увы... Видимо, так всегда в жизни и бывает, что «бодливой корове Бог рогов не дает».

Из письма Д. И. Лешкова
к А. А. Бахрушину

Счастлив и уверен в себе историк, приступающий к изучению того или иного этапа существования дореволюционной России: в его распоряжении, помимо всяческих документов, непременно есть огромный корпус мемуаров и дневников, ценнейших свидетельств, «озвучивающих» исследуемый период и наполняющих его зорким и вдумчивым субъективизмом. По-иному в этом смысле приходится работать тому, кто пытается проникнуть в тайны тех десятилетий нашего бытия, которые обычно величают «историей советского общества»: количество «человеческих документов» резко сокращается, а отдельные исторические эпизоды как будто и вовсе обойдены вниманием мемуаристов. Историк вынужден опираться на прочие источники и втихомолку завидовать коллегам, не имеющим понятия о «мемуарном голоде».

Вывод лежит на поверхности, и он, к сожалению, безрадостен. Люди, *успевшие родиться и сформироваться до революции*, словно получили в наследство некий мемуарный ген — и они, обладатели такового кода, стали *последним* российским поколением, которое — именно как *поколение* — продолжило вековые культурные традиции мемуаристики и — опять же как *поколение* — завершило золотой век этого жанра. Ушли эти *успевшие* люди — процесс создания воспоминаний продолжился, но стал маргиналией жизнедеятельности, выпал из норм этикета, обернулся сугубо частным и не слишком распространенным времяпрепровождением.

Мемуарных книг начала XX века опубликовано немало, однако еще больше их сохранилось в рукописях, так и не дошедших по разным причинам до типографского станка. Среди последних — и записки нашего героя. Записки эти едва ли можно отнести к выдающимся памятникам культуры, но тем не менее они весьма любопытные, колоритные, явно незаурядные — типичный образчик уходящей культуры воспоминательного письма.

Волшебный мир театра и закулисные приключения; «звезды» при свете рампы и в бытовом полумраке; полнокровная жизнь столичной и провинциальной молодежи; уморительные похождения кадетов и офицеров; амурные коллизии и серьезные деловые предприятия; Петербург, Кронштадт, Рига, Кавказские Минеральные Воды — все это и многое другое ожидает рискнувшего открыть эту книгу уже через мгновения.

Итак, наш герой, Денис Иванович Лешков (его настоящая фамилия Ляшков) родился 3 декабря 1883 года в Гельсингфорсе в семье окружного следователя И. Д. Ляшкова. Вскоре отца перевели в Петербург, где он получил новый чин и место судьи Петербургского Военно-окружного суда. Ранняя кончина И. Д. Ляшкова во многом предопределила характер образования, которое вдова пожелала дать единственному сыну (были еще дочери). В память о супруге она решила сделать Дениса офицером и посему начала хлопотать о допущении сына к экзаменам в один из петербургских кадетских корпусов. Исходя из возможных вакансий, мать выбрала, однако, 3-й Московский, но тут ситуация неожиданно изменилась: «18 августа, за 2 часа до нашего отъезда <в Москву>, пришла 2-я бумага, уже из Окружного суда, по которой мне, как сыну военного судьи, предоставлялась стипендия генерала Стрельникова во 2-й Кадетский корпус в Петербурге»[1]. Честь и хвала благодетелю юноши — но, как вскоре выяснилось, военная стезя стала лишь *фоном* подлинной биографии стипендиата.

---

[1] РГАЛИ, ф. 794, оп. 1, ед. хр. 17, л. 16.

Летом его семья обычно жила в Павловске, и музыкальный Павловск пленил взрослеющего Лешкова. «Каждый вечер, аккуратно, все шли, невзирая ни на какую погоду, на вокзал на музыку (меня после 1-го отделения, иногда после 2-го, уводили домой спать), — вспоминал он о лете 1899 года. — С самых ранних лет я очень любил музыку и помню, что часто не засыпал иначе как под музыку (непременно какое-нибудь место из «Аиды» или «Фауста»). В Павловске на музыкальных вечерах я в эти годы не пропускал ни единого звука; забирался всегда к самой эстраде и слушал так до конца». Заметим, что одаренный мальчик в бытность свою кадетом начал поигрывать сперва на балалайке, затем расширил это увлечение, освоив альт и бас, а в старших классах приобщился к музыкально-общественной деятельности: продолжая традиции корпуса, Лешков из года в год собирал оркестр балалаечников. В каникулярное время такой оркестр обычно составлялся из учащейся молодежи Павловска и Царского Села: «Летом 1899 года я опять собрал оркестр, на этот раз довольно большой (20 челов<ек>), причем появились впервые 3 домры (2 альтовых и 1 малая). <...> На этот раз успех оркестра (после немалой, впрочем, с моей стороны работы) был очень велик. Мы стали участвовать в благотворительных и любительских концертах и спектаклях, играть в частных домах, у знакомых на вечерах и т. д. — словом, приобрели себе некоторую известность».

Собственно кадетская жизнь, учеба и развеселые проделки явно отодвигались на периферию существования. Предполагаем, что терпеливые преподаватели корпуса (а таковые наверняка были и, видимо, преобладали) могли умиляться, когда кадет Лешков соблаговолял слушать урок, а не писал ноты и не составлял бесконечные партитуры для своего оркестра. А ведь нотами стипендиат ограничиваться и не собирался: страсть к музыке вскоре дополнилась столь же бурным увлечением «волшебным краем» театра. «Лето 1901 года было полно самых разнообразнейших приключений, — писал позднее Лешков. — Его следует отметить особенно, ибо это было начало нового направ-

ления моего существования на сем свете — а именно увлечения драматическим искусством, да не в смысле частого хождения в театры, а в смысле соприкосновения к этому делу собственной персоной. Впрочем, я отнюдь не пытался пробовать свои способности на подмостках, а лишь занимал скромную должность суфлера». Некий И. Г. Вольфсон, друг семьи Ляшковых, актер средней руки, в ту пору договорился с Павловским попечительством о народной трезвости касательно постановки ряда спектаклей на имеющейся при чайной попечительства сцене. Денис Лешков помогал театралу собирать труппу, которая разыграла пьесу В. Крылова «В осадном положении». Кадет лицезрел представление *из суфлерской будки;* этим делом Лешков не без успеха занимался вплоть до присвоения ему офицерского чина.

В жизни, наверное, почти любого человека случаются эпизоды или моменты, которые допустимо трактовать как «знаковые»: они, эти разнохарактерные мгновения, как бы «высвечивают» суть той или иной человеческой судьбы, становятся точным и емким эпиграфом к пройденному пути. Такой «знаковостью» обладало и суфлерство Лешкова.

Учеба в кадетском корпусе, такая необременительная и «художническая», между тем подошла к концу. Лешков мечтал продолжить образование в консерватории. В тайных грезах он видел себя знаменитым дирижером. Пытаясь как-то приблизить день славы, он завязал отношения с профессорами Петербургской консерватории Н. А. Римским-Корсаковым и Н. Ф. Соловьевым. «Римский обещал мне принять меня, немножко экзаменовал и отнесся вообще симпатично. Соловьев же, узнав, что я кончил корпус и имею право на поступление в военное училище без экзамена, в продолжение 1 $^1/_2$ часов отговаривал меня от консерватории, говоря, что там трудно пробиться, карьера незавидная и т. д.». Пробиться, видимо, и впрямь было трудно, мэтр не лукавил, но еще труднее оказалось убедить целеустремленную матушку.

Мать как будто дала себе зарок и твердой рукой вела

Дениса по жизни в строго определенную сторону. Теперь она настояла на продолжении военного образования, причем обязательно в Константиновском артиллерийском училище, которое в свое время окончил отец Лешкова. Денис Иванович — как примерный сын и как *суфлер* — опять подчинился и, похоже, не сокрушался впоследствии.

Более того: годы, проведенные в училище, Лешков считал самыми счастливыми в жизни. И, разумеется, не потому, что он воспылал любовью к премудростям соответствующих наук и ощутил в себе «военную косточку». Ничуть не бывало: марсовы утехи по-прежнему навевали скуку и сон. Просто это были годы молодости (заинтригуем читателя: и какой молодости!), совпавшие к тому же с новыми, едва ли не самыми сильными и долговременными театральными пристрастиями.

Лешков близко познакомился с балетным искусством и буквально заболел им. Центр его жизни в 1904 году «перенесся на галерею Мариинского театра, откуда я стал жадно пожирать глазами пируэты, двойные туры и rond de jamb'ы наших прелестных танцовщиц», — признавался будущий офицер-артиллерист. Лешков и его приятели постоянно дежурили у касс, дабы получить билеты на галерку, захватить лучшие места под крышей казенных театров и оттуда рукоплескать кумирам, попутно обшикивая их конкурентов. Естественно, в училище все разговоры вращались вокруг вчерашнего лицедейства, назавтра — вокруг сегодняшнего, и так постоянно. Какая уж тут военная наука, когда вышла такая диспозиция...

Юнкер всецело погрузился в омут околотеатральной, «клубной» жизни с неизбежными распрями балетных «партий», артистическими ужинами после спектаклей, которые следовали непрерывной чередой. Он свел знакомство с легендарной М. Кшесинской и был в числе наиболее преданных ее поклонников, устроивших, как мы узнаем из его мемуаров, триумфальное шествие балерины после прощального бенефиса. В то время на балетном небосклоне восходила новая звезда — Анна Павлова, и с ней Дениса

Лешкова связала многолетняя дружба. Он стал истинным ценителем ее таланта. За благоговейным преклонением перед корифеями сцены последовали увлечения влюбчивого молодого человека юными танцовщицами — воспитанницами Петербургского театрального училища. Интерес к «царству Терпсихоры» вытеснял все прочие мелочи житейской суеты и намечал вехи дальнейшей жизни.

Годы Константиновского училища пролетели незаметно, как премьера с блистательной примадонной. Наступил час «разборки вакансий» и отбытия к месту службы. Для многих новоиспеченных офицеров решающим фактором «распределения» был не род войск, но близость к Северной столице. Лешков весьма удивил начальство: выпускник не только не делал различия между конной, пешей или крепостной артиллерией, но и охотно соглашался отбыть в «глубинку», в непрестижную Кронштадтскую крепость. Отцы училища не ведали, что за безразличием в данном случае скрывалось твердо принятое решение: обретая погоны, Лешков мысленно уже был готов при первой оказии скинуть мундир.

Однако годы службы в Кронштадте не обернулись чередой скучных, однообразных будней. Лешков со страстью буйной молодости предавался всяческим удовольствиям и порокам офицерской жизни. Он участвовал в бесшабашных кутежах и проделках сослуживцев, увлекся азартными играми в карты, которые стали источником его материального благополучия. Но по-прежнему главный его интерес был сосредоточен на талантах балетной сцены. Он становится завсегдатаем Мариинского театра, внимательно следит за премьерами и новыми веяниями балета. Цепкий взгляд умного человека и искушенного театрала, не скованного профессиональными штампами, выхватывал занятные детали, добавляющие новые оттенки в многокрасочную жизнь русской сцены начала XX века. Лешкова привлекало не только то, что совершалось на сцене, но и перипетии закулисной жизни. Расширялся круг его артистических знакомств. Он становился «своим» в театральном мире.

На период офицерской службы поручика Лешкова пришлось знаменитое Кронштадтское восстание, свидетелем подавления которого ему довелось стать. Оно, увиденное необычайно остро и неожиданно, не могло не повлиять на его общественно-политические взгляды и укрепить в мысли об уходе из армии, пребыванием в которой он тяготился.

По окончании трехлетия обязательной службы он действительно вышел в отставку. Вышел — и почти полностью посвятил себя любимому делу. Лешков серьезно изучает теорию и историю балета, публикует множество критических статей, рецензий и заметок, ведет в некоторых изданиях балетную хронику. К 1908—1909 годам относится начало его работы в «Ежегоднике Императорских театров», где он трудился над статистикой балетных спектаклей. В те же годы Денис Иванович принял участие в организации антрепризы в Риге балетной труппы Мариинского театра во главе с А. Павловой. Активной деятельности почти «под сенью кулис» не помешала и серьезная болезнь ног, поразившая Лешкова в 1906 году и заставившая балетомана наведываться на Кавказские Минеральные Воды (вероятно, именно эта болезнь, постоянно прогрессировавшая, и свела нашего героя преждевременно в могилу; дало о себе знать и чрезмерное усердие на ниве житейских удовольствий). Пожалуй, как раз в предвоенные годы Лешков менее всего походил на *суфлера* и заставил считаться с собой в рафинированных околотеатральных кругах.

Затем разразилась Великая война — и страстный поклонник «легких ножек» и пируэтов не счел для себя возможным уклониться от исполнения воинского долга. Спустя годы он рассуждал так: «К числу военных побуждений я отношу грандиозность развернувшихся событий, всеобщий патриотический подъем (хотя я очень плохой патриот в том смысле, в каком это принято понимать), уход на войну или в сферу деятельности, с ней связанную, многих близких знакомых и так называемых друзей (которых в действительности у меня никогда не было) и, наконец, сознание какой-то неловкости быть совершенно в стороне от

этой мировой эпопеи, будучи способным принести пользу и имея все-таки специальное артиллерийское образование». Нетрудно заметить, что гигантскую битву народов Лешков в какой-то степени воспринимал и как грандиозное театрализованное представление. Правда, в ходе этого представления говорили пушки — и примолкли музы; подчинилась общему закону и муза балетомана. Лешков вернулся с фронта лишь в августе 1917 года...

Что было потом — ведомо каждому: настало «кошмарное время». В нем Лешкову предстояло жить — и он, больной и не слишком приспособленный, выдюжил полтора десятилетия...

Спасал театр; вернее, славное *прошлое* театра. В 1919 году был образован архив Управления государственными академическими театрами. В нем Лешков проработал главным архивариусом и заведующим в течение восьми лет. О своих бедах он доверительно сообщал А. А. Бахрушину, с которым был связан дружескими отношениями и общим делом пополнения коллекций Бахрушинского музея: «За последнее время мне неизбежно приходится сталкиваться довольно широко с театрально-музейными вещами, ибо я вот уже полгода как состою в должности заведующего Архивом государственных петроградских театров. У меня в руках прямо колоссальный литературно-исторический материал по б. Императорским театрам, не исключая и московских (ибо при петербургской конторе было особое делопроизводство по моск<овским> театрам). Если бы не это кошмарное время и имелась бы фактическая возможность посвятить достаточно времени — то, кажется, здесь хватило бы на всю жизнь интереснейшей работы, хотя бы на одни монографии и разработку исторических материалов, но увы... Видимо, так всегда в жизни и бывает, что «бодливой корове Бог рогов не дает». У меня в архиве (это бывшая квартира Крупенского) температура 0° и ниже, связки дел и документов покрыты инеем; брать на дом неудобно, а там заниматься до лета нечего и думать»[1]. Складывается впе-

[1] ГЦТМ, ф. 1, ед. хр. 1510, л. 3—3 об.

чатление, что Лешков — хотя бы отчасти или по цензурным соображениям — сетовал на сугубо *бытовые* неурядицы, не позволявшие ему «развернуться». Вряд ли он не понимал, что *такие* занятия при новом режиме трудноосуществимы по иным, более глубоким причинам, что в «кошмарное время» история императорского балета, мягко говоря, малоактуальна, а «бодливые коровы» в лучшем случае терпятся, но никак не поддерживаются.

Однако наша «бодливая корова», смиренно принимая невзгоды, как всегда не унывала. Лешков, к примеру, загорелся идеей издания театральной энциклопедии. Он составил ряд картотек (по большей части, видимо, утраченных) по всяческим вопросам театральной жизни. Кроме того, он усиленно собирал все, так или иначе относящееся к балету: программы, газетные статьи и рецензии, изобразительные материалы... В сложных условиях он подготовил к публикации дневник и переписку выдающегося балетмейстера и педагога И. И. Вальберха, о чем даже появилось извещение в «Еженедельнике петроградских государственных академических театров», — но книга так и не вышла в свет[1]. К Лешкову обращался за консультациями видный историк балета А. А. Плещеев, который намеревался привлечь Дениса Ивановича к работе над новым изданием популярной книги «Наш балет», — сорвалось и это предприятие (а потом А. А. Плещеев эмигрировал). В общем, какие-то историко-культурные дела потихоньку делались, но слишком медленно, с чересчур большими препятствиями — а время-то уходило...

Денис Иванович Лешков скончался в 1933 году. Таким образом, ему было отпущено ровно полвека жизни. Театральная «общественность», кажется, и не заметила ухода труженика. Зато поживиться за счет покойного желающие нашлись; и не просто поживиться — но и поглумить-

---

[1] Издание мемуаров и писем И. И. Вальберха состоялось лишь в 1948 году (подготовка текста и примечания А. А. Степанова, под редакцией Ю. И. Слонимского). Рукопись книги, подготовленной Д. И. Лешковым, его сестра Ольга (художница) вместе с другими материалами передала в Государственный литературный музей, откуда весь фонд впоследствии поступил в РГАЛИ.

ся попутно над каким-то там «архивариусом». Ушлый М. В. Борисоглебский, составитель двухтомника «Прошлое Балетного отделения Петербургского Театрального училища, ныне Ленинградского Государственного Хореографического училища. Материалы по истории русского балета» (Л., 1938—1939), всячески принижал Лешкова, обвинял в некомпетентности и отсутствии «прилежания» и т. д. А потом выяснилось, что «зоил» нечист на руку и, выражаясь без эвфемизмов, украл у «дилетанта»-исследователя множество ценнейших документов, не побрезговав и фрагментами неопубликованного очерка Лешкова на нужную тему. Что ж, *так* обойтись можно было только с *суфлером* (чай не знаменитость, чего церемониться!). Маленькое утешение: наследники умершего предъявили иск Ленинградскому хореографическому училищу о незаконном использовании в вышедшем сборнике некогда отклоненной рукописи Дениса Ивановича, и — надо же! — экспертиза, проведенная в Научно-исследовательском институте театра и музыки, признала иск обоснованным. Только ведь на трактате осталась фамилия лихоимца, а каков тираж акта, обеляющего Лешкова? То-то и оно...

Таков в самых общих чертах абрис жизни нашего героя. Жизни вроде бы и короткой, сполна так и не состоявшейся, мало чем примечательной, без «звездного часа» или даже минуты. Обыденная жизнь, скромный посмертный фонд в архиве... Но мы знаем: когда-то за все воздается. Закономерная неожиданность случилась и тут. Случайное обращение к материалам фонда, а там — мемуары Дениса Ивановича Лешкова... Тринадцать тонких тетрадей, исписанных карандашом, без исправлений. Разумеется, неизданные, и «лист использования» не испещрен именами любопытных посетителей хранилища.

Мемуары человека, принадлежавшего (внимание!) к *последнему поколению* россиян-мемуаристов.

Листаем их, вчитываемся — и понимаем, что эти тетради — главный *удавшийся* труд жизни Дениса Лешкова; если угодно — ее, жизни, оправдание.

* * *

Воспоминания Лешкова принадлежат к тому роду литературы, о котором довольно трудно писать обширные критики. Это так называемое *«занимательное чтение»* (мы используем такую характеристику вовсе не в уничижительном или насмешливом смысле). Их легко и приятно именно читать — и столь же неловко (непродуктивно?) анализировать концептуально, загоняя творение в жесткие типологические рамки. Есть у сочинения Дениса Ивановича какой-то неуловимый *мемуарный шарм*, который и придает тексту «необщее выражение», и красноречиво глаголет о дарованиях автора, и упорно сопротивляется сухому научному толкованию. Вот почему мы не будем рассуждать здесь о «методах», «приемах», «вкладе» и прочем — но ограничимся несколькими общими словами.

Публикуемые в нашей книге мемуары Лешкова разделены составителем на части. Первые две создавались в 1901—1907 годах и повествуют о времени с момента рождения мемуариста и до 1907 года. В третьей части (которая легла на бумагу, по всей вероятности, в конце 1920-х — начале 1930-х годов и представляет собой заключительные главы поздних, не дошедших до нас полностью воспоминаний Лешкова) действие доведено до 1927 года, и последняя глава описывает «агонию русского искусства». Впечатляющая арифметика: автор, пусть и с перерывами, но работал над воспоминаниями фактически *половину жизни;* и еще: Лешков приступил к ретроспективному художественному процессу в *восемнадцатилетнем* возрасте! Что ж, он достойно поддержал реноме последнего поколения мемуаристов.

Повествование Лешкова уместно, пожалуй, назвать «хроникой». В пределах этой калейдоскопической рукописи, не всегда строго последовательной и эстетически выдержанной, ему удалось рассказать о многом и о многих, не забывая и собственную персону. Наверное, мемуары подтвердили, что автор прошел по жизни *суфлером*. Но те же главы и страницы позволяют сделать важное уточнение: суфлером Денис Лешков был *очень талантливым*.

Как молвил бы персонаж высокопарной пьесы, наш ге-

рой отказался от буквы *«я»* в фамилии, но от собственного «я» в жизни никогда и нигде не отрекался. Хочется верить, что читатели мемуаров согласятся с такой репликой гипотетического актера.

Признаемся: мы чуть-чуть завидуем читателю, открывшему эту книгу. Но зависть легко уживается с удовлетворением: ведь теперь многие узнают нашего героя, нашего жестоко обиженного *суфлера* — и забытый хроникер, полагаем, не утомит их.

Т. Л. Латыпова

Часть первая

Собрание воспоминаний детства, кадетской и юнкерской жизни



I

Детские годы в Гельсингфорсе и Петербурге. — Лето в Павловске и Озерках. — Первые музыкальные и театральные впечатления. — Учение в частной школе и в Подготовительном пансионе А. Н. Черниковой. — Экзамен в 1-й Кадетский корпус

Карцер 1 роты 2 К<адетского> к<орпуса>.
Апрель 1901 года.

Я родился 3 декабря 1883 года в городе Гельсингфорсе (в Финляндии).

Отец мой, Иван Денисович Ляшков, был родом из Сибири. Малолетство свое он провел в Томске; там же воспитывался в гимназии; с 14-летнего возраста он был поставлен в необходимость сам себя содержать и платить за себя в гимназию. Кончивши ее, он на скопленные от уроков деньги приехал из Томска в Петербург, чтобы продолжать образование в университете, но пробывши в нем 1 $^{1}/_{2}$ года, по некоторым причинам, остающимся как для меня, так и для всех неизвестными, он решил идти в военную службу и поступил в 1865 году в Константиновское военное училище. По способностям он всегда выделялся из общей среды и кончил в 1867 году училище фельдфебелем с записью на мраморной доске, и был выпущен офицером в лейб-гвардии Измайловский полк. По прошествии законных 3-х лет, он поступил в Александровскую Военно-юридическую академию, которую опять кончил первым с производством в штабс-капитаны. Почти сразу после окончания академии он женился и получил место помощника военного следователя в Гельсингфорсе. В 1883 году, когда я родился, он был уже подполковником и занимал место окружного следователя. В промежутке между 1883—1885 годами с отцом произошло много оказий, следствием которых был переезд в Петербург. Началось с того, что при осмотре строившихся

тогда пригородных укреплений (капитальные постройки, в которых принимала участие огромная масса рабочих под наблюдением целого штата военных инженеров и техников; имена некоторых из них были в то время известны по всей России) совершенно случайно натолкнулись на факт, сильно всех озадачивший: в укрепление, на которое впоследствии предполагалось как на фундаменте строить здание и ввозить тяжелейшие орудия, — палка (обыкновенная тросточка) совершенно свободно вошла по рукоять! Осматривая далее, нашли много подобных сему вещей, и на господ инженеров явилось подозрение в нечистом ведении дела. Отцу же моему и поручили вести следствие. После нескольких месяцев ведения дела он выкопал целую организованную шайку генералов, полковников, военных инженеров и строителей, совершивших на этом деле колоссальнейшее мошенничество. В этот период времени следствия отец получал целые пачки анонимных писем и предупреждений с советами бросить дело. В один прекрасный день даже явился «некто» лично и предложил значительную сумму только за то, чтобы отказаться от ведения следствия, сославшись на болезнь или что-нибудь вроде того. Отец не согласился и следствие продолжал, раскрывая с каждым днем более и более колоссальные недочеты (т<ак>, напр<имер>, оказалось, что здания и постройки, которые по бумагам обошлись в несколько сот тысяч рублей и на которые текущий счет продолжался, — вовсе на самом деле не существовали). Когда все усилия прекратить следствие остались тщетны, тогда организация, которая была велика и сильна (некоторые из членов ее были близки к сильным мира сего и пользовались огромными правами, и могли что угодно сделать), устроила (без ведома отца) так, что он вдруг случайно был произведен в полковники и получил место окружного судьи в Петербург (место труднодоступное и для его молодых сравнительно лет высокое). Это было в 1885 году.

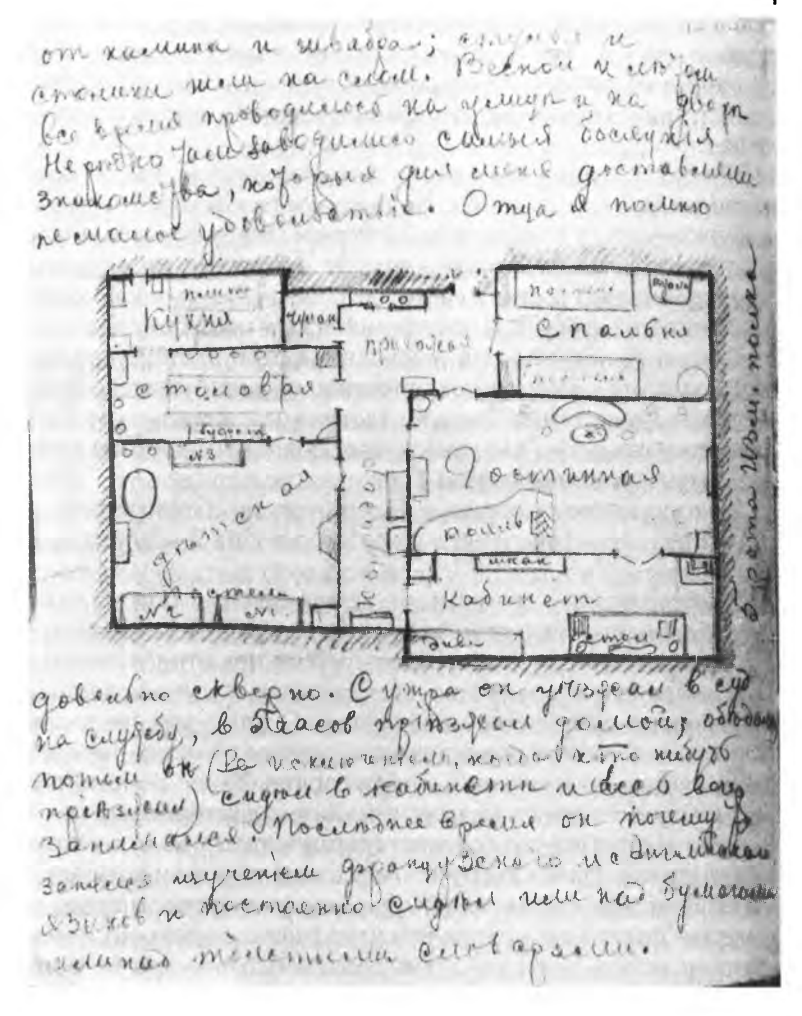
По приезде в Петербург отец имел лично аудиенцию у Императора Александра III, на которой подал донесение о «Свеаборгском деле» и о переводе не по заслугам на место судьи. Месяц спустя Александр III на должности окружного судьи отца утвердил, а следствие о «Свеаборгском деле» приказал продолжать. Спустя некоторое время отец натолк-

нулся среди участников на «чересчур сильных мира сего» и принужден был отказаться от дальнейшего ведения дела. 14 военных инженеров было отправлено на поселение в Сибирь, масса участников рассортирована по «всевозможным местам злачным». (Впрочем, часть отправленных на Сахалин попала под Высочайший манифест и была возвращена с разрешением поселиться в Южно-Волжских губерниях.)

Таким образом, в 1885 году все семейство наше (отец, мать, две сестры и я) переехало в Петербург.

За период времени с 1885 по 1888 год воспоминаний никаких нет; я только смутно помню, что перенес за эти три года несколько серьезных болезней, как-то: корь, скарлатина. Помню, как заболела старшая сестра дифтеритом; тогда меня и другую сестру на время куда-то увозили. В это же время всем семейством ездили на лето в предместье Гельсингфорса Мальма — этого я даже не подозревал бы, если бы не узнал об этом впоследствии. Потом жили следующий год в Дудергофе, о котором, исключая слабого представления в памяти какого-то пруда, груды камней около дороги, леса с грибами и пр., ничего не осталось. Ясные воспоминания начинаются только с 1889 года, полного более или менее крупных событий. Из чисто детских воспоминаний осталось воспоминание о ежедневном времяпрепровождении. Как у меня, так и у всех детей, с которыми я общался, игрушки (то есть разные покупные вещицы) совершенно игнорировались, а во всякой игре необходимыми являлись по большей части гладильная доска, заслонка от камина и швабра; стулья и столики шли на слом. Весной и летом все время проводилось на улице и на дворе. Нередко там заводились самые босяцкие знакомства, которые для меня доставляли немалое удовольствие. Отца я помню довольно скверно. С утра он уезжал в суд на службу, в 5 часов приезжал домой, обедали, потом он (за исключением, когда кто-нибудь приезжал) сидел в кабинете и весь вечер занимался. Последнее время он почему-то занялся изучением французского и английского языков и постоянно сидел или над бумагами, или над толстыми словарями.

Судя по рассказам позднейшего времени, я был ребенок далеко не из тихеньких и нередко творил вещи, описание которых в печать не приняли бы. Телесных экзекуций со



мной отродясь не производили, и единственным наказанием являлись выговоры отца, из которых я только помню выражение его: «Так, брат, нельзя!»

Лето этого года жили мы в Павловске (<1 Оранская>, д<ача>Захарова). Каждый вечер аккуратно все шли, невзирая ни на какую погоду, на вокзал на музыку (меня после 1-го отделения, иногда после 2-го, отводили домой спать).

Возвращались домой по бульвару с фонариком. В июне или в июле отец уезжал зачем-то в Архангельск (должно быть, по делам службы). Я помню, как провожали его; он обещался привезти оттуда самоедские шапки и тулупы и шоколадных рыб.

С самых ранних лет я очень любил музыку и помню, что часто не засыпал иначе как под музыку (непременно какое-нибудь место из «Аиды» или «Фауста»). В Павловске на музыкальных вечерах я в эти годы не пропускал ни единого звука; забирался всегда к самой эстраде и слушал так до конца. Конечно, понимать симфонические произведения в 6 лет я едва ли мог, на меня, очевидно, в равной степени влияли и красота звуков, и механическое их воспроизведение.

Днем меня, обыкновенно, таскали по «сеткам», «розовым павильонам», «никсам» и тому подобным достопримечательным детским местам Павловского парка.

Вскоре после переезда в Петербург, приблизительно в конце октября, отец опять уехал по делу на 2—3 недели в Выборг.

К обещанному времени он не вернулся; я помню, как мать беспокоилась о том, что могло его задержать. Однажды вечером пришла телеграмма о болезни отца в дороге. Поздно вечером в этот день его привезли с вокзала в карете и внесли на носилках в квартиру. С этого дня началась постоянная толкотня докторов и сиделок. У отца определили воспаление легких и порок сердца. Такое положение вещей продолжалось недели три. Затем докторов все прибывало и прибывало (соответственно этому болезнь шла хуже и хуже). Однажды вечером все они устроили консилиум и после долгих разговоров решили, что кризис прошел и болезнь пойдет на выздоровление. Мать, насколько я помню, не верила всем этим обнадеживаньям, сестры ревели, а я мало понимал сущность дела. Наконец, 25 декабря 1889 года в 2 часа ночи, несмотря на все медицинские уверения и доказательства, отец скончался.

Следующие три дня в квартире была непроходимая толкотня. Являлась масса разных военных и гражданских чинов (большинство были военные — судейские, сослуживцы). Воняло ладаном и попами. Каждый день два раза, утром и вечером, служили панихиды. Всю ночь напролет

читали читальщики. Хорошо осталось в памяти у меня, как раз в кухне псаломщик раздувал кадило, а я смотрел на это, и мне тогда почему-то показалось, что эта вещь (то есть кадило) в сущности и есть причина смерти человека, и с тех пор я стал инстинктивно бояться и сторониться этого инструмента. На третий день утром набралось очень много народу, отслужили литию, подняли гроб и вынесли на улицу. Там положили на дроги, завалили весь венками и повезли в Троицкий собор, на Измайловский проспект. Там, приблизительно после 1 $^{1}/_{2}$ часов службы, завинтили гроб, положили сверху шапку и шашку, на красную шелковую подушечку нацепили все ордена и вынесли опять гроб на площадь. На площади стоял строем лейб-гвардии Измайловский полк с оркестром. (Отец прежде служил в этом полку.) Затем оркестр заиграл похоронный марш, меня усадили с матерью в карету, и все поехали на Волково кладбище. На кладбище опять служили литию, потом один генерал долго говорил что-то около могилы, потом все брали совочком желтый песок с блюда и бросали в могилу. Когда ее зарыли — все поехали обратно и долго еще обедали в столовой (это называли тризною). Один полковник (Болдарев) — который носил руку на перевязи (ему в Турецкую кампанию 78-го года всадили в эту руку 24 картечины) — опять говорил речь, потом долго несколько офицеров возились в кабинете, разбирая бумаги и вещи.

В начале января 1890 года мы переехали в другую квартиру (в том же доме, двумя этажами ниже).

В этом году меня начали учить читать и писать. Учила меня какая-то женщина (имени ее не знаю), которая занималась и с сестрами, которые были уже в гимназии. Давалось ли мне это трудно или легко — не помню; должно быть, легко, потому что я скоро выучился и тому и другому и читал по вечерам «Задушевное слово» и подписи под картинками «Нивы»*. Научиться я научился, а делать ничего не хотел. Каждое утро мне надоедали с диктовками и чтением рассказов из какой-то хрестоматии. Совместно с этим меня стали пичкать французскими «комнатными фразами» и словами, дабы я умел попросить что мне нужно по-французски. После кратковременного опыта я наотрез отказался от этого удовольствия.

Лето этого года жили в Павловске (1-я <Оранская>, дача Карузина). Из воспоминаний этого лета главным образом остались в памяти «персы». Это лето в Павловске, близко около нас, на даче Полякова (она представляет из себя целое имение с домом, прудом, парком и лесом) — там жили персидские посланники. Их было сначала двое, потом трое. По имени помню только одного, его звали Мирза-Риза-Хан.

Мать моя была знакома с одной француженкой, некоей бойкой бабенкой, m-lle Дебрен, которая была при этих персах нечто вроде переводчицы, а вместе с тем и заправляла всем домом. Не знаю почему, но эта самая мамзель очень меня полюбила, постоянно обкармливала конфетами и пирожными, катала меня на рысаках по парку в Царское и по окрестностям. Почти каждый день она с дневной музыки* таскала меня туда, к себе, там я познакомился с персами. Все они оказались очень теплые парни и тоже полюбили меня. Мало-помалу я стал там пропадать целыми днями. От этого периода времени у меня осталось очень много каких-то смутных воспоминаний. Раз эта Дебрен куда-то ушла и оставила меня обедать с персами, а они напоили меня допьяну шампанским и пустили в таком виде гулять. Помню также мальчишку 3-мя годами старше меня, казачка Гришку, с которым я играл. Раз оба мы с ним слетели в пруд, повар нас поймал, а потом меня сушили в кабинете у персов и переодели в Гришкин костюм. Помню также, как я боялся старой башни, которая очень давно была для чего-то выстроена за лесом и однажды полуобрушилась. Я помню, как ее чинили рабочие. Кажется, она после этого ремонта стоит и поныне без особого употребления.

Знакомство с посланниками продолжалось и в Петербурге. Посольство было на Бассейной улице. Это был настоящий дворец. Я слабо помню расположение его, там было множество разных зал, приемных и гостиных. Там я продолжал также часто бывать. Делалось это следующим образом. Казачок Гришка являлся к нам и просил, чтобы отпустили мою персону; мы садились и укатывали. Я, между прочим, постоянно присутствовал и принимал участие в разных процедурах с собаками. Надо заметить, что эта m-lle Дебрен была психопатка, а пункт ее были собаки во-

обще и в частности. У нее было около десятка разных маленьких псов всяких пород, преимущественно такс и болонок; там были и «мими́», и «пипи́», и «биби́», и «сиси́» и т. д. Всех она мыла в особых ваннах, особыми губками (а одну мыла той же губкой, которой сама мылась), у всех были свои постели, попоны и чуть ли не калоши. Ели они только шоколадные конфеты и бисквит со сливками. На все эти занятия уходило три-четыре часа в день. Потом обедали, а потом «мими» и «пипи» и прочих брали с собой кататься в экипаже.

Эту зиму как раз в Петербург приезжал персидский шах. Первый день по приезде он пробыл во дворце у Императора, а на второй приехал обедать в свое посольство. Я как раз в этот день был там и видел шаха и все торжества, а к довершению всего обедал с ним в одной зале. Все залы посольства были в этот день роскошно убраны всевозможными растениями, лентами, щитами, кольчугами, инициалами. В большой зале было расставлено и накрыто 6 столов на 150 человек. Вечером явилась целая процессия. Я смотрел и очень интересовался, который из них шах. Проходили какие-то арлекины, жокеи в позолоченных шапках, с ног до головы вооруженные генералы и персидские офицеры. Каждого я принимал за шаха. А когда мне показали какого-то старика в простом синем халате с физиономией татарина-халатника и сказали, что это и есть шах — я остался очень недоволен. Вся эта компания сидела за столом часа четыре и поглотила массу разных блюд самых фантастических форм, выпили пропасть вин, а в конце принесли шербет. Тогда они начали петь какие-то национальные песни, а какие-то 12 парней тут же стали что-то выплясывать. Когда это кончилось, вся эта ватага поехала в театр в балет.

Эту зиму мое учение продолжалось дома, также понемножку. В будние дни, когда сестры были в гимназии, я один оставался и придумывал сам для себя всевозможные развлечения. Развлечения эти, конечно, были таковы, что следствием их была целая масса сломанных стульев, ящиков от столов и пр. Любимым моим занятием было строить из разной домашней утвари паровозы и вагоны. Эта страсть к железным дорогам продолжалась у меня довольно долго (почти до 11 лет) и особенно усилилась в следующее лето

1891 года, когда мы, почему-то изменив традиции жить в Павловске, поселились в Озерках. Я помню, как мы переезжали в Озерки. В этот день я последний раз видел свою бабку. Бабка эта (мать моего отца) была простая женщина, два раза овдовела и жила последние годы жизни отца у нас. Мать моя с ней жила не особенно в ладах, причиной чего, насколько мне известно, была крайняя нечистоплотность и неумение ее себя держать. По всей вероятности, она была не совсем нормальна. В день нашего отъезда она приходила на вокзал, прощалась. После этого она совершенно исчезла, и впоследствии, несмотря на поиски матери, она, положительно, не находилась нигде во всей Российской Империи. Спустя год доходили смутные вести, что она умерла в Москве, в больнице.

Дача наша в Озерках помещалась у самого полотна железной дороги. Я был очень счастлив, что каждые $^{1}/_{2}$ часа могу видеть проходящие поезда. Между прочим, мы (то есть я и компания, с которой я успел там познакомиться) занимались довольно часто тем, что клали на рельсы всякие вещи, как, напр<имер>: монеты, иголки, перья, камушки и пр. — и получали их в раздавленном виде. Мало-помалу камни стали класть все больше и больше, а один раз чуть не наделали беды. Однажды вместо камня я сам чуть не попал под поезд и спасся благодаря тому, что поезда в этом месте от близости станций (разность 1 верста) ходили довольно медленно — я успел броситься в сторону и попал в грязную канаву с водой и отделался тем, что выпачкал свой новый костюм, в котором должен был идти к причастию. В версте от нашей дачи находился тогда театр и сад «Озерки». Мы довольно часто бывали там. Но этот сад с музыкой (симфонический оркестр в 50 человек под упр<авлением> Главача) был, в сущности, только жалкой пародиею на Павловский вокзал. Это была какая-то смесь «веселого уголка» с серьезной музыкой. В театре тоже был довольно разнообразный репертуар: опера, оперетта, драма, водевиль, дивертисмент, фокусники, клоуны — в общем, все, что только угодно. Излюбленной вещью Главача (кроме его собственных 52-х мазурок) было «Итальянское каприччио» Римского-Корсакова. Эта вещь мне всегда напоминает детские годы и жизнь в Озерках.

У нас тогда снимал комнату один скрипач из Озерковского оркестра, немец из Гамбурга Л. Г. Геннинг. Это был пресимпатичнейший парень, и мы с ним друг друга очень любили. Зимой он продолжал у нас жить (домашние тоже все его полюбили). Зиму эту (1891 г.) он играл в Панаевском театре*. Тогда там покойный И. П. Зазулин держал антрепризу оперных спектаклей. Геннинг стал меня иногда брать с собой в театр и сажал там на рецензентские места или в оркестр. Первая опера, которую я видел, это «Кармен». Она произвела на меня огромное впечатление, и вообще театр с его декорациями, люками, провалами, оркестром и певцами забрал мое воображение в руки совершенно. Я спал и видел во сне Кармен, Фауста, Мефистофеля, Самсона, Роберта-Дьявола и пр. В продолжение этой зимы и следующей я пересмотрел целую массу опер и пристрастился в равной степени и к музыке, и к механике сцены.

Мало-помалу я стал подбирать на рояле разные места из опер: так, напр<имер>, увертюру «Тангейзера», хоры из «Жизни за царя», из «Русалки».

В конце 1891 года приезжал из Тифлиса дядя Р. Н. Казбек с теткой и двоюродной сестрой Таней. Я помню, как тетка тогда играла на рояле свои мелкие сочинения (она незадолго перед тем начала писать разные фортепьянные пьески). Я же в это время занимался тем, что возил кузину по комнатам на длинном ковре или рисовал на бумажках паровозы и думал, когда попаду опять в театр. Хорошо осталось в воспоминании, как младшую сестру взяли в театр, но она отказалась в мою пользу. Это мне тогда показалось поразительным и редким великодушием.

В начале 1892 года меня порешили отдать в школу, дабы я учился уму-разуму. Моя мамаша, очевидно, выбирала недолго и сговорилась относительно меня в Школе для мальчиков и девочек, что на Казанской ул., против магазина швейных машин. В следующий понедельник меня туда привели. Это было частное учреждение, в котором за известную плату принимали умеющих читать и писать учить Закону Божию, русской грамматике и начальной арифметике, но, по-видимому, у них из этого ничего не выходило и никто ничему не выучивался. Когда я пришел в класс, то

меня заставили читать какой-то отрывок из русской хрестоматии и, когда убедились, что я действительно обладал талантом читать, посадили меня на место, на третью парту. Учащих лиц там было всего трое: какая-то толстая женщина, по прозванию Мальвина, у которой всю жизнь болели зубы, какой-то старичок Федор Иваныч и еще один рыжеволосый парень, имени которого я так-таки никогда и не узнал. Мальвина была презлющая баба, никому не давала прохода и никого ничему не научила, кроме «шарканья ножкой», которое обязательно там требовалось по крайней мере 10 раз в день. Федор Иваныч учил арифметике, но главным его занятием было, кажется, наблюдать, чтобы никто раньше положенного времени не ел своего завтрака. А когда такая вещь случалась — он с быстротой молнии кидался на этого преступника-ученика и отнимал у него начатый завтрак. Я постоянно покупал, идя в эту школу, ватрушку с творогом. Однажды за уроком мне захотелось есть, и я, не зная еще туземных законов, вынул свою ватрушку и стал ее уписывать. Но в этот момент досточтимый профессор бросается с кафедры по направлению ко мне. Я, конечно, инстинктивно отскочил в сторону и убежал на другой конец класса, и если бы он не догнал меня и не отнял моей ватрушки, то мы бы еще долго бегали, к общему удовольствию, вокруг класса.

Таково было учение в этой первой школе. Через некоторое время мать уже собиралась взять меня оттуда, когда как раз это достопримечательное заведение по неизвестным причинам закрылось. До конца зимы я продолжал заниматься дома с гувернанткой сестер. Следующее затем лето 1892 года я все время толкался на станции (в Павловске), перезнакомился со всеми стрелочниками, машинистами и кочегарами, таскал им из дому папиросы и деньги, а они катали меня на паровозе во время маневрирования у станции и давали мне переводить стрелку и поднимать семафор. Один стрелочник (Мартын-католик) читал мне разные польские священные книги и научил меня курить махорку. В один прекрасный день я как-то, болтаясь у станции по рельсам, угодил попасть под рабочую тележку (вроде дрезины), нагруженную тяжелыми инструментами, она переехала мне ногу, так что я пролежал три недели в посте-

ли и потом целый месяц хромал. После этого меня перестали пускать на станцию.

В октябре 1892 года меня определили в Подготовительный к средне-учебным заведениям пансион А. Н. Черниковой, где я пробыл почти 1 $^1/_2$ года, из которых половину был на полном пансионе с отпуском домой только на субботу и воскресенье.

Здесь я впервые испытал всю скверность полного пансиона среди чужих людей и разлуки с домом. Здесь потянулись долгие скучные вечера, когда я стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел на движение извозчиков, дилижансов и конок с Варшавского вокзала. Особенно первое время я страшно скучал и чувствовал прямо гнетущую тоску. Большая часть учеников в этом училище были приходящие; пансионеров было всего 8—10 человек, из которых 5 мальчиков, 3 девочки и 2 взрослых, которые учились в гимназиях. С последними двумя поместили и меня. Одного из них звали Стаська, а другого Дорька (Вертер). Оба они по утрам уходили в гимназии и возвращались только к обеду. Стаське было лет 15, а Дорьке 13 или 14. Из девочек-пансионерок я помню только двух, тоже старше меня, лет 12—13, Женю и Варю. У Стаськи был роман с Женей, довольно хорошенькой девчонкой, а у Дорьки с Варей. Забавнее всего то, что уже много позже (в 1902 году) я узнал, что все они переженились и один из них служит где-то в Сибири, а другой — доктор. Вот романы, достойные примера!

В числе приходящих здесь был А. М. Медников, мой хороший знакомый впоследствии, уже в мои юнкерские годы.

На первом же уроке в этом пансионе я получил единицу (Закон Божий) за то, что, рассказывая про коров, которых видел во сне фараон, сказал, что «толстые пожрали тощих», но все-таки здесь учение хоть и медленно, но подвигалось. Хотя здесь и был довольно странный метод запоминания математических определений, вроде «Задача есть задача и всегда останется задачею», но все-таки я мог рассчитывать, проучившись здесь 1—2 года, выдержать экзамен в кадетский корпус.

По субботам за мной заходил тогдашний приятель мой Володя Сластников, реалист 2-го класса, и меня отпускали домой до утра понедельника. Эту зиму мы жили на Фон-

танке у Обухова моста, квартира разделялась пополам на нижнюю и верхнюю части. Внизу жил отец Сластникова с экс-женой, бывшей провинциальной артисткой, а наверху мы, причем я с Володькой жил в одной комнате. Нашим общим занятием тогда было дрессирование мышей, количество коих в сей квартире, к нашему удовольствию, было необъятное. Из пойманных мышей мы отбирали самых маленьких и красивых, поселили их между рамами окна, устроили там им жилище, развесили канаты, лестницы, трапеции и заставляли лазить. В этом занятии оба мы дошли до специальности. Шедевром нашим была маленькая белая мышь Шайтан, которая понимала все приказания, лазила по канатам, бегала по географическому глобусу, вертя его и оставаясь сама на месте, и т. д. По воскресеньям устраивались представления «дрессированных зверей», а на имеющемся у нас тогда фисгармониуме исполнялись увертюры и антракты. По ночам мы вставали и отправлялись в ванную на «охоту», где при помощи туфель и сапог охотились на мышей. Довольно часто также мы с ним проникали в театры (преимущественно Панаевский). Он тоже был страстный любитель театра (мать его была артисткой, а отец театральным рецензентом). Оба мы увлекались тогда операми, а дома воспроизводили некоторые их места на фисгармонии. Оба мы ненавидели экс-жену его отца и не раз собирались выпустить на нее всю свору наших мышей, которых она так боялась.

Между тем, ввиду того, что я сын военного, моя мать решила меня тоже сделать военным и посему хлопотала о допущении меня к экзамену в один из петербургских кадетских корпусов. Купили программу приемных экзаменов и дали ее в пансион, чтобы меня по ней готовили.

В конце этого года меня сделали приходящим и стали приготовлять к экзамену. Я со своей стороны был очень доволен, что буду военным, носить кадетскую форму и отдавать честь. Все следующее затем лето я продолжал готовиться. (Пансион на лето по несчастной случайности переехал тоже в Павловск.) Почти 3 месяца я каждый день отправлялся на 2-ю Матросскую улицу (в другой конец города) в школу и занимался; причем по дороге дразнил всех коров в проходящих стадах своей красной шляпой, за что с

некоторого времени подвергся преследованию всех пастухов Павловска. Наконец, к августу был пройден весь означенный в программе курс и мне предоставили неделю отдыхать, а затем (9 августа) я с матерью поехал в Петербург на экзамен. Мы переночевали у одних знакомых близ 1-го Кад<етского> корпуса, и на другой день утром я пришел в корпус. Конкурс был сравнительно очень высокий, вакансий было 62, а державших экзамен 400 человек, так что на 1 вакансию приходилось около 7 человек. Сначала стали экзаменовать по русскому: заставили всех писать наизусть басню Крылова «Лягушка и вол». Потом я разбирал грамматически предложение и ответил на несколько вопросов из грамматики. Затем спросили по Закону Божию рассказ о Воскресении Христа. По арифметике дали перемножение и деление четырех и пятизначных чисел с поверками, причем прошла молва об ужасах и свирепствах этого учителя. Потом я узнал, что это был П. А. Коробкин, впоследствии мой преподаватель в старших уже классах. Потом заставили по чистописанию написать фразу: «Весна красна природой», — на этом и кончили экзамен. На другой день моя мамаша ходила узнать результат — и оказалось, что я остался за конкурсом (у меня средний <балл> экзамена был 8,75, а конкурс был 36, то есть 9).

Опечаленный такой неудачею, я уехал назад в Павловск и ходил как убитый 3 дня, пока не пришла из Главного управления бумага*, из которой доводилось до сведенья моей матери, что я могу быть по своему баллу принят в один из следующих корпусов по выбору: Симбирский, Псковский или 3-й Московский. Пришлось выбирать из трех бед наименьшую — думали-думали и порешили, что таковою будет 3-й Московский корпус. Собрались ехать. 18 августа, за 2 часа до нашего отъезда, пришла 2-я бумага, уже из окружного суда, по которой мне, как сыну военного судьи, предоставлялась стипендия генерала Стрельникова во 2-й Кадетский корпус в Петербурге. Это была большая радость, ибо уезжать в Москву и жить там solo была крайне неприятная перспектива.

Пока было окончательно дано знать в Главное управление и в корпус — я догонял дома с помощью студента-технолога В. Л. Веинштока начавшийся уже в корпусе курс.

II

2-й Кадетский корпус. — Первый и второй классы. — Быт кадетов. — Проступки и шалости. — Павловские впечатления. — Страсть к пиротехнике

13 октября 1894 года меня привезли во 2-й Кад<етский> корпус. Здание это помещается в самой захолустной части Петербурга*, благодаря чему мы долгое время, несмотря на расспросы всех городовых, не могли его найти. Наконец... (то было чудное мгновенье). Я узрел великую реку Ждановку, а подле нее большое желтовато-грязного фона здание. Подъехав к нему и удостоверившись, что это и есть не что иное, как 2-й К<адетский>, и узнав, где квартира директора (генерала Курбатова), отправились к нему. Там, погладив меня по головке и расспросив, где я учился и многому ли научился, он указал, как пройти в помещение корпуса.

Там нас встретил красивый офицер (подполк<овник> И. Я. Кульнев) и счел первою необходимостью для приведения меня в «кадетский вид» постричь. Меня привели к «стригачу» и выстригли как каторжника, под первый нумер. Затем повели в «цейхгауз» (так называется склад обмундирования). Там солдат по названию «каптенармус»* заявил мне, что необходимо «пригнать» кафтан и брюки. Это меня порядочно обескуражило, ибо я до тех пор думал, что «пригнать» можно только свиней на пастбище, а отнюдь не брюки на ноги. Но тем не менее пришлось «пригнать» кафтан и брюки, а так как я не отличался большим ростом, то все это сидело на мне мешком. Только что кончил я с туалетом, как раздался адский звон и поднялся неистовый крик. Я, конечно, как и всякий другой свежий человек, вообразил, что это пожар или наводнение, но оказалось, что это кончились уроки и кадеты идут завтракать. Всякие передвижения в корпусе совершались маршировкой в строю. Все построились, меня поставили левее всех, потом офицер скомандовал, и мы пошли к завтраку. После завтрака была рекреация $^1/_2$ часа, в продолжение которой каждый кадет считал прямой своей обязанностью орать и беситься до истощения сил, чтобы только производить

шум. Можно себе вообразить, что это было за светопреставление, если этих участвующих лиц 120 душ!

В коридоре я увидел седого полковника, который подошел ко мне и спросил, как моя фамилия. Этот вопрос задавали мне решительно все. А некоторые еще прибавляли: «Новичок, новичок, надо дать тебе щелчок!» — что и делали, если я не успевал увернуться. Полковник этот, как мне сообщили, ротный командир и прозвище имеет «бык». Затем мне опять «пригнали» сапоги, каждый весом добрых по 4 фунта. Потом сообщили мне, что я во 2-м отделении 1-го класса, и дали штук 8 учебных книг. После этого пришел мой классный воспитатель капитан Гриневич и повел меня по каким-то коридорам к инспектору. Там меня заставили перевести две фразы с французского на русский, а какой-то капитан с чрезвычайно длинными усами и в очках предложил мне показать на глобусе остров Шпицберген и несколько городов и рек. Убедившись таким образом в действительности моих познаний, меня свели обратно в класс и посадили на свободное место на 1-й скамейке. Таким образом я очутился рядом с популярнейшей в корпусе личностью, господином Шветовым, который два месяца спустя был выгнан за невероятно скверное поведение. Он был самый сильный в классе, а потому большую часть товарищей держал в руках, и мало того, что сам выкидывал прямо невероятные номера, но заставлял и других принимать в них самое горячее участие. Вечером в 9 часов меня привели в «камеру» (так называлась спальня), показали мою кровать и сказали, чтобы я ложился спать. Я разделся и лег, но, конечно, не мог заснуть, ибо в голове был сумбур от шума и непривычки к такому положению. Я размышлял около 2 часов, потом заснул. Впереди было еще целых 8 лет такой же или почти такой жизни! В 6 часов утра на другой день раздался звон, и кадеты стали вставать. После мытья и приведения туалета в порядок построились и пошли к чаю. Потом до 8 часов повторяли уроки, а в 8 они начались. Ежедневно было 5 уроков и 1 час физических занятий, к которым также относились танцы и пение. Из преподавателей лучшим мне показался Разыграев, учитель арифметики, который иногда рассказывал анекдоты и вообще как актер-любитель и комик преподавал довольно юмористически. В

субботу в 2 часа дня, когда за мной приехала мать, меня после некоторых формальностей, научив предварительно отдавать честь, отпустили до 9 часов веч<ера> следующего дня. Я был очень доволен, что буду отдавать честь, и жаждал скорее подходящего случая, но, к большому моему сожалению, до Невского пр<оспекта> ни одного офицера не встречалось, а на Невском их сразу было так много, что я отдавал честь и офицерам, и медикам, и околоточным; последние, впрочем, относились к этому очень предупредительно и милостиво просили «не беспокоиться». Приехав домой и посмотрев на себя в зеркало, я остался очень доволен и понравился сам себе.

Похороны Александра III*.

Первым моим преступлением корпусных правил был самовольный побег, происшедший при следующих обстоятельствах. Как-то в начале декабря в одну из суббот за мной почему-то никто не пришел. Оставаться в корпусе мне очень не хотелось, а так как причина казалась мне малосостоятельной и я считал себя настолько большим, что могу лично совершить значительно большее путешествие, чем от корпуса до Измайловского моста, то после некоторой внутренней борьбы я решил отправиться solo. У меня нашелся компаньон, находившийся в точно таком же положении, и мы отправились. Дня через три, благодаря швейцару, который видел нас без провожатых, преступление открылось, и нас засадили на 2 недели без отпуска.

Учился я этот год посредственно и в списках занимал место «золотой середины». Особенно выдающихся инцидентов не было, да если и были, то не остались в памяти. В апреле, после Пасхи, начались экзамены, из которых я все выдержал. Меня перевели во 2-й класс и отпустили домой до середины августа.

Лето этого года (1895) мы жили вместе с дядей Казбеком и с теткой в Павловске (<1 Оранская>, д<ача> Смород). В соседнем флигеле этой же дачи жил кадет одного со мной класса и корпуса Сережка Лихтанский. В компании с ним мы обворовывали все огороды в Гуммолосарове. Таскали (я у дяди, а он у своей тетки) папиросы, попивали тайно пиво и водку, учиняли всякие безобразия и т. д. По утрам он, чтобы было не скучно, тащил меня к себе, и там мы оба еже-

дневно выслушивали от его тетки, старой девы, нравственные наставления о том, как надо себя вести и что делать. По вечерам он отдавал тетке самый вымышленный отчет в своем благонравном поведении, после чего она, успокоенная, запирала его в комнате спать. Затем он при помощи водосточной трубы и дерева удирал через окно и мы отправлялись к 3-му отделению на музыку или в парк. Для обоюдного удобства мы устроили между собой из окна в окно телефон (натянутая струна, прикрепленная к бычачьим пузырям), но его тетка, наш общий враг, проведала про телефон и уничтожила его.

В эту компанию входил еще некто Акакий, как его прозвали по наружному виду (Владимир Иванов) — неопределенная личность, годом старше меня. Как оказалось впоследствии, это был сын артистки Василеостровского театра*. Мы с ним вместе работали целый месяц над миниатюрным театром, в котором, однако, были все подробности, декорации, занавес, рампы с освещением, провалы, выстрелы и т. д. Акакий сам писал для этого театра драмы и комедии; вывешивались трескучие афиши, и назначались спектакли. Папочные и картонные артисты покупались специально в Петербурге и Царском Селе. Публикой были все домашние, которые обязаны были платить по 3 копейки. Сборы пропивались и прокуривались.

Четвертым членом компании был дядин повар, мой тезка Денис, пресимпатичнейший и безобидный молодой кавказец. Ежедневно всей компанией мы ходили купаться, а остальное время дня в отдельности или купно чинили разные безобразия. Все дворники в новых местах были против нас вооружены и ждали только подходящего случая, чтобы поймать.

По вечерам мы, подражая лаю собак (в чем, собств<енно>, принимал участие иногда и дядя), поднимали на ноги всех собак, начинался такой адский концерт, что все дворники выбегали на улицу. Особенно приходила в бешенство генеральша, жившая рядом, у которой было 10 мопсов. Как только мы подавали сигнал, все 10 мопсов разражались адским ревом и не давали спать своей барыне.

Вообще лето было довольно удачное.

По приезде в корпус я, как кадет II класса, теперь уже

сам мог давать новичкам щелчки; вообще положение улучшилось. Почти в самом начале года вследствие глупой привычки в детстве вырывать себе ресницы у меня случилось воспаление глазной оболочки. Меня поместили в лазарете, в отдельной комнате с постоянно опущенной зеленой шторой, а на глаза надели особый зеленый щиток, причем запретили что бы то ни было читать и писать, так продолжалось 3 недели. Было так скучно, что я от нечего делать занялся вычислением персидской задачи (зерна на шахматной доске) и исписал целую тетрадь числами, причем дошел до квадриллионов и т. д. Из окружавших меня в это время в лазарете я помню, главным образом, верзилу, великовозрастного кадета (хотя тоже II класса) Бологовского, которого некоторое время спустя выгнали из корпуса за то, что он выколол вилкой глаза на иконе Николая Чудотворца и надел на голову сестры милосердия плевательницу со всем в ней заключающимся.

Во II классе начались уроки немецкого языка, который был во все пребывание мое в корпусе вечным камнем преткновения. Любимыми моими предметами были древняя история и зоология. В этом возрасте, обыкновенно, всегда делаются шалости; у нас в этом отношении тоже не зевали. Помню, как однажды, желая избежать нелюбимого всеми урока, решили целым классом спрятаться в спальне под постелями. Через $^1/_4$ часа начальство всполошилось и забегало. Действительно, положение было курьезное: исчезло 32 кадета! И если бы один из нас не издал некоторого нецензурного звука, всех выдавшего, то эти поиски начальства продолжались бы, к нашему удовольствию, довольно долго.

В середине года появилась эпидемия (свинка), сразу заболело около 200 человек, так что кроме лазарета, битком набитого, заняты были койками две спальни и одна зала. Я счастливо избежал сей болезни.

Учился я здесь, как и первый год, довольно посредственно. Весной по случаю коронации Императора Николая II у нас отменили экзамены. Перед отпуском каждому дали по коронационному рублю.

Весь этот год у меня продолжалось товарищество с Акакием. Несколько раз мы ходили вместе по театрам (пре-

имущественно в Василеостровский, где он сам иногда исполнял разные детские роли).

В этом году я, собственно говоря, впервые начал читать. Это, главным образом, были переводные романы и повести и приложения к разным журналам. Излюбленными моими книжками были по большей части исторические романы, в которых мне больше всего нравилась героическая сторона дела. С большим увлечением я также читал тогда Майна Рида и Фенимора Купера, позднее Жюля Верна. Любимой драматической пьесой был «Гамлет», философские рассуждения которого я опять-таки игнорировал.

Из товарищей по классу больше всего я сошелся с Владимиром Мельницким. Я бывал в эти времена у него дома довольно часто. Мне тогда очень нравилась сестра его, институтка, тоже II класса. С ней у меня в следующем году было нечто вроде мимолетного полудетского романа, подкрашенного влиянием прочитанных рыцарских романов. Но это продолжалось недолго.

Лето 1896 года мы жили опять-таки в Павловске, в парке, близ станции. Здесь у меня появилось новое знакомство — семейство станционного кассира М. А. Алексеева. Я сдружился с сыновьями его, Колькой и Володькой (один был на 2 года старше меня, другой на год). В этой компании мы творили ужасные вещи. 4-м членом компании был долговязый гимназист Сергеев. Общим и излюбленным нашим занятием была пиротехника. Насмотревшись фейерверков в Павловском вокзале, мы пожелали сами заняться этим делом, для чего все имеющиеся деньги тратили на покупку разных снадобий. Порох мы доставали в готовом виде и очень дешево в Царском Селе, в стрелковом батальоне, у солдат. Местом наших сборищ было стоявшее совершенно отдельно строение (бывший дровяной сарай), которое мы сами вычистили, оклеили обоями, наверху устроили голубятню, водворили на крышу флюгер с флагом и поселились там самостоятельно. Домой я являлся только завтракать и обедать, да и то не всегда. Вокруг, в разных местах, у нас было зарыто по частям около пуда пороха; по мере надобности оттуда брали. Кроме разных фейерверков (ракет, буранов, римских свеч и фигур) мы делали еще салюты и довольно сильно действующие взрывные бомбы. Когда в

Павловском вокзале ставили вместо газового освещения электрическое, то целые массы газовых труб-проводников остались ненужными и валялись на заднем дворе вокзала. Эти трубы, распиленные на отдельные куски (по 3—4 вершка), и шли у нас на взрывные бомбы. Концы запаивали, в середину утрамбовывали порох и проводили стопин. Действие их пробовалось в парке различными способами: взрывали деревья, камни и мостики через канавы. Однажды мы взорвали таким образом довольно большой проездной мост, близ «нового шале», после чего полиция начала нас упорно разыскивать; но это нас не останавливало, и мы продолжали давать в парке и даже в самом вокзальном саду салюты, взрывать деревья, и однажды чуть не сожгли целый лужок сухих кустов, так что уже выехала пожарная команда. Положил конец нашим занятиям пиротехникой следующий случай. Вышеупомянутый гимназист Сергеев отправился однажды на вокзал, имея в кармане такой салют. Там, войдя в зал 1-го и 2-го класса, он сел и закурил. В это время вошел педагог их гимназии, тогда Сергеев принужден был спрятать папироску в карман. Стопин от салюта загорелся в кармане и стал медленно тлеть. Сергеев почувствовал запах пороха и поспешно вывернул карман; салют разорвался со страшным громом около него и сильно поранил его самого. Моментально его потащили в жандармское отделение для оказания первой помощи и для разъяснения дела. Оказалось, что по роковому стечению обстоятельств с приходящим поездом ожидали приезда в Царское или Павловск Государя Императора. Ввиду этого история эта принимала крайне скверный оттенок для Сергеева. На другой день у него, у меня дома и у Алексеева был сделан полицейский обыск и допрос. Ни у Сергеева, ни у меня ничего не нашли, у Алексеева же оказались только составы для фейерверка. С большим трудом убедили полицмейстера, что тут не было никаких целей и все было лишь делом случая. Тем не менее за всеми нами учредили тщательный надзор до конца лета. Мы бросили пиротехнику и занялись электротехникой, которая не являлась уже столь опасной.

Бенефисы в вокзале были и нашими бенефисами. Денег на билеты не было, на бенефис попасть хотелось, а потому делали так: вечером собирали компанию, человек около 20.

Садились в баркас (особая лодка, предназначенная для чистки пруда), отталкивались от берега и приставали к вокзальному саду; там высаживались, расходились по разным дверям, получали контрамарки и повторяли все снова. Таким образом попадали сами, да еще проводили других.

В эти дни нашу орду знали все в Павловске и порядком опасались встреч, и мы пользовались огромным почтением у всех учащихся и мальчишек; словом, вспомнить все безобразия и погромы, которые творились в эти годы, невозможно. Только со следующего 1897 года у меня явилось 3 обстоятельства, переменивших несколько жизнь, это: 1) балалайка и занятия ею, 2) увлечение литературой вообще, 3) первые увлечения, которые с тех пор не прекращались вплоть до настоящего времени.

III

Третий, четвертый и пятый классы. — Товарищи по корпусу. — Офицеры и преподаватели. — Религиозные колебания. — Литературные пристрастия. — «Коммерческие» игры. — «Подтяжка»: «корнеты» и «звери». — Игра на балалайке. — Первая любовь

2 К<адетский> к<орпус>. Карцер 1 роты. Май 1901 года.

1896—1897 учебный год прошел довольно разнообразно. В самом начале года случилась какая-то колоссальная драка, в которой приняли участие два класса; только небольшое количество кадетов, в том числе и я, фактического участия не приняло. Я тогда, да и всегда, не любил драк и вообще решений каких-либо вопросов кулачным способом. По моему взгляду, это было только самое крайнее средство, на которое следовало решаться только в самых исключительных случаях. Поэтому я за все восьмилетнее пребывание в корпусе ни разу ни с кем не дрался и никого не бил, несмотря на то, что это, в особенности в младших классах, очень обыденное явление. Меня тоже почти не трогали, а если и случались ссоры, то всегда кончались перебранкой и потом миром.

Приблизительно с середины года я, наслушавшись, как играл на балалайке один товарищ, некто Семенихин (впоследствии выгнанный и поступивший в драгуны Ахтырского полка), захотел сам попробовать это искусство и, купив себе сначала дешевенькую балалайку, стал наигрывать. Это наигрыванье, постепенно увеличиваясь, продолжалось потом целых 7 лет и сделалось моей главной профессиею.

Из товарищей, с которыми я более или менее сошелся в этом году, были, главным образом, двое: Б. М. Гаккель и В. В. Толмачев. Все мы трое сошлись по сходству вкусов и идеалов, развиваемых фантазиею. Все мы любили ходить в отпуск и не любили ходить в церковь. Относительно религии и взглядов на нее это время я считаю переходным. К этому времени я отношу впервые возникнувшие в голове недоверие и сомнения относительно правдивости всего того, чему нас учили в Законе Божием.

Ежедневные опыты и обыденное несоответствие самых жизненных фактов с фактами, долженствующими происходить по законам Священного Писания, давали толчок сомнениям, а наталкиваясь на такие же сомнения у других, еще больше уверяешься в правильности своих сомнений. Взаимные же беседы по этому вопросу еще более развивают недоверие. Мы составляли сами в разное время массу разных теорий, подходящих под свои понятия. То совершенно отвергали всякое «Начало», то только отнимали у Него часть Его достоинств, то представляли его не в виде единичного существа, а в виде совокупности нескольких понятий. Конечно, большинство этих теорий являлись не самостоятельными, а были следствием влияния прочитанного или где-нибудь слышанного. Это было на словах. На деле же было постепенное отпадение от веры, иногда с порывистыми возвращениями, иногда же с большими скачками вперед. В моих отношениях к религии случались иногда чисто анекдотические штуки: так, раз я перед экзаменом решил, что если выдержу его, то поставлю 50-копеечную свечку в часовне около Тучкова моста, а когда выдержал экзамен, то решил «надуть Бога» и «зажилил» свечку!

В третьем классе у меня бывали еще такие настроения, когда я молился, хотя и не совсем искренно. В IV классе это случалось очень редко. В V классе и дальше — ни разу.

Читал я в III классе довольно много, но безо всякой определенной системы; читал то, что было интересно, а интересны были исторические романы, повести, рассказы, Ги де Мопассан, Эдгар По (страшные его рассказы), Жорж Борн, Эберс и из русской литературы Гоголь, Пушкин и Тургенев.

Из посторонних занятий главными стали собирание всяких коллекций, игра на балалайке и столярное искусство (класс которого был в корпусе для желающих). Коллекции я собирал всевозможные: древних монет, марок, минералов, стальных перьев. Еще к коллекциям можно отнести собрание разных опер, которыми я исписал целые тетради (главные данные: название оперы, ее композитор, год первой постановки, откуда взят сюжет и т. д.), и это все я вызубривал для чего-то наизусть. Потом одно время все свои деньги тратил на покупку фотографических карточек всех известных музыкальных композиторов. Потом эту большую и собранную с немалым трудом коллекцию карточек подарил одной институтке, за которой тогда ухаживал.

Столярничеством я занимался в корпусе и выделывал в продолжение двух лет всякую дрянь, вроде ящиков, табуреток, линеек, палочек и т. д., но делал это не столько из любви к искусству, сколько потому, что это было у нас модным занятием.

Учился я в III классе не очень хорошо, хотя перещеголял обоих своих единомышленников, Гакkеля и Толмачева, ибо я кое-как перебрался в IV класс, а они, и еще 8 человек, дружно засели, дабы повторить курс еще раз.

Отношение к начальству корпуса в эти годы было в большинстве случаев враждебное, что обусловливалось простым непониманием того, что меры, против нас принимаемые, являются единственными средствами и ведут только к нашей же пользе. Очевидно, наши офицеры-воспитатели и ротные командиры действовали почти всегда по известным инструкциям, исходящим свыше, а если и принимали личные меры, то надо же было иметь в виду эту каторжную должность и массу работы, на них возложенную. Всё это мы тогда, конечно, игнорировали и в своих отношениях видели только постоянную борьбу подчиненных и начальствующих, а потому при всяких удобных случаях

старались доставлять им всякие неприятности. Так, иногда сговаривался весь класс или даже целая рота устроить кому-нибудь так называемый «бенефис», который заключался в том, что на дежурстве «бенефицианта» целый день свистали во всех углах, шумели, в строю нарочно шли в беспорядке и не в ногу и т. д. Конечно, это вело к неприятностям и наказаниям для нас же, но мы всем жертвовали, чтобы только насолить «бенефицианту». Некоторые офицеры (особенно из молодых) сумели все-таки снискать расположение кадет и так себя ставили с самого начала, что им никогда «бенефисов» не устраивали. Больше всех получал «бенефисы» мой отделенный офицер Н. В. Гриневич, нервный и раздражительный, но в сущности очень добрый и симпатичный человек. Он заикался, и это давало повод многим злым языкам передразнивать его и потешаться над этим.

Я лично был тогда в очень хороших отношениях с одним молодым, только в том году поступившим в корпус офицером Н. А. Кенелем. Он был страстный любитель театра и музыки, и это было постоянной темой наших, подчас совершенно частных и дружеских, разговоров. Я помню, как однажды я был наказан без отпуска. Кенель был в это воскресенье дежурным, и я просидел весь день в дежурной комнате и болтал с ним об операх и симфониях.

В частной нашей жизни у нас было все же много общего. Одни интересы, одни книжки, которые перечитывались по очереди всеми, пока не приходили в состояние совершенной негодности. Игры и времяпрепровождение свободных часов были довольно своеобразные. Одна, чисто «коммерческая», игра продолжалась в III классе около месяца. Она состояла в том, что одна компания в количестве 4-х человек основала «банк» и выпускала особого образца деньги за нумерами и подписями директора банка и секретаря. На каждой ассигнации во избежание подделок имелся особый штемпель. Деньги эти получали в стенах корпуса особо установленную ценность и шли во всевозможные обороты. Стали покупаться и продаваться разные вещи, появились ломбарды, ссудные кассы; в оборот за эти деньги шли книжки, тетрадки, перья, ножи, разные собственные вещи, завтраки, обеды, пирожные, даже сапоги и ка-

зенные брюки. Появились «рысаки», которые возили на своих плечах «богачей» по коридорам корпуса. Устраивались танцевальные и музыкальные вечера с платой за вход и много всяких других афер. Одни собирали довольно большие количества этих денег, другие проматывали все абсолютно и обеды на несколько дней вперед, в общем, игра была интересная и оживленная. Впоследствии появились даже тотализаторы с денежными ставками. Конечно, в один прекрасный день «банк» лопнул и все плюшкины (были и таковые) остались при пиковом интересе. Я лично никогда не копил эти деньги и сейчас же проматывал все на «рысаков» и пирожные.

По окончании учебного года (по приказу Военного ведомства экзамены в 6-ти младших классах кадетских корпусов были уничтожены и переводили из класса в класс по годовым баллам) я уехал домой в Павловск, где и пробыл до 1 сентября следующего учебного года.

Лето 1897 года я провел более спокойно и степенно, чем в прежние годы.

Дружба с Н. и В. Алексеевыми продолжалась; жил я, как и прошлое лето, больше с ними, чем дома. Новым и общим спортом у нас стало купанье (купались иногда по десять раз в день). Из разных купальных инцидентов у меня остался в памяти, главным образом, один. Плавать я не умел, а держался на воде с помощью пробковых поясов. Однажды я пришел вместе с Алексеевыми в купальню, разделся и стал прогуливаться, чтобы остыть, в это время великий князь Борис Владимирович* (тогда еще кавалерийский юнкер), думая, что я плаваю, взял и бросил меня на самую середину купальни (глубина 1 саж<ень> с лишком). Я моментально пошел ко дну как топор и захлебнулся. В. Алексеев бросился и вытащил меня. Это был для меня полезный урок плаванья, ибо вскоре после этого я научился хорошо плавать и впоследствии даже состязался в этом спорте и брал призы.

Несмотря на то что мне из корпуса была дана каникулярная работа по арифметике, я так до конца лета и бил баклуши, а работу эту сделал в самом конце, в один день, при помощи целого штата помощников.

Это лето вблизи Павловска (около Линии) были долго-

временные подвижные сборы гвардейских войск. Почти все время их стоянки вся наша компания пробыла там, и две ночи <мы> даже ночевали в солдатских палатках, и танцевали в заключение на вечере, устроенном офицерами на особых дощатых постилках, положенных на пол.

У себя (в вышеописанном строении) мы мало-помалу порядочно пристрастились к небольшим выпивкам, которые сами устраивали. Ввиду того, что однажды отец Алексеевых застал нас на месте такого преступления и обещал, что если еще раз увидит то же самое, отнять у нас нашу резиденцию и заставить жить во флигеле, мы пустили в ход все наши практические знания электротехники и устроили целую систему проводов.

Он (отец их) всегда ходил домой по одной и той же дороге (через задний двор вокзала и по тропинке). Под лежавшие всегда в сыром месте доски был подведен контакт и от него провода к нам в строение, где находились батарея элементов и звонок. Стоило человеческой ноге наступить на доску, контакт соединялся и звонок звонил, — водка и пиво убирались, а учебные книжки вынимались, и мы встречали входившего с самыми приветливо-скромными лицами.

В августе месяце я вообразил, что я влюблен... Мы познакомились совершенно случайно, кажется, у Алексеевых же в доме. «Она» была девочка моих же лет, из одного немецкого семейства «ganz akkurat»*. Она мне понравилась своей миловидностью, скромностью и серьезностью. Я же (как оказалось впоследствии) тоже ей понравился, но чем — сам не знаю и не могу найти. Началось с того, что я стал ухаживать, дарить цветы, ревновал к какому-то чухонцу-семинаристу и т. д. Встречались мы довольно часто (почти каждый день), но не одни, а при других (ее подруги или мои товарищи). В один прекрасный день я написал ей на музыке в вокзале первую записку любовного содержания с просьбой устроить свидание. Свидание это на другой день состоялось в дубовом саду: мы условились постоянно встречаться и летом, и зимой (я обещал приезжать каждый отпуск), надавали друг другу всяких употребляемых в этом

---

* Сверхпедантичного *(нем.)*.

случае клятв, потом проводил ее домой; около дома мы поцеловались и расстались. Я был ужасно счастлив и, кажется, не хотел больше ничего на свете. Хотя все это и было, как мне кажется теперь, вполне сознательным увлечением (на 15-м году можно даже серьезно увлечься), но сильно подкрашивалось прочитанными романами во вкусе Георга Борна и Александра Дюма. Но все-таки мы любили, ревновали, страдали, а все это значительно разнообразило и украшало существование и давало ему больше жизни. По отъезде моем в корпус у нас завязалась чуть не ежедневная переписка, большая часть которой у меня сохраняется до сих пор. Действительно каждую субботу я ездил в Павловск и встречался с ней (хотя моя мать и сестры жили в Петербурге). Довольно часто я уезжал невзирая ни на театры, ни на балы, ни на концерты, словом, лишал себя ради этого многих удовольствий. Таким образом, эту и следующую зимы меня дома почти что не видели: прямо из корпуса я ехал в Павловск, а на обратном пути был дома только 1—2 часа в воскресенье.

В IV классе, отчасти вследствие амуров, отчасти вследствие трудности курса и других причин, я стал заниматься значительно хуже. Положение IV класса в корпусе вообще при мне было крайне скверное. IV и V классы составляли 2-ю роту, а во 2-й роте в мои времена существовала еще так называемая «подтяжка», которая заключалась в том, что V класс обижал всевозможными способами и на каждом шагу IV класс. В прежние времена (лет за 7—8 до меня) эти обижания доходили до неслыханных зверств и побоев. Начальство это знало, но ничего сделать не могло. Все испробованные меры не приводили к желаемым результатам. Это был «обычай», а такие обычаи «массы» обыкновенно бывают сильнее всех репрессивных воздействий. Не искоренялась эта «подтяжка» долгое время, конечно, главным образом и оттого, что IV класс мало против нее протестовал, ибо был к этому приготовлен и знал заранее, что это во 2-й роте всегда было и есть.

«Подтяжка» эта пришла из Николаевского кавалерийского училища, где еще с давних пор старший курс колотил младший и ездил на нем верхом в ватерклозет (из достоверн<ых> источников, разоблаченных публично в 1899 го-

ду в одной из петерб<ургских> газет). У нас тоже в подобие тому V класс назывался «корнетами», а IV—«зверями», и «корнеты» чинили над «зверями» расправу. В мое время эта «подтяжка» была уже в 10 раз слабее и выражалась в том, что IV класс нес сторожевую службу для V класса, то есть стоял «на махалке», когда V класс курил, пил или играл в карты; за неисполнение какого бы то ни было приказания «корнета» «зверь» получал от 1-го до 50-ти ударов по шее (смотря по важности); заставляли «зверей» выучивать наизусть всякую ерунду, набор слов по целым страницам. За вход в спальню или класс V класса «зверь» платил штраф в виде фунта колбасы, или десятка пирожных, или лимона (V класс пил чай с лимоном, а IV без оного) и т. д. К концу года эта «подтяжка» ослабевала совершенно и отношения устанавливались довольно приличные.

Между тем я продолжал поигрывать на балалайке и расширил эту специальность игрою на альте и басу. В роте Его Высочества (6-й и 7-й классы) тогда был уже оркестр балалаечников. В конце года, главным образом благодаря мне, привился маленький оркестр (8 челов<ек>) и у нас, во 2-й роте. Сначала дело шло слабо, сам я не был еще достаточно опытен в этом деле, инструментов было мало, да и то все преимущественно «примы», то есть обыкновенные сольные балалайки. Все же это, да и все остальное, отвлекало меня порядочно от занятий, я стал получать пятерки, и воспитатель мой (кап<итан> Гриневич) стал меня все чаще и чаще сажать без отпуска. Это меня раздражало; отпуска мне тогда были дороже всего на свете. Я возмущался, учился еще хуже, желая доказать ему, что из-под палки я не исправлюсь, что в действительности и было. Однажды я имел с ним крупный разговор по этому поводу, позволил себе несколько дерзостей и поругался с ним. Он засадил меня на трое суток под арест, но на вторые сутки выпустил и отпустил в отпуск. Я ушел и оставался дома под видом больного 2 недели, из которых 6 дней провел в Павловске. Такая борьба с Гриневичем продолжалась почти до конца следующего года, когда я отстал и попал к новому офицеру. Последнюю четверть года я подтянулся, исправил некоторые баллы и перешел с грехом пополам в V класс.

Лето 1898 года жили, как и всегда, в Павловске, на том

же месте. Почти с начала лета я стал набирать себе оркестр, который был, собственно, первым моим оркестром. Фундаментом его была та же наша компания: я, двое Алексеевых и Сергеев. Остальные 9 человек были набраны из учащейся молодежи Павловска и Царского Села. Сначала толку выходило мало, но потом дело пошло хорошо. К концу лета мы составили себе некоторую славу и заразили своим примером многих, оставив все же за собой авторитет. Кроме балалайки я увлекался также книгами, из которых отдавал предпочтение «Истории Императора Наполеона I», соч<инение> Слоона. Эту объемистую книжку я почти что выучил наизусть; знал все кампании и сражения Наполеона I и его маршалов, число действующих, пленных, раненых и убитых в каждой битве, всех выдающихся придворных его, все события его частной жизни в хронологическом порядке и т. д. Вскоре за этим, как бы в виде реакции, я прочел «Войну и мир» Л. Толстого и получил совершенно новые и противоположные взгляды на военный гений. Толстым я увлекался в последующие два года до чрезвычайности и перечитывал его сочинения по десяти раз.

Между тем амуры мои продолжались в том же духе; мы встречались, целовались, гуляли в парке, переписывались и т. д.

Около этого же времени старшая моя сестра, бывшая до того в порядочных отношениях со старшей сестрой Алексеевых, Александрой Михайловной, погрызлась с ней из-за чего-то, вышел скандал, и ссора личная перешла в ссору домов. Дома мне стали доказывать, что я отныне не должен бывать у Алексеева и <должен> порвать с ними всякие отношения. Я относительно последнего расходился во взглядах со своими домашними, вследствие чего тоже поругался с ними здорово и переехал совершенно в «строение», где и жил почти до конца лета.

В этот период времени я сильно сдружился с другой сестрой Алексеевых, Зинаидой. У нас всегда были бесконечные разговоры и общие интересы. Дружба наша поддерживалась тем, что она помогала мне в моих амурах (как «ее» подруга), а я ей помогал в ее амурах (был такой один мой товарищ-кадет). У нее была пребогатая фантазия, у меня тоже не меньше, а потому в темах для разговоров отказу не

было. Это был один из лучших и счастливых периодов моей жизни! Все мне тогда казалось в радужном свете.

На музыку я ходил довольно редко, а по вечерам или устраивал сыгровки и после них картежную игру, или шатался по парку, или был в театре. В этот сезон антрепризу Павловского театра держала З. В. Холмская* и ставила драмы и комедии. Театром я интересовался просто как зрелищем, драматическое искусство меня тогда еще не прельщало. Я пересмотрел за это лето массу драм и комедий, ибо почти не пропускал ни одного спектакля (которые бывали по 3 раза в неделю).

Осенью «она» переехала в находившуюся близ Павловска дачную местность Тярлево, и там мы встречались при самой романической обстановке, в разрушенной хлебной риге, на самом краю живописного луга.

В V классе я стал заниматься еще хуже и взял за правило каждую четверть года быть 35-м учеником из 35-ти. Н. В. Гриневич строчил моей матери аттестации с ужасными прибавлениями о том, что я пропащий человек, лентяй, каких мало, и что из меня ничего не выйдет. «Подтяжка», хотя и слабая в сравнении с прежней, все-таки продолжалась. (Я лично, и еще около 10—15 человек, не пользовался своими «корнетскими» правами и не трогал «зверей».) «Звери» же на этот раз попались более энергичные и устроили, месяца 2 спустя, революцию против деспотизма «корнетов». «Корнеты» сопротивлялись, произошло несколько крупных столкновений (с участием финских ножей, бывших тогда в моде). Мало-помалу время брало свое, и «подтяжка» отошла в область преданий. В последующие годы она больше не появлялась, и только преувеличенные рассказы о ней напоминали ее.

Поездки мои в Павловск продолжались, как и прежде, каждую субботу. Переписка тоже продолжалась.

Из товарищей по корпусу я в наилучших отношениях был с теми <же>: Гаккелем и Толмачевым, которые отстали от меня в 3-м классе. Теперь они были в 4-м, в одной со мной роте.

Одним из новых наших увлечений явился спиритизм, который мы практиковали по вечерам и по ночам в «шинельной». Сначала мы сильно верили в спиритизм вообще

и в медиумические способности одного из нас, некоего Завадского. Мы вызывали разных духов, говорили с ними, вызывали души разных умерших, гадали, какие получим баллы и какова будет судьба каждого из нас. Иногда действительно мы такими сеансами раздражали свою нервную систему до сильной впечатлительности, даже случались неподдельные трансы, но некоторое время спустя все стали друг друга надувать и устраивать заранее разные эффекты. Кончилось это тем, что однажды вследствие сильного шума, который мы учинили на одном сеансе, пришел офицер и рассажал всех «духов», то есть нас, по карцерам. Это был финал наших сеансов.

Из инцидентов этого года больше всего выдавались постоянные недоразумения с французом, тщедушным человечком, господином Маттеем. Он имел привычку постоянно делать все втихомолку: и баллы ставил скрытно, не в классе, а потом, после урока в учительской, и в журнал записывал, ни слова не говоря. Из-за этого всегда бывала с ним адская ругань. Говорили ему в глаза всякие дерзости, посылали к черту; он делал вид, что не понимает, а потом доносил инспектору. Однажды он явился и объявил, что сейчас будет письменная работа. Все возмутились и начали ему кричать, что в таких случаях у нас принято предупреждать заранее. Он начал тоже ругаться, дело кончилось форменной свалкой, и его торжественно вышибли из класса. Он пожаловался инспектору и потом не являлся целый месяц. Нас всех рассадили по карцерам и весь класс <оставили> на месяц без отпуска, а двоих главных действующих лиц отправили вольноопределяющимися в полки.

Такие случаи бывали довольно часто.

Но и типы же были тогда среди наших офицеров и преподавателей. О некоторых стоит упомянуть. По русскому языку и по истории преподавали тогда два брата Виноградовы, «рыжий» и «воронóй» (что в действительности и было). «Воронóй» был высокого роста и широкоплечий мужчина. «Рыжий» же был маленький и худой. Забавнее всего было то, что у них у обоих был один сюртук (очевидно, шитый на «рыжего») и один вицмундир, шитый на «вороного»; но в зависимости от важности обстоятельств вицмундиром пользовались оба, причем когда его надевал «ры-

жий», то уходил в него с головой и ногами, и тогда «вороно́й» являлся в сюртуке брата, причем рукава кончались на локтях, а полы доходили только до некоторой части тела, что пониже спины. Конечно, в таких видах их встречали с триумфом и смехом, которому они удивлялись.

Затем был еще один француз, достойный внимания, некий Де ла Турасс, только что приехавший из Франции, ни звука по-русски не понимающий. Кадеты сильно пользовались тем, что он не имел ни малейшего понятия о том порядке, который соблюдается на уроках в русских учебных заведениях вообще и главным образом в корпусах. На первом его уроке (он явился месяц спустя после начала учебного года) ему любезно предложили папироску, — он взял и закурил — все тоже закурили; потом начались милые разговоры о том, как ему понравился Петербург, хорошо ли он себя чувствует вообще и т. д. (Конечно, разговаривали те, которые кое-что знали по-французски.) Потом, в конце урока, попросили сами (!) что-нибудь нам задать, причем объявили ему, что больше десяти строчек задавать не стоит, ибо это может нас утомить. После этого мило распрощались и попросили принести следующий раз французские сигары, которые он так расхваливал, дабы их попробовать. Следующий раз было точно то же самое, и так продолжалось довольно долго (около $1\ {}^{1}/_{2}$ месяца), пока этого случайно не увидел проходящий мимо другой учитель, который рассказал это инспектору. По разоблачении истории этого Де ла Турасса удалили вон. Вообще кадеты очень любили пользоваться незнанием русского языка молодых французов и немцев; так, напр<имер>, на их уроках постоянно вместо молитвы в начале или конце урока читали: «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»* и т. д. — и любовались, как француз стоит около кафедры и благоговейно смотрит на образ.

Были некоторые учителя не совсем нормальные, так, напр<имер>, по геометрии в IV классе преподавал старик, полковник Наумов, который требовал, чтобы учили наизусть подряд все тексты теорем, не обращая внимания на их сущность и доказательства.

По немецкому языку учил тоже довольно оригинальный господин, некто В. С. Эверлинг. Меня он почему-то не-

взлюбил и лепил мне постоянно двойки, тройки и пятаки. Действительно, этот проклятый язык мне не давался, да я так за 8 лет ему и не выучился. В старших же классах иностранные языки у нас были поставлены крайне скверно, их совершенно игнорировали, главным же и самым важным предметом была математика. Доказательством сего вполне может служить то, что уже на выпускном экзамене из корпуса, читая при целом синедрионе генералов и комиссии какую-то немецкую статью, я запнулся и остановился, ибо встретил новую для меня букву, каковой прежде никогда не видывал и не знал, как она произносится! Оказалось, как мне растолковали, это был «ипсилон».

Первые три четверти года в V классе я шел последним и предпоследним, к 4-й же четверти решил заняться и успел поправить баллы по всем предметам. Остался один немецкий, который я так и не исправил. Мне дали по нему экзамен — я провалился. Тогда назначили на осень переэкзаменовку. Это была моя первая и последняя передержка за курс корпуса. Гриневич был очень доволен, что я почти что вывернулся из своего положения. «Рябчик» же (Эверлинг) решил меня срезать и на переэкзаменовке.

IV

Павловский любительский оркестр народных инструментов. — Неудачная переэкзаменовка. — Второй год в пятом классе. — Тяга к математике. — Толстовство. — В шестом классе. — Новые взгляды на свое обучение. — Тиф

Карцер Конст<антиновского> арт<иллерийского> училища № 4. Март 1903 года.

Летом 1899 года я опять собрал оркестр, на этот раз довольно большой (20 челов<ек>), причем появились впервые 3 домры (2 альтовых и 1 малая). Новыми лицами в составе оркестра явились 8 человек-царскоселов (Р. Буб, П. Меркулов, Т. Вульфиус, Гейзе, Лютц, Чижов и другие). На этот раз успех оркестра (после немалой, впрочем, с мо-

ей стороны работы) был очень велик. Мы стали участвовать в благотворительных и любительских концертах и спектаклях, играть в частных домах у знакомых на вечерах и т. д. Словом, приобрели себе некоторую известность. Раз даже должны были выступить на так называемом Детском празднике в Павловском вокзале, но нашелся какой-то недоброжелатель, который донес инспектору Царскосельской гимназии об этом, и тот объявил, что если его гимназисты выступят (хотя бы и в штатском платье), то он всех их отчислит из гимназии. Таким образом, этот номер не состоялся. Главными же аренами нашей деятельности являлись: 1) любительский театр В. П. Глушкова на Солдатской, 2) Сакулинский театр (Новые веси) и 3) Павловское Городское попечительство о народной трезвости, где при народной чайной и библиотеке была сделана сцена и ставились спектакли и концерты. (Оригинальное, между прочим, было первое знакомство с этой «трезвостью». Нас пригласили там участвовать, а когда мы сыграли, то нас угостили ужином с такой колоссальной выпивкой, какой я еще сроду не видывал, такая «трезвость» с их стороны была очень любезна и крайне понравилась нам.)

Между тем роман мой с «ней» продолжался. Мы очень часто встречались, в большинстве случаев таким образом: по вторникам и четвергам ее домашние, большие любители театра, обыкновенно все уходили на спектакль; она же отговаривалась головной болью или чем-нибудь другим и оставалась дома с маленьким братом, которого сейчас же и укладывала спать. Через $^1/_2$ часа я являлся, мы устраивали чай или кофе, словом, хозяйничали полновластно. За $^1/_2$ часа до окончания театра я испарялся. Раз, впрочем, случился случай, хорошо оставшийся у меня в памяти. Сидели мы точно так же раз и совершенно спокойно болтали и пили чай — вдруг совсем неожиданно явился отец. Раздался звонок. Выход из квартиры только один... Положение хуже губернаторского. Единственным средством являлось спрятаться, но я ни за что не хотел и решил, уж лучше уйти через балкон. Дело было на 2-м этаже при довольно высоких комнатах... думать было некогда — я прыгнул, и довольно счастливо, встал и дал тягу, и вдруг, о ужас!.. фуражка, моя кадетская фуражка осталась там, на вешалке. Все было на-

прасно, и фуражка нас выдала. Произошел небольшой скандал и неприятность (конечно, только для нее), и за ней стали зорко присматривать.

Единственным отступлением от этой «вечной и постоянной любви» был небольшой флирт, который я разыграл с А. М. Дело в том, что я совсем случайно попал в положение «postillon d'amour'a»* у нее и одного молодого человека из моего оркестра. Раз я застал их на месте свидания, после чего они стали просить меня передавать друг другу записки и поцелуи. Сначала я это делал, но потом это мне надоело, и я сделал крутой поворот, переменив роль «postillon d'amour'a» на роль «первого любовника», что благодаря быстроте моих действий мне удалось. Но это продолжалось недолго, и вскоре я вернулся опять к «прежнему».

Довольно часто также в это лето мы стали ходить на рыбную ловлю на окружные пруды и на Ижору. Рыбы вокруг Павловска пропасть, а потому сидеть дураком на одном месте по целым часам никогда не приходилось. Впоследствии эти рыбные ловли стали у нас принимать характер пикников и устраивались не столько для самой ловли, сколько ради теплой компании и хорошей выпивки и закуски.

В середине июля я вспомнил, что у меня есть переэкзаменовка; нужно было начать готовиться, то есть по крайней мере прочитать те 20 статей из немецкой хрестоматии и изучить несколько страниц грамматики Мея. Я попробовал, но ничего не вышло, ибо, прочтя 2—3 страницы (а это вовсе не так легко, как кажется), я почувствовал, что начинаю дуреть и становлюсь идиотом; да и потом, какая польза в чтении, не имея понятия о переводе. В это время подвернулся один субъект, с которым я имел шапочное знакомство (бывший офицер л<ейб>-гв<ардии> Павл<овского> полка Г.), и предложил мне заняться со мной немецким языком. Я согласился и ходил к нему 3—4 раза, но опять-таки ничего не выходило, ибо большую часть времени мы болтали о постороннем, а потом ехали кататься на велосипедах (кроме того, этот Г. оказался фруктом несколько ненормальным, с которым следовало быть осторожнее).

---

* Почтальон любви *(фр.)*.

Наконец, кое-как дома при помощи матери и сестер я дочитал свои статьи и выучил грамматику.

28 августа я отправился на переэкзаменовку. Корпус в это время ремонтировали (здание это, будучи построено в 1762 году, имело до этого времени только два ремонта в 1799 и 1835 годах, вследствие чего от такой древности, за 2 года до этого, один угол с целыми двумя комнатами обвалился, при счастливых обстоятельствах только с одной человеческой жертвой). Передний же фасад отделывали заново. Я помню, как неприятно на меня подействовал запах краски и извести, когда пришлось шагать через груды кирпичей и досок. Единственным нетронутым местом осталась наша столовая (это была громадная и красивая зала, вся в портретах императоров во весь рост). В этой зале и происходили переэкзаменовки.

Волноваться мне не приходилось, хотя тут и стоял вопрос, переходить ли в следующий класс или же оставаться в том же. Если мне и приходилось когда-нибудь волноваться, то скорее на эстраде, дирижируя оркестром, а не на экзаменах. Сам-то я в глубине души чувствовал, что знаю не настолько хорошо, чтобы получить удовлетворительный балл, но когда я увидел, как знают товарищи, которые должны были держать переэкзаменовку вместе со мной, то я еще более успокоился. Один из них (Яснецкий) спросил меня, не знаю ли я, что значит по-русски «ein Verzählung»* и «werden»**, и удивлялся, почему это в немецком языке читаешь, читаешь и вдруг на какую «ab» или «zu»***. А другой прямо сказал, что за лето не открывал книжки. Мы разложили наши учебные пособия на один свободный стол и уселись. Явился «рябчик», и переэкзаменовка началась. Мы читали, пытались переводить, даже говорили кое-что из грамматики. После некоторого раздумия «рябчик» поставил одному (который не знал, что значит «werden») 6, а другому и мне по пяти баллов.

Таким образом я остался на 2-й год в V классе. Обидно

---

* Значение слова, как оно запечатлено мемуаристом, установить не удалось.

** Становиться *(нем.)*.

*** Отделяемые глагольные приставки, переходящие в конец предложения *(нем.)*. — *Так в тексте мемуариста.*

было не то, что я остался, а то, что причиной этому был только один ничтожный предмет — немецкий язык. Право, не так обидно было бы остаться из-за всех предметов или 3-х математик. Но тем не менее факт совершился — меня оставили. Я пробовал ходатайствовать у Гриневича, потом у инспектора, но они сделать ничего не могли, ибо «рябчик» не соглашался ни за какие блага поставить мне шестак. Так он меня, подлец, и доконал.

После этой злосчастной переэкзаменовки я отправился к товарищу, Мельницкому, обедал у него, потом сыграли 2 роббера в винт*, затем поехали вместе в Павловск.

Дома, когда я явился и объявил в чем дело, произошла, конечно, некоторая семейная драма. Я и сам чувствовал себя крайне скверно, но что же делать? Ведь не реветь же из-за этого. «Что было, то прошло, и назад не воротишь». В этот вечер я с горя напился пьяным. С «ней» по этому поводу тоже была укорительная сцена. Алексеевы же, которые сами не особенно торопились в делах науки (старший, Коля, учился 8 лет и дошел всего до 2-го класса гимназии, на чем и застыл; другой же, Володя, проходил аккуратно курс каждого класса по два раза), они отнеслись к этому много равнодушнее.

Теперь мне предстоял выбор, к какому офицеру идти в отделение. (Каждый класс у нас делился на 2 параллельных отделения, каждое со своим отделенным воспитателем.) Один был Э. А. Верьковский, взбалмошный господин, который совершенно распустил своих кадет, и они творили что угодно, зато он не отличался особенной справедливостью и равным ко всем отношением. Другой же был В. А. Черни, довольно строгий, но зато справедливо ко всем относящийся господин, хотя и бывающий иногда нервным и раздражительным. Мне лично этот В. А. Черни не нравился, да кроме того у меня было годом раньше довольно неприятное с ним столкновение; поэтому я решил пойти к Верьковскому. Но в это время подвернулся один из товарищей, А. А. Лобановский. Он гостил эти два дня у меня в Павловске и стал меня уговаривать идти к Черни, причем расхваливал его до небес. Я помню, как в последнюю перед корпусом ночь обоим нам спать не хотелось, и он до самого утра убеждал меня всякими способами, чтобы я по-

шел в отделение Черни (в этом отделении он сам был, а также многие из прежних товарищей, в разное время отставшие), и добился своего. Я дал свое согласие и слово.

На другой день мы с триумфом отбыли в корпус. По приезде я записался в отделение к Черни. В этом году собралась в одном классе вся наша атеистическая компания. Сначала они отстали, а потом, через 2 года, я отстал, а они меня догнали. С В. А. Черни у меня сразу установились посредственные отношения, и не очень хорошие, и не очень скверные.

Здесь у меня появилась новая мания — увлечение математикой (отчасти это было влияние летних товарищей по оркестру, царскосельских гимназистов, поголовно занимавшихся из любви к искусству математикой до одурения). Это много помогло мне в занятиях, ибо, будучи в V классе, я из любви к искусству прошел сам курсы IV, V и VI класса, обзавелся разными особенными задачниками алгебры и геометрии, перерешал тысячу задач, ломал голову над трисекциею угла, квадратурой круга, доказательством гипотезы Пифагора и т. д. В задачах я насобачился настолько, что большая часть класса приходила ко мне за объяснением непонятных мест и невыходивших задач. Баллы я стал получать по математикам самые хорошие; преподаватель (П. А. Коробкин) смотрел на меня как на примерного ученика. Зато иностранные языки по-прежнему страдали, а также и Закон Божий. С батькой я постоянно вступал в пререкания относительно разных темных мест Катехизиса и Евангелия. Он меня недолюбливал и называл «еретиком». Я помню, как заспорил с ним относительно того, как дьявол «исчезнет от лица Господня, яко воск от огня»*. Но ведь Бог «вездесущ», как доказывается в Катехизисе. Спрашивается, куда же тогда дьявол денется?..

За этот год я перечитал массу разных книг, почти половину всего того, что я прочел за всю жизнь в корпусе. Это была смесь сочинений всех родов. Здесь были и Толстой, Достоевский, Гюго, Золя, Вольтер, Дидро, Монтескьё, Тургенев, Гончаров, Ницше, Чертков, Феррьер, Лаплас, Гельмголыц, Миллер, Боккаччо, Диккенс, Э. Сю, Понсон дю Терраиль, Дюма, Соловьев, Брет Гарт, Дарвин и много всякого другого. Особенное впечатление на меня произвели Гюго, Дарвин и Л. Толстой (последнего я перечитал не-

сколько раз, причем поглотил также почти все его сочинения последних годов, изданные за границей и запрещенные в русской печати*). Главным же образом увлекло меня его сочинение «В чем моя вера»*. Оно написано страшно сильно, и правдивость его сопряжена с такими вескими доказательствами, что оно совершенно перевернуло мои взгляды и убеждения в новое направление. Л. Толстой сделался моим авторитетом во всем и везде. Прочтя же его «Патриотизм и правительство»*, я получил полное отвращение к военщине и дал себе зарок ни под каким видом не идти в военную службу, чего бы мне это ни стоило. Мало того, что мы сами (то есть я и моя компания: Толмачев, Гаккель, Бетлинг) имели такие взгляды на военщину, церковь с ее попами, правительство и др. — мы стали усиленно агитировать эти убеждения среди товарищей в корпусе и на стороне. Увлечение это было настолько сильно, что у нас даже явился план основать особое «общество» наподобие ордена масонов для распространения своих (основанных, конечно, на больших авторитетах) взглядов на жизнь. Новым членом этой компании явился Э. Н. Бетлинг, поступивший в этом году в наш класс. Это был начитанный и развитой парень, одного поля ягода с нами, прошатавшийся предварительно по всем русским гимназиям и реальным училищам. Мы сразу приняли его с распростертыми объятиями. Самый рьяный из нас, В. Толмачев, обладавший порядочным красноречием, читал форменные проповеди и поучения в классах, курилке и при разных сборищах кадет. Мало-помалу мы стали пользоваться среди товарищей громадным влиянием; наши книжки и записки читались всеми. $^{1}/_{3}$ роты перестала молиться и ходить в церковь. Сам я 2 года подряд не причащался. Это была уже довольно серьезная и опасная игра. Начальство кое-что знало, но мало обращало на это внимания. Только на следующий год, в VI классе, дело стало известно в больших подробностях и произошел огромный скандал. Каким образом нас четверых не выгнали в 24 часа из корпуса и Петербурга — это осталось для меня до сих пор тайной. По всей вероятности, стараниями директора корпуса (К. Н. Дуропа) дело было замято и не дошло до великого князя Константина Константиновича*. Впрочем, толстовское влияние и вера в «чистое учение

Христа», не запятнанное «церковью и попами», у меня впоследствии изгладились. На «учение Иисуса» я стал смотреть как на великую и совершенную философию, но, к сожалению, невозможную к исполнению в наше «теперешнее» время. «Вера» же у меня исчезла всякая, и явился полнейший атеизм, сохранившийся и до сих пор. Впрочем, в эти годы у меня было столько переходных состояний и новых увлечений и взглядов, что всех их упомнить и записать немыслимо.

В свободные часы в этом году я продолжал заниматься оркестром. На этот раз, еще в начале года, я сделал всеобщую подписку на покупку нехватающих инструментов и пополнил таким образом оркестр.

В феврале приезжал в корпус император Николай II, обошел все классы, прослушал у нас $^1/_4$ часа урок геометрии, осмотрел лазарет и церковь, прослушал в зале две пьесы в исполнении духового оркестра 1-й роты, а затем, узнав, что есть балалаечники, изъявил желание послушать. Мы вышли, сыграли две пьесы (очень скверно, при расстроенных инструментах), получили «спасибо»; царь разговаривал со мной 1—2 минуты и похвалил за ведение дела. В заключение нас распустили на неделю.

Из инцидентов этого года помню еще, как однажды я наказал любопытство своего офицера В. А. Черни. Я имел тогда обыкновение в своей записной книжке против списка фамилий товарищей записывать их краткие характеристики. Раз Черни взял у меня эту книжку и, несмотря на мой протест, прочел эти записки, которые были доведены до буквы «П». Прочтя, он похвалил меня за меткие определения своих товарищей и взял с меня слово, что я дам ему дочитать, когда допишу до конца. Я согласился, дописал на другой день, и когда дошел до буквы «Ч», то против «Черни» написал его характеристику, на мой взгляд, и несколько колкостей относительно его любопытства. Он прочел, улыбнулся, ничего не сказал и с тех пор никогда не пытался читать моих книжек и записок.

Между тем «роман» мой продолжался, но за эту зиму было еще два временных отступления, впрочем коротких и несерьезных, чему способствовали «Кавказские вечера», на которых я стал постоянно бывать и танцевать. В Павловск

в «тайгу» (так называлось место наших свиданий) я стал ездить уже не так аккуратно, как прежде.

Вообще этот 1899—1900 год я считаю первым переломом в своей жизни. Здесь я впервые стал смотреть на науку и образование не как на мучение, выдуманное кем-то для нас, а как на вещь, необходимую для всякого здравомыслящего и имеющего на то возможности человека. Конечно, хотя и позже я сам же не раз приходил к тому заключению, что учусь только ради аттестата, который необходим для дальнейшей карьеры. Но ведь, в сущности, образование средней школы, взятое в отдельности, — ничтожно. Все образование слагается из суммы знаний, достигаемых главным образом жизнью и чтением. Вот это образование играет огромную роль и имеет значение, а не зубрежка немецких переводов.

Лето 1900 года за малыми исключениями ничем не отличалось от лета 99-го года, точно так же, как и то в свою очередь сильно походило на лето 98-го года. Тот же Павловск, та же компания, опять у меня оркестр, конечно еще более лучший, ибо теперь уже был 2-годичный опыт и несколько лучший состав. Это лето я, можно сказать, прожил на велосипеде. Действительно, катался я на этом инструменте чрезвычайно много — не знаю, пошло ли мне это в пользу, вернее во вред. Велосипедистов у меня в оркестре было $^3/_4$ всего состава, так что часто устраивали поездки целой компанией, ну... и, конечно, со спиртуозою. Это последнее не то что вошло в моду, а совсем вкоренилось у нас, так что довольно часто вместо сыгровки оркестровой устраивали сыгровку на бутылках. После этого, обыкновенно, в сад выносили ломберные столы и начинали играть... но опять-таки в карты.

Здесь среди балалаечников появилась новая личность, П. Эттингер, не то немец, не то еврей, который терся потом у меня не только в оркестре, но и дома больше года и оказался впоследствии крайне «фиолетовой» личностью. Ходил он в гимназической форме (8-й гимназии), очень недурно декламировал, в особенности «Сакиа Муни» Мережковского и «Сумасшедшего» Апухтина, был страстный театрал, весельчак, что называется «душа общества», и всем очень нравился. Он у меня бывал постоянно, я же у него никогда. (Впрочем, у меня было очень много таких товари-

щей, у которых я ни разу не был по тем или другим причинам.) Дома у нас его тоже полюбили. Бывал он очень часто, часто засиживался и оставался ночевать. Потом однажды он пропал и с тех пор не появлялся. Впоследствии до меня дошло, что не только он сам, но и семья его — все личности «фиолетовые», а сам он чуть что не карманник и форточник — словом, либерал относительно чужой собственности, а в гимназии вовсе и не был, одним словом, темная история без начала и конца. Года 2 спустя я видел его полубосяком в кондитерской Андреева, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.

В конце этого лета мы решили добавить к оставшимся деньгам от членских взносов оркестра некоторую сумму по подписке и устроить ужин. Это была такая оргия, какой я не запомню больше (не считая той, что была по окончании корпуса, ибо там было еще почище). Р. Буб предложил для этого свою зимнюю квартиру в Царском Селе (в чем впоследствии сильно раскаивался). Там мы все перепились до того, что, несмотря на то что дом стоял особняком и дело происходило в 4-м этаже, пришла полиция с просьбой «быть потише», ибо жалуются в соседних домах.

Между тем, что касается моего «романа», то с ним вышла нижеследующая история. Однажды (дело было уже осенью) на одном из наших свиданий она объявила мне, что нам больше не следует встречаться. На все мои расспросы и требования объяснения этому она ничего определенного не ответила — тем дело и кончилось. Помню, что я из-за этого был в ужасно мрачном настроении, пробродил по лесу 3 часа и решил отравиться или застрелиться. Вечером вернулся в Петербург с отчаяньем в сердце и действительно ходил мрачный около месяца, но все-таки не застрелился! Но на этом этот роман не окончился, суждено было быть продолжению. Для меня были совершенно непонятны мотивы и причины нашего разрыва, но З. Алексеева разъяснила мне, что это была жертва для больной матери, которой была крайне неприятна эта «история с кадетом». Но почему же было бы мне так и не сказать — это осталось для меня неизвестным.

В шестом классе я стал заниматься значительно лучше. В этом году был большой наплыв новых преподавателей — у нас были двое, оба артиллеристы-академики. Оба

(кап<итаны> Иртель и Граве) были замечательно симпатичные парни, знающие математику действительно, превосходно ставили баллы, но зато у них кадеты ровно ни черта не делали и, конечно, ничего не знали.

Главный начальник военно-учебн<ых> зав<едений> был теперь тоже новый — вел<икий> кн<язь> Константин Константинович. Пробовал он развить новую систему воспитания в младших классах, основанную на том, чтобы ежедневно в свободное от уроков время кадеты 6 и 7 классов ходили к маленьким и занимали их и разговаривали с ними, — но из этого тоже ничего не вышло, ибо вел<икий> князь совершенно не знал, что такое средний умственный уровень кадета старшего класса и что такое толпа малышей первого класса и многого другого. Следствием этого было то, что какой-то болван из старших классов, не умея обращаться с маленькими, не знал, что с ними делать, а те от нечего делать напали на него в большом количестве и вздули. Так эта «теория» у нас «на практике» и не привилась.

Между тем наша компания (я, Бетлинг и др.; Толмачев опять застрял в 5-м) продолжала почитывать как цензурованные, так и нецензурованные изданьица всякого характера.

В начале года мы с Бетлингом уселись вдвоем «на Камчатку» (то есть на последнюю парту), но Черни горячо этому воспротивился и силою своей подполковничьей власти рассадил нас подальше, во избежание всяких могущих от этого произойти впоследствии неприятностей. Меня посадили с Ванькой Шишмаревым (теперь сапер). Оба мы постоянно на уроках занимались посторонними делами, он рисовал генералов и лошадей, а я писал ноты и составлял партитуры. Сначала преподаватели ругались, но потом так к этому привыкли, что когда я слушал урок, то спрашивали с удивлением, почему я сегодня не пишу нот?

Оркестра в этом году сначала не было, ибо 7-й класс никак не мог допустить, чтобы управлял оркестром кадет 6-го класса, среди них же не было ни одного опытного в этом деле.

Ротный командир (полк<овник> Лелонг) решил тоже, что <это> неудобно по отношению к VII классу, и назначил управлять <оркестром> из 7 кл<асса> В. Андреевского; я в свою очередь отказался играть под его управлением, ибо

это был совершенный профан в этом деле; за мной отказались и все те, кто прежде играл у меня. Осталось всего 6 человек, ни к черту не годных игроков. Конечно, у них ничего не вышло. Так весь год и не было ничего. Только я ходил, по просьбе директора, и занимался с оркестром, составленным из 4-го и 5-го классов. В феврале предполагался большой корпусный бал, и надо было подготовить с ними 3—4 пьесы для концертного отделения. Я с ними начал заниматься, и уже было дело пошло на лад, но тут я простудился и заболел. В лазарет я, конечно, не пошел, ибо, не знаю почему, был всегда ужасно против лазарета и со 2-го класса не был там ни разу. Однако мне становилось хуже, но я решил лучше дождаться субботы, пойти домой и там лечиться. В субботу я едва доехал до дому и сразу слег в постель. Оказалось — тиф, то есть, значит, я с сорокаградусной температурой прыгал через лошадь на гимнастике и выделывал ружейные приемы. Этот тиф оставил во мне много впечатлений и воспоминаний. Первые 1 $^{1}/_{2}$ недели я все время находился в полубеспамятном состоянии и при очень высокой температуре и только по утрам приходил в сознание. Лечил меня наш корпусный доктор (с<татский> с<оветник> фон Штейн). Он надавал массу рецептов и натаскал всяких банок, склянок и порошков. Я вообще никогда не верил в медицину и если и считаю ее наукою, то наукою, еще настолько мало развитой и требующей таких крупных реформ, что пока что она ни черта не стоит. 80% всех медицинских лекарств помогают только потому, что тот, кто их принимает, твердо верит в их силу. Но ведь есть такие болезни, и их очень много, против которых нет никаких средств. Да даже из самых обыденных недугов — насморк. Ну какой доктор, будь он семи пядей во лбу, кончи он 5 академий, вылечит мне насморк? — Никогда не вылечит. Я приходил, просил всевозможнейшие средства против насморка, все перепробовал, а насморк не прошел. То же самое кашель. Давали микстуры, порошки, капли, а кашель все-таки продолжался и кончился только через 6—7 дней, то есть тогда, когда он окончился бы и без микстур и порошков, ибо я довольно часто простужаюсь и знаю, сколько времени обыкновенно продолжается кашель. Конечно, есть такие средства, употребляемые в медицине, силу кото-

рых нельзя не признать, например, касторка, каломель, но это опять-таки уже чисто механические средства, и их действие понятно, объяснимо и *всегда* приводит к одним и тем же результатам. Все же эти микстуры, капли и порошки, по крайней мере для меня, вещь более чем сомнительная, и я мог бы на пари скушать целую походную аптечку, и со мной ничего бы не случилось, кроме разве «фридриха». Поэтому почти все прописываемые мне микстуры я аккуратно в час по столовой ложке выливал в некоторую «принадлежность», необходимую у постели больного, отчего я чувствовал себя лучше, а «принадлежность», если бы была существом органическим, кажется, непременно бы заболела. Однажды доктор прописал мне какие-то особенные порошки, которые, по его словам, замечательно помогают. Как только он ушел, я разорвал рецепт и бросил его в «принадлежность». На другой день он пришел и спросил, принимал ли я прописанное. Я объявил, что принял. «Ну вот видите, у него и вид совсем другой, и температура значительно ниже — вот видите, какие хорошие порошки». Я согласился, что порошки действительно замечательные! Хуже всего было то, что мне не давали ничего есть, кроме бульона и яиц. Впрочем, потом стали покупать пастилу и печенье, что и было главной моей пищей почти целый месяц. Когда я стал выздоравливать, ко мне по вечерам приходили товарищи, главным образом Эттингер, и мы играли в винт. Здесь с доктором опять вышел анекдот. Однажды он позвонил, когда мы играли в карты, и так быстро вошел, что только едва успели убрать карты, а я ему сунул по ошибке, вместо записочки с температурами, винтовую запись, конечно, вышло недоразумение и получилось явление из оперетты.

Во все время болезни сестра разыгрывала на рояле некоторые места из «Пиковой дамы», так что даже эта чудная опера мне тогда надоела до одурения. Когда теперь приходится есть пастилу или слышать «Пиковую даму» — мне совершенно ясно представляется до мельчайших подробностей вся картина моего тифа. Так как музыка вообще в моей жизни имела очень много места, — я, можно сказать, прожил 20 лет под музыку во всяких видах, — то любой момент прошлого мне живо встает перед глазами, стоит лишь воспроизвести музыку, его сопровождавшую. В начале марта я уже

почти поправился, но суждено было «сыграть на новую». Произошло это так. Однажды вечером дома никого не было; я шлепал по квартире в туфлях и не знал, чем бы заняться. Конечно, как всегда в конце тифа, страшно хотелось есть. Я решил, что я уже здоров и могу есть что угодно, поэтому я выпил внушительную рюмку водки, закусил двумя бутербродами с икрой и съел кусок пирога с капустой и тетерки. На другой день появился возвратный тиф, но он продолжался сравнительно недолго. Конечно, дома все страшно ругались и говорили, что нельзя меня даже оставить одного и т. д.

Когда я начал окончательно выздоравливать, то тут-то и явилось продолжение брошенного романа. Во-первых, я получил от нее письмо, где она писала, что все по-старому, что она меня любит и чтобы я приезжал. Дело было на Пасхе, и письмо пришло без меня, я сам был на Гутуевском острове на зерноподъемных складах у товарищей (Ректзаммер). Когда я вернулся и прочел письмо, во мне по-старому разыгрался дух романов во вкусе Монте-Кристо, и я полетел в Царское Село. Мы опять стали часто встречаться. (Я в это время в Павловске останавливался у Городенских.) Это было хорошее, счастливое время. На дворе стояла весна, и я чувствовал какое-то двойное обновление после болезни.

В этот период после тифа я особенно сильно увлекался революционными идеями и толстовским учением. Я носился тогда с разными подпольными журналами, газетами и изданиями и чуть-чуть с ними не попался. Толстым я увлекался до черта, выучил чуть не наизусть его «Веру» и стал даже во многом следовать ему.

Был проект отправить меня для поправления здоровья вообще на юг, в Аббас-Туман. Я сам был очень доволен и мечтал об этой поездке, но она не состоялась вследствие некоторых финансовых затруднений... а я уже рассчитывал проездом через Тульскую губернию заехать и повидать лично Льва Толстого!

В эту зиму у нас в доме появились новые лица — двое армян студентов, С. Г. Акопянц и А. Агамальянц. Оба были замечательно интересные, развитые и симпатичные люди. С ними я часто просиживал целые вечера и болтал. С. Г. Акопянц был настоящий энциклопедический сло-

варь. Более всесторонне образованного человека я не встречал, с ним можно было говорить о чем угодно — все он знал, да не как-нибудь поверхностно, а глубоко и широко. Благодаря ему я познакомился до некоторой степени с И. Кантом, Гербертом Спенсером, Гегелем, Ницше и др. Он мне охотно давал читать книжки, а у него была хотя и небольшая, но избранная библиотека.

Это время после Пасхи у нас в доме была фотографомания. Началось с того, что Акопянц купил себе аппарат «Гном» и стал делать довольно удачные снимки. Сестра тоже завела себе «Гном», потом явился еще аппарат большой, потом еще побольше. Половина комнат были «темные», куда ни войдешь — крики: «Ах, он все испортил, попал свет». В остальных комнатах все, что имело горизонтальную поверхность, было заставлено сплошь тарелками, ванночками, банками, сушилками. Все тарелки были под фотографией, так что ежедневно был обед такого меню: 1) суп á la фиксаж-вираж; 2) жаркое под гидрохинонным проявителем; 3) пирожное с битыми негативами.

Конец учебного года я занимался в корпусе, успел догнать весь пропущенный курс и благополучно перешел в VII класс.

V

Лето 1901 года. Увлечение драматическим искусством. — Любительская труппа И. Г. Вольфсона. — Суфлерство. — Роман с ingénue. — «Жрецы и жрицы Мельпомены». — Велосипедные прогулки. — Любовное пари

22 июня 1904 года.

Лето 1901 года было полно самых разнообразнейших приключений. Его следует отметить особенно, ибо это было начало нового направления моего существования на сем свете, а именно увлечение драматическим искусством, да не в смысле частого хождения в театры, а в смысле соприкосновения к этому делу собственной персоной. Впрочем, я отнюдь не пытался пробовать свои способности на подмостках, а лишь занимал скромную должность суфлера. Виновником этого был один молодой человек И. Г. Вольф-

сон. Он приехал с Кавказа, а каким образом познакомился и попал в нашу семью — этого я достоверно не помню. Знаю только, что, когда я лежал в тифу, он приходил и читал пьесу своего сочинения «Братья Карамазовы» (переделка с Достоевского). Это был страстный любитель театра и актер. В это лето он уговорился с Павловским попечительством о народной трезвости ставить спектакли на имеющейся при чайной сцене. Любителей в Павловске — как нерезаных собак, а посему он приступил к собиранию труппы, а я ему помогал во всех этих делах. Постоянной труппы, конечно, не было, да и быть не могло, но приблизительный состав ее был такой: на бытовые, драматические роли и гранд-дам — С. И. Пронская; ingénue — Л. М. Михайлова и А. П. Романова, Е. И. Баталина I (сестра); комич<еские> старухи — О. И. Баталина II (сестра), Н. Никифорова; на быт<овые> и водевил<ьные> — Л. К. Горская, Л. Н. Фридберг и др.; премьеры — И. И. Глыбовский, Ногит, И. В. Фролов, 2 роли — Козеко, А. Иванов, В. Иванов, Славский; стар<ики> — В. П. Глушков, Сухоцкий и др. и на выходные роли — целая масса учащейся молодежи. Сезон начался довольно поздно, ибо отстраивали и увеличивали сцену и уборные.

24 июня 1901 года шло «В осадном положении» В. Крылова, и прошло с большим успехом. Это был мой пробный камень в суфлерстве — я оказался способным и вполне пригодным. Самому мне очень нравилась закулисная жизнь, и я втянулся в нее до невероятности. Впоследствии я выступал несколько раз и на подмостках — играл «Школьную парту», «Роковой дебют», «Школьный учитель», «Денщик подвел» и даже единожды играл главную роль в двухактной комедии «Том Сойер» (из Марка Твена), но больше же специализировался в суфлерстве и занимался этим делом вплоть до офицерского чина.

Спектакль 24 июня мне очень памятен еще и оттого, что, насколько мне помнится, я в этот вечер влюбился в нашу ingénue Л. М. Куроптеву. Это увлечение значительно основательнее всех прежних и параллельно с суфлерством продолжается очень долго... На вопрос, что именно меня привлекало к этой женщине, ответить весьма трудно. Если же разбирать критически, то можно окончательно запу-

таться, потому что в подобных вопросах, обыкновенно, сам пострадавший является самым худшим судьей. Как по наружности, так и по внутреннему содержанию она не была ничем особенно выдающимся. Миловидная блондинка, замечательно веселая, добрый характер, тактичность во всем и редкая способность жить со всеми в ладу и всем приходиться по вкусу. К этому плюс талантливая и для любительских спектаклей более чем хорошая артистка. Звучный приятный голос при репертуаре из цыганских романсов (а если женщина, которая вообще нравится, кроме того умеет петь цыганские романсы со всей их специальной отделкой — это не что-нибудь, это, как говорится, «не фунт с осьмой!»). В продолжение первого месяца знакомства с ней я вынес то заключение, что она видела немало ухажевателей и поклонников и имела достаточно опыта в кружении голов, а потому поставил себе за правило наперед держаться с ней всегда политично и осторожно.

Вторым спектаклем пошло «На бойком месте» Островского. Здесь выделился артист-профессионал И. В. Фролов, которого нам режиссер выкопал где-то в Петербурге, кажется, при помощи Театральной библиотеки Волкова-Семенова. Л. М. К. играла Аннушку и оказалась хорошей исполнительницей и бытовых ролей. Пьеса была срепетирована очень прилично и вообще прошла с успехом. После «Бойкого места» шел прекрасно разыгранный С. И. Пронской, Л. М. К. и И. Глыбовским водевиль «Бедовая бабушка».

Казалось странным, как это так в любительской труппе прошли хорошо два спектакля и не было еще никаких недоразумений, интриг и скандалов... но долго ждать не пришлось: на одной из репетиций к 3-му спектаклю началось с того, что г-н Глыбовский, вообще господин не без самомнения, не желал исполнить какого-то указания Вольского (И. Г. Вольфсона), далее они поругались, и Глыбовский бросил репетировать и уехал. Спектакль был отложен, и хотя не так хорошо, как два первых, но все же прошел. (Впрочем, этому много способствовало «нашествие иноплеменников», как-то: г-жи Руч, одной носастой ingénue семитического происхождения, фамилии коей не упомню, г-на Каминского с супругой и прочего «зверинца», как у нас тогда говорили.) Шло: 1) водевиль, кажется «Медведь со-

сватал», 2) «Волшебные звуки», драмэтюд в I д<ействии> и сцена-декламация «Сумасшедший» Гоголя (И. В. Фролов). На другой день в одной из известных газет г-н Глыбовский поместил адскую рецензию, то есть сплошная руготня, да еще ложная (это была его благородная месть).

Это был последний спектакль под управлением И. Г. Вольского, ибо далее началась полемика: Вольский написал опровержение, Глыбовский ответил почти что оскорблением в печати, и дело кончилось бы у мирового судьи разбирательством по статье о диффамации, если бы не вышло нечто посерьезнее. В этот день, как мне помнится, был в вокзале платный вечер, после коего должны были состояться танцы, — поэтому я и остался в Павловске, несмотря на то, что вся наша компания отправилась в Сакулинский театр (надо заметить, что в Павловске и окрестных дачных местечках и деревнях Мельпомена расплодила легионы своих жрецов и жриц, так что, кажется, нельзя было пройти двадцати сажень по любому направлению, чтобы не наткнуться на сцену и репетирующих любителей; сцены делались и в дачах, и в сараях, и в конюшнях, и в беседках, и чуть ли не в кабинетах задумчивости!). Сакулинский театр был один из лучших среди этой массы и являлся конкуренцией нашей «Трезвости». Глыбовский после истории на наших подмостках, как один из представителей больных «драматическим зудом», перешел в сей Сакулинский театр. Наших туда отправилось человек 20, и хотя целью этого путешествия вовсе не было устраивать скандал Глыбовскому, но это невольно так вышло. Слишком ярые сторонники Вольского и «Трезвости» при появлении Глыбовского подняли такой свист и шиканье, какого ему навряд ли приходилось слышать. Но в последнем антракте, когда Глыбовский, проходя мимо Вольского в импровизированном фойе на воздухе, позволил себе по адресу Вольского отпустить какую-то скверность, последний не сдержался и при всем честном народе треснул Глыбовского по физиономии. Пока их разняли, дабы не дать возможности Глыбовскому ответить, между сторонниками двух лагерей произошло крупное сражение, в котором принял участие даже и женский пол, одна из представительниц которого погладила Глыбовского по лысине своим зонтиком. После этого «трезвенники» не сочли нужным более там

оставаться и всей гурьбой появились на балу в Павловском вокзале. Все мы были после этого случая в прекрасном расположении и веселились и танцевали до утра.

На другой день «сакулинский скандал» был известен, кажется, на 100 верст кругом. Много было и разговоров, и сплетен. Целую неделю Вольский был героем дня, его поздравляли, предостерегали, предлагали услуги. Сочинялись проекты вроде того, как поймать Глыбовского при возвращении из Сакулина на вокзал через лес, снять штаны и пустить дальше и т. п.

Спектаклей дальше ставить было нельзя, ибо споры и препирания с Маевским дошли до апогея (Маевский — это было крайне вредное животное, исполнявшее роль чиновника особых поручений от полиции при «Трезвости». Он постоянно всюду совал свой нос и устраивал всей труппе всякие гадости и располагал суммами попечительства, отпускаемыми на театр, — вел дела по этой части с чистотой 2-го сорта). Труппа понемножку разошлась.

В эти времена предприимчивый Вольский устраивал несколько веселых и замечательно интересных прогулок-пикников. Нас собиралась большая компания, человек 20 обоего пола, брали провизию и отправлялись в Поповку смотреть восход солнца, там разводили костры, пекли свежепохищаемую с огородов картошку и закусывали на лоне природы. Часов в 7—8 утра вся компания возвращалась, пила чай в «Трезвости», а затем спала сладким сном часов до 3-х дня. Таких прогулок было 2 или 3, и все они выходили такие веселые и симпатичные, что, кажется, долго еще останутся в памяти. Кроме этих двух-трех прогулок мы, то есть мальчишки, организовали несколько прогулок отдельно, без дамского пола; нас собиралось человек 6—7, брали с собой не столько провизии, сколько питий и делали атаки на казенные и частные огороды под Павловском. Выходили мы, обыкновенно, часа в 2 или 3 ночи, а возвращались в 8 утра.

Ввиду того, что 3 часа утра — время наиболее крепкого сна, у нас практиковались довольно оригинальные способы будить друг друга. Я, обыкновенно, привязывал себе за ногу длинную веревку, на другой конец привязывал какой-нибудь груз, по большей части дверной ключ, и опускал в окно. При подобных способах выходило немало разных

«кипроко»*, ибо зачастую прежде, чем являлись товарищи дергать за этот ключ, его замечали живущие в нижнем этаже жильцы, собирался целый конгресс горничных, кухарок и поваров, и решали, что бы значил висящий на веревке ключ; когда же я во сне повертывался на другой бок, там раздавался крик ужаса и удивления.

Эти наши экскурсии «по пивну ягоду» кончились тем, что нас однажды накрыли с костром в поле близ дер<евни> Пязелево. От костра загорелся целый стог сена, прибежали мужики и бабы со всей деревни, мы дали тягу, и если бы удачно не удрали, то дело могло принять для нас весьма скверный оборот.

В середине июля мы устроили à trois** стоверстную поездку на велосипедах. Взяли напрокат три велосипеда и выехали в 8 часов утра из Павловска в Петергоф. Конечно, не обошлось без приключений. На середине дороги, в 15 верстах от Царского Села и в 11 верстах от Стрельны, у меня лопнула передняя шина. Был составлен совет, и большинством голосов решено двинуться все-таки вперед. Через каждые 2 версты менялись машинами и доехали таким образом 11 верст по шоссе на ободе (хорошо, что он был не деревянный). В Стрельне в велодромной мастерской мне заклеили и надули шину, и мы двинулись в Петергоф. День был замечательно удачный. Мы попали аккурат ко времени, когда во дворе был прием каких-то послов, а потому парк весь был открыт и били все фонтаны. Часа в 4 мы выкупались в море <у Козушкина> и двинулись в Петербург. Здесь дорога была отвратительная. Нас растрясло до невероятности. Из одного велосипеда повылетали все педальные шарики, на другом выпали 3 спицы, а у меня отлетела вся левая половина руля вместе с рукояткой (очевидно, лопнуло по месту спайки). Я так и ехал с половиною руля. В Петербург мы приехали только в восьмом часу вечера и до такой степени в грязи и в пыли, что волей-неволей пришлось ехать по самым пустынным улицам. На Екатерингофской в кофейной мы пообедали, потом, несмотря на значительную усталость, поехали за пожарными на пожар (это горели леса Исаакиев-

* Quiproquo — недоразумение *(фр.)*.
** Втроем *(фр.)*.

ского собора). Ночью мы носились как бешеные по Невскому, переночевали у одного из нас на зимней квартире, а на другой день шел такой проливной дождь, что мы принуждены были поставить своих коней в багажный вагон и отправиться восвояси силою пара.

Впоследствии, в августе, когда наш И. Г. Вольфсон уезжал на Кавказ домой, мы поехали его провожать из Павловска в Петербург на Николаевский вокзал таким же образом: втроем на велосипедах. Потом снялись в Петербурге у ворот одного дома группой и вернулись обратно. Здесь уже не было таких приключений, как в первую экскурсию.

22 июля в Глазове (одно из подгородных дачных местечек, близ Павловска) ежегодно устраивались танцы под специально нанимаемый оркестр, иллюминация, баталия конфетти и т. д. Мы опять-таки четверо на велосипедах (я, Толстиков, Прибыльский, Денисьев) порешили туда ехать. Так и было. Мы поехали, танцевали там целый вечер, познакомились с несколькими барышнями. Самая интересная из них была одна хорошенькая, белокурая, нечто среднее между девчонкой и барышней Marie Соколова. Она очень мило танцевала, мы ухаживали все четверо за ней целый вечер. Гимназист Прибыльский (порядочное дерьмо, как это оказалось впоследствии) особенно старался выделиться перед нами. Моя башка в эти поры была занята совсем другим, но я ухаживал за этой Marie, исключительно чтобы позлить Прибыльского. Наконец, вечер кончился и мы отправились провожать сию даму домой, в Тярлево, соседнюю дачную местность. Мне удалось раньше Прибыльского предложить ей руку, на что тот был в большом гневе. На другой день, когда мы вечером сидели в беседке садового буфета в Павловском вокзале и пили пиво, разговор перешел на тему о Marie Соколовой. Я все время изводил Арамиса (нас называли мушкетерами по роману Дюма — я был Атосом, Денисьев — Портосом, Прибыльский — Арамисом, а Толстиков мнил себя д'Артаньяном), я утверждал, что Marie совершенно не интересуется Арамисом, а мне ничего не стоит добиться ее взаимности. Дело кончилось тем, что я держал пари на угощение выпивкой в этом самом ресторанчике, по которому я брался в срок не больше месяца покорить сердце этой Marie. Доказательством должно

было служить то, что она меня будет целовать на заранее условленной темной аллее за Тярлевом! Пари довольно оригинальное и рискованное... Я не столько боялся проиграть, сколько не хотел из самолюбия потерять свое первенство и влияние в компании.

После этого я целых три недели ежедневно шлялся в Тярлево. Сначала болтал с ней у ее калитки, потом стали прогуливаться по парку, потом я учил ее кататься на велосипеде, ездили по парку, однажды просидели целый вечер tête-à-tête* на «острове любви». (Там еще в память этого дня до сих пор красуются наши вензеля, вырезанные ножом на скамейке.) Пари было не очень-то легко выполнить, ибо я располагал очень небольшим временем, так как не всегда удавалось вытащить ее гулять, а если она поздно возвращалась, ей влетало от старшей сестры и матери. Тем не менее дело шло успешно. Много облегчало то, что здесь пришлось иметь дело не с опытной головокружительницей, а с наивной и неопытной девчонкой. Это, повторяю, был очень милый и изящный ребенок, а потому сие пари имело и лично для меня некоторый интерес. Конечно, пришлось изобразить влюбленного. Не стану описывать всех своих маневров, да мало ли существует общеупотребляемых в подобных случаях приемов?.. Надо заметить, что во всем этом мне все время ужасно мешали сам Прибыльский и еще одна гнусная личность, гимназист Эдельштейн, которые всевозможными средствами старались очернить меня в ее глазах и даже несколько раз, когда мы с ней гуляли в парке, ходили за нами. Это кончилось тем, что я однажды чуть-чуть не треснул Эдельштейна в Павловске на музыке, наподобие того, как это сделал Вольфсон с Глыбовским.

Тем не менее пари было выиграно, то есть в один прекрасный день я, взяв честное слово с Прибыльского и Толстикова, что они елико возможно скроют свое присутствие, показал им место в кустах близ березового бульвара, где расположиться и наблюдать. Сам я отправился на велосипеде к ее даче и стал особенным, условным образом звонить, проезжая мимо. Затем она осторожно вышла (было уже около 10 часов вечера), покрылась с головой шалью, я

* Наедине *(фр.)*.

оставил велосипед в саду, и мы пошли под руку краем оврага, вокруг станции к бульвару, и сели на «нашу» скамейку. (Замечательно, что в подобных случаях всегда бывают любимые скамейки, и сколько у меня бывало романов, столько существует и «наших» скамеек.) Там мы сидели, я пускал фразы самого высокого «штиля», ну и, само собой разумеется, целовались... что и требовалось доказать. Прибыльский был уничтожен и ходил как Отелло, но от угощения каким-то образом уклонился.

Само собой разумеется, что, выигравши пари, все-таки порвать всего было нельзя, да оно становилось отчасти и интересным, так что я с этой Marie Соколовой возился еще и в Петербурге, был несколько раз с ней на «берновских утрах» с танцами в Кредитном собрании, разъезжал по городу и т<ак> д<алее> вплоть до декабря, когда, наконец, все само собою кончилось.

VI

Любовные коллизии. — В седьмом классе. — Подготовка к смотру в корпусе. — «Военные прогулки». — «Великорусский» оркестр. — Смерть И. Г. Вольфсона. — Депрессия. — Знакомство с В. В. Андреевым. — Кадетские хитрости. — Любительские спектакли, танцы, «артистические» ужины. — Выпускные экзамены

Лагерный карцер Конст<антиновского>
арт<иллерийского> учил<ища>.
Июнь 1904 года.

В это же памятное лето 1901 года на закрытии Павловского вокзала у меня произошло объяснение с первым моим романом, после чего последовал окончательный разрыв. Она, конечно, видела меня много раз с нашей ingénue Л. М. К., поняла, что здесь дело не чисто, и наблюдала более внимательно. В середине лета она, как лютеранка, готовилась к конфирмации и ежедневно ходила парком в Царское Село. Вначале, до 24 июня, я ходил и провожал ее охотно, ибо прежняя привязанность еще существовала. Но 24 июня, на спектакле, я, что называется, потерял голову от Л. М. К.,

а прежнее вытеснилось совершенно. Но я не знаю, почему (до сих пор не могу дать себе в этом отчета) у меня не хватило духу объясниться сразу и бросить эти прогулки в Царское Село. Конечно, она стала замечать мою холодность, но еще не знала, чем это объяснить. Хотя она на наших спектаклях и бывала, но сидела в публике и не могла видеть, как я в антрактах в уборной изощрялся перед Л. М. К. и целовал по 1000 раз ее руки. Но в дни, когда не бывало репетиций, на музыке я сидел всегда с Л. М., и, очевидно, № 1 скоро поняла, почему я стал от нее сторониться.

На закрытии, в первом антракте, она, проходя мимо меня, посмотрела на меня в упор и быстро пошла через мостик в парк. Это был условный знак, и я пошел за ней. Переходя мост, я соображал и обдумывал, что я буду говорить, ибо знал, что объяснение неизбежно. Имеет смысл гнаться за двумя зайцами, если хочешь поймать обоих. Глупо было ломать дурака и нужно было кончить. Мы молча дошли до «соломенного дворца» под удалявшиеся звуки «Итальянского каприччио» Римского-Корсакова. Здесь я пустил в ход все свое красноречие и очень осторожно дал понять, что между нами, собственно, ничего не было, да и быть не могло, была детская глупая игра, которая с летами должна наскучить и кончиться. Целый час мы просидели, я философствовал на эту тему, потом мы распрощались с намереньем все-таки остаться друзьями, она пошла домой, а я опять в вокзал. После этого мы еще несколько раз встречались, впрочем больше при других. Теперь, то есть по прошествии 3-х лет, она много изменилась, влюблена в какого-то пехотного офицера, а меня, кажется, окончательно забыла.

В VII классе корпуса мы были не столько кадетами, сколько солдатами. Ввиду того, что из Главного управления военно-учебных заведений пришел приказ приготовить кадет в строевом отношении к смотру в<еликого> к<нязя> Константина и к приему знамени (оно до тех пор только стояло в церкви, теперь же его должны были вынести в строй), наш командир, полковник Лелонг, принялся весьма яро за эти приготовления. В начале года злоупотребление выражалось только в сугубых маршировках и ружейных приемах. Но дальше — больше. Потом уничтожили и

гимнастику, и уроки пения и танцев, и все было заменено ротными учениями в манеже Павловского училища. Наконец, придумали устраивать 20-верстные прогулки за город под ружьями и в полной амуниции. Но первый блин вышел комом. В один прекрасный день рота наша в весьма боевом виде, несмотря на порядочный холод, выступила в час дня в одних мундирах под барабаны и оркестр. Мы долго и стройно колесили по Петровскому парку, и, наконец, начальство сделало привал в Речном яхт-клубе на берегу Невы, где она втекает в Финский залив. Там мы составили ружья в козла, вошли в главный зал, где были накрыты столы и приготовлен на казенный счет чай и булки с колбасой. Разрешено было, кто желает, есть и еще бутерброды на свой счет. Начальство же, предоставив нам пищу, само скрылось в отдельный кабинет завтракать. Между тем кому-то из нас, пользуясь отсутствием офицеров, пришла благая мысль попробовать, что будет, если приказать матросу-официанту принести рюмку водки. Он принес. Тогда потребовали еще и еще, стали пить все. Через час в яхт-клубе не было ни капли спиртного, а «строевая рота» до того перепилась, что поубирали столы и стали плясать под бывший здесь рояль сначала какой-то странный танец вроде кадрили, а потом прямо канкан. Начальство же радовалось, что прогулка такая удачная и кадеты все, по-видимому, довольны. Но обман зрения продолжался недолго. Когда же нас попробовали построить под ружья, дабы двинуться обратно, то это оказалось не так легко и просто, ибо одни были совершенно не в состоянии идти, другие же только выписывали вензеля и не могли найти своих мест. Один, некто Б., который не выдержал и разразился «Фридрихом», был отправлен на извозчике. То же последовало и еще с несколькими. Прочие же в своем «строевом движении» сильно напоминали французов после перехода через Березину. В последующих «военных прогулках» начальство сильно избегало делать привалы в ресторанах и вблизи оных.

Между тем я по примеру прошлых лет опять собрал оркестр, получивший уже теперь за хорошее исполнение пьес название великорусского. Дело действительно пошло хорошо, ибо от казны была выдана приличная сумма на покупку нехватающих инструментов, был нанят преподава-

тель, дока по этой части, один из лучших игроков оркестра В. В. Андреева, И. И. Цельхерт. Нам обоим после немалых усилий удалось водворить нотную систему и приличную оркестровку в исполнении. Много подбавляло общего рвения и то, что предстоял концерт. Репертуар был очень хороший, шли большей частью андреевские пьесы или из сборников Фомина и Носонова. Цельхерт занимался с домрами и вообще мелодией и преимущественно репертуаром русских народных песен. Я же занимался с аккомпанементом и прочими пьесами и вальсами. Дело шло быстро и очень успешно. К концерту (25 ноября) были разучены и сыграны: 1) «Заиграй моя волынка» (из сборника П. И. Чайковского), 2) «Молодка» В. В. Андреева, 3) «Под яблонькой» — народная плясовая с вариациями, 4) «Loin du bal»* — вальс Жиллэ, 5) «Фавн» — вальс Андреева и 6) «Тореадор и андалузка» Рубинштейна (моей собственной аранжировки и оркестровки). Гвоздем концерта был этот мой оркестр, и успех был очень большой. Меня много раз вызывали, и «бисов» было немало.

Во второй половине года мы разучили еще массу пьес, среди которых были «Татарский полон», «Марш Черномора» из оп<еры> «Руслан и Людмила», увертюра к оп<ере> «Кармен» Бизе (тоже моей аранжировки) и целая масса наиболее интересных народных песен и плясовых.

Еще до Рождества, в начале декабря, я принялся было за переложение для своего оркестра вступления к опере «Князь Игорь» Бородина, но работа эта была прервана целым рядом ужасных случаев и драм дома. В середине декабря, совершенно неожиданно для нас, как раз когда я сидел и вычислял разницу тонов в альтах и секундах, вернулся с Кавказа И. Г. Вольфсон. У нас в доме все мы любили его больше, чем своего родного, и поэтому это была большая радость. Он приехал прямо из Баку, где, как он говорил, он ужасно скучал и, не имея возможности там больше сидеть и скучать, дал попросту тягу, и вот с вокзала явился прямо к нам. Он рассказывал массу впечатлений за время с августа по декабрь, как он ставил там детские спектакли и т. д. Ночевал он в каких-то меблированных комнатах на Толмазовом пе-

---

* «Вдали от бала» *(фр.)*.

реулке. Большую же часть дня сидел у нас. На третий день его приезда, 17 декабря, случился ужасный случай. Он целый вечер сидел у нас и, как сейчас помню, читал вслух сказки Андерсена, из которых предполагал выбрать наиболее удачные и переделать в пьески для детского театра. После ужина, когда он уже собирался уходить, ему вдруг сделалось дурно, но когда я побежал за водой и вернулся, он уже оправился, говоря, что это с ним часто случалось за последнее время. Через 5 минут припадок повторился, я увел его в свою комнату и положил на постель. Пока послали в аптеку за валерьяновыми каплями, а я освобождал его от воротников и галстуков, он, по-видимому в сильных мучениях, скончался. Это было до такой степени неожиданно, что произвело на всех сильное действие. Мне, собственно говоря, первый раз в жизни пришлось видеть на своих руках умиравшего человека, и это произвело на меня особенно потрясающее впечатление. Всю ночь я и один студент Бершадский бегали по полициям, докторам и больницам. Только к утру явились с гробом и отправили тело в приемный покой Обуховской больницы. Четыре дня и четыре ночи после этой истории я не смыкал глаз. Да и хлопот было не мало. И. Г. Вольфсон был еврей — пришлось разыскивать раввина, ходить по разным синагогам и бюро похоронных процессий. Каков же должен был быть удар для его стариков на Кавказе — отца и матери, когда это был единственный и любимый сын.

Да, надо иметь закаленные нервы, чтобы перенести все эти путешествия в сумерки по мертвецкой, где лежало тогда около 100 трупов самого ужасного вида. Не говорю уже о похоронах. Еврейские похороны — это по своей странности и причудливости нечто совершенно особенное. Начиная с обычая, по которому все родственники и знакомые должны вынуть тело из гроба и обмывать его в особой ванне, и кончая самим богослужением, мрачнее и ужаснее которого трудно что-либо вообразить.

Не кончилась эта история, как за ней последовала подобная же вторая. Полковник Городенский, жена и дочь которого жили у нас, поехал на Иматру и там совершенно неожиданно умер, или даже, как говорили некоторые из хорошо знавших его, застрелился. Это была драма еще ужаснее первой. Пока они оставались у нас, мне опять-та-

ки пришлось ездить на их квартиру, разыскивать среди вещей покойного необходимые бумаги и деньги и т. д.

Следствием этого периода времени было то, что я сам заболел каким-то особенным нервным расстройством и почему-то предполагал, что сам должен умереть так же, как и Вольфсон, от разрыва сердца. Психологами давно уже доказано, что мнение и самоубеждение в болезни играют большую, чем все остальное, роль. И я действительно вплоть до лета страдал сердечными припадками и нервностью, выходившей из пределов возможного при жизни кадета. Впрочем со временем это постепенно сгладилось, но оставило во мне убеждение, что при нервной и впечатлительной натуре можно самовнушением развить себе какую угодно болезнь и даже смерть.

Вторая половина учебного года прошла в постоянных занятиях в корпусе. Здесь было временно новое массовое увлечение историей, виновником чего был отчасти новый преподаватель этого предмета, еще молодой, только что кончивший университет К. Вебер, сын довольно известного историка. Он очень интересно читал, расплодил среди нас массу книг, между которыми были и такие, которые начальство наше ни под каким видом не пропустило бы. Одним из первых его слов в классе был совет отнюдь не читать г-на Иловайского*, как издание крайне грустное и не заслуживающее даже нарицание учебника, а рекомендовал приобрести «Историю» Кареева*, причем предложил тем, которые не имеют на это возможности, достать им. При прохождении курса русской истории 18 и 19 веков он нередко отпускал такие штуки в своих лекциях, что военное начальство, зная это, наверное, давно бы его уже удалило восвояси. Из общей истории он особенно craned приналегал на Великую французскую революцию и прочел нам в классе массу относящихся к этому вопросу брошюр и довольно редких статей и заметок. Да, такие учителя в военных учебных заведениях, вероятно, редки. По всей вероятности, он долго там не продержится, и если его не удалят, то он и сам уйдет, придерживаясь выражения «не мечите бисера перед свиньями».

С января до апреля меня не покидало мрачное настроение, бывшее следствием пережитого в декабре. Я пробовал себя развлекать, ездил в оперетку, танцевал на так называ-

емых «утренниках» в корпусе с Л. М., разъезжал по балам, вечерам и театрам, но это мало помогало.

В феврале и марте Л. М. стала выступать солисткой в хоре любителей цыганского пения Лонского. Я ходил на эти концерты в благородку поаплодировать ей, впрочем, она и без этого имела всегда шумный успех. После концерта бывали довольно веселые танцы до 4-х часов ночи и ужин, потом я провожал ее домой, сам ехал к себе, а утром в восьмом часу отправлялся в корпус. Вообще я этот последний год в корпусе имел много льгот относительно отпуска. После того как приезжал В. В. Андреев и слушал мой оркестр, меня стали отпускать по его просьбе на все его и вообще великорусские концерты. Так как я же заведовал административной частью оркестра и делал постоянно закупки новых инструментов и струн, то, когда мне нужно было удрать, я являлся к ротному командиру и доказывал необходимость по делам оркестра уйти в отпуск. Так однажды я даже ушел из-под ареста. Я был за что-то посажен на трое суток, но не прошло еще и суток моего заключения, как я получил от Л. М. письмо, где она писала о каком-то вечере, на котором собиралась быть. Мне страшно захотелось явиться на этот бал. Дело было, казалось бы, не только нелегкое, но и невозможное. Тем не менее я заявил, что мне необходимо видеть полковника Лелонга. Меня выпустили. Тогда я, порвав предварительно струны на 3-х домрах, пошел к Лелонгу и заявил, что ввиду того, что каждый день ожидают в<еликого> к<нязя> Константина, а он постоянно требует наш оркестр, ибо очень его любит, необходимо немедленно пополнить запас струн и купить кастаньеты. Он с этим согласился и, наверное, поверил, не зная, что я сижу под арестом, приказал мне скорее одеваться и чтобы завтра все было в исправности. Таким-то вот образом я, купив струны и кастаньеты, протанцевал 2 часа на балу с Л. М. и вернулся со спокойным сердцем в свой каземат!

В марте В. П. Глушков ставил в Царскосельском клубе 2 или 3 спектакля подряд. Само собой, Л. М. играла, а следовательно, я суфлировал. Это было одно из самых лучших и веселых времен этого года. После спектакля были танцы, потом замечательно веселые ужины, чисто артистические, а затем вся компания ехала в Павловск прямо на розвальнях.

Никогда не забуду, как на одном из этих спектаклей многие из публики в конце стали просить Л. М. спеть цыганские романсы. Единственным аккомпаниатором был я, но нельзя же было в кадетском мундире аккомпанировать на сцене. Но общее желание было настолько велико, что я упросил 4—5 офицеров, здесь бывших, разрешить кадету аккомпанировать, и вот я во всей своей парадной форме вылез с гитарой на сцену и аккомпанировал цыганские романсы! О, если бы это могло только вообразить мое начальство!

Последний из этих спектаклей совпал с днем, предшествующим первому экзамену за окончание корпуса (Закон Божий). В 12 часов кончился спектакль, и я должен был уехать последним поездом в Петербург, ибо утренние поезда не сходятся и я мог опоздать на экзамен. Но мне до безумия не хотелось уезжать как раз перед ужином, который сулил быть этот раз очень веселый, а потом должны были быть танцы... Ну, я и остался. Ужин был сумасшедше-веселый. Л. М. несколько раз заставляли петь, а я аккомпанировал. Потом танцевали до 4-х утра, потом все они уехали в Павловск, а я и Толстиков решили ехать в Питер на почтовых. Так и сделали. Не без труда раздобыли почтовую тройку и в 6 часов, сильно навеселе, поехали. Насколько помнится, мороз и ветер были страшные, особенно в поле, по которому мы мчались как бешеные. По дороге, дабы совершенно не застыть, мы заехали в какой-то очень подозрительный вертеп, в котором грелись сивухой, заедая ее вареньем, при воспоминании о котором у меня делается дрожь по спине. Наконец, заехав домой и переодевшись, я ровно к началу экзамена подкатил к корпусу! Само собой разумеется, что вид у меня был после такой красивой ночи очень сомнительный и наводящий на разные раздумия. Помню, что когда я стоял перед целым синклитом архиереев, священников и генералов, у меня не выходил из головы мотив одного романса, петого Л. М., текстов же Катехизиса я никак не мог поймать мозгами. До экзамена ли тут было, когда в глазах так и вертятся серые глаза, белокурые волосы, романсы, рюмки, бутылки, гитары, тройки, шапка ямщика с павлиньими перьями и т. д.! Тем не менее я вытащил билет, что-то ответил, вместо текста о вере апостола Павла чуть не дернул «Под чарующей лаской твоею», но кое-как отделал-

ся, получил 12 (по Закону Б<ожиему> трудно получить меньше) и, повалившись на постель, проспал до самого вечера. В таком же роде шли почти все остальные экзамены. С экзаменом алгебры совпало открытие Павловского вокзала, и я так совсем и не явился на письменную экзаменационную работу. На другой день я явился; педагоги мои чуть меня живьем не съели, и для начала пока что замуравили меня на 8 суток под арест. Письменную работу по алгебре я решил solo во время устного экзамена, но задачи все решил, и они, к великому недоумению и злобе, принуждены были все-таки поставить мне 12.

Во время этого восьмидневного ареста я и начал со скуки писать эти воспоминания. Впервые мысль описать приключения своей жизни у меня явилась еще давно, приблизительно в 4-м или 5-м классе, но написанное я впоследствии рвал и сжигал, сам не знаю почему. Теперь, перечитывая эти записки, я пришел к тому заключению, что это даром потраченное время, ибо интереса не может представить ни для кого и в общем получилось совсем не в том виде, в каком я хотел. Но пишу теперь исключительно потому, что когда-нибудь впоследствии, быть может, много лет спустя, если эти тетради не затеряются и не пропадут, их будет приятно самому перечитать!

VII

«Шулерство» при сдаче государственных экзаменов. — Прощальный обед. — Летние кутежи. — Любительские спектакли в Павловском городском попечительстве о народной трезвости. — «Балетная карьера». — Мечты о консерватории. — Зачисление в Константиновское артиллерийское училище. — Юнкерский быт. — Новый тип преподавателя-военного. — «Заботы» юнкеров. — Опасные развлечения отпускных дней. — Поездка в Москву. — Лагерная жизнь в Красном Селе. — Летние «амуры». — Рождество 1903 года

Государственные экзамены мало-помалу сходили. Я все их выдерживал, хотя надо отдать справедливость, немало было здесь шулерства. Особенно на последних экзаменах.

Когда все порядочно утомились, началось «упрощенное» подготавливанье курса. Так, напр<имер>, на географии устроили следующее: по общей подписке собрано было 5 рублей, которые вручены были писарю, на обязанности которого лежало заготавливанье билетов. При виде пятерки совесть его пришла в неустойчивое равновесие, и он согласился печать 2-го К<адетского> корпуса на оборотной стороне ставить на одних билетах жирно, а на других слабо, на некоторых прямо и на некоторых криво. В зависимости от этого 48 билетов были разделены на 4 категории. Класс разделился также на 4 части, и каждая учила только $^{1}/_{4}$ курса, что было значительно легче. Так, напр<имер>, из всеобщей географии я учил только Германию, Австрию и Балканские государства и, вышедши отвечать, прехладнокровно взял билет с слабым штемпелем, поставленным неровно, — вышло описание гористых местностей Германии, и я получил 11.

Прочие экзамены проходили на подобных же или иных системах надувательства (их так много, что всех и не опишешь). Словом, 28 мая 1902 года я, наконец, благополучно окончил корпус.

В этот день после последнего экзамена (законоведенье) был прощальный обед, организован г-ном Меньшовым (был такой специалист по части устройства всяких обедов, кутежей и выпивок). Предварительно все снялись общей группой с начальством и преподавателями. Затем педагоги пошли выпивать в учительскую, а мы в дровяной сарай, а потом, подвеселившись, все сели обедать. Конечно, масса тостов, прощаний, наставлений и речей. В финале был крюшон, составленный г-ном Меньшовым в следующей пропорции: 10 бут<ылок> белого вина, 5 бут<ылок> коньяку, 2 литра ликеру, 1 б <утылка> спирту, фрукты и ананасы. От такого «крюшона» все окончательно надрызгались и начали целоваться без разбора чинов и лет. Затем «студенты» переоделись в штатское и все гурьбой вылезли на улицу. Вечером Меньшов устроил ужин уже без педагогов. Это была неописуемая оргия, затянувшаяся до утра.

Затем 4 дня подряд наша компания (я, Бетлинг, Лобановский и Гаккель) шлялась по буффам и другим садам, и

пили, пили и пили. Наконец, 2 мая* я явился в Павловск домой, совершенно разбитый и больной. (У меня, как оказалось впоследствии, врач нашел «острое отравление алкоголем».)

Порешивши в военную службу ни под каким видом не идти, я торжественно снял кадетский мундир и надел штатский костюм, модный галстук и мягкую шляпу. Пьянство продолжалось адское весь май месяц. Образовалась целая компания алкоголиков под председательством В. В. Глушкова и его товарищей — техников путей сообщения. Почти ежедневно брали комплект водок и закусок и отправлялись в какое-нибудь живописное место парка пьянствовать.

В июне месяце по примеру прошлых лет организовали труппу и стали ставить спектакли в Попечительстве о народной трезвости. Режиссером был А. А. Чаргонин. Я опять собрал оркестр (это был лучший за мою балалаечную карьеру оркестр) из 22 человек, среди которых были такие артисты, как Дворянов, Немков, Лютц, А. Глушков, Чижов, Миролюбов и др. Я сам не играл совсем, а только дирижировал. Театральный сезон вышел очень удачный. Спектаклей было около 14-ти, на многих наши концерты в виде дивертисмента.

Я продолжал увлекаться Л. М. и аккомпанировать ей цыганские песенки. В середине лета я даже рискнул сыграть с ней на сцене. Поставили пьеску «Том Сойер» (переделка с Марка Твена). Я играл главную роль, самого Тома, и сыграл весьма скверно, ибо был пьян как спаржа и не мог держаться на ногах, но все же был очень доволен, что приходилось много целоваться с Л. М. Спектакль имел успех, и всех нас вызывали.

Все спектакли я суфлировал и совершенно вошел в эту роль. Проводя таким образом время, я, конечно, не готовился, да и не мог готовиться, к экзамену в Технологический институт, как хотел. Оставалось одно из трех: 1) идти в консерваторию, 2) в военное училище, 3) терять год и держать экзамен в одно из специальных заведений. Меня тянуло больше всего в консерваторию, ибо я чувствовал, что это единственное, чем бы я мог заниматься с желанием и рвением. Мать слышать ничего не хотела, кроме во-

енного училища, а Л. М., которая имела на меня тогда большое влияние, советовала попасть в Технологический или Горный институт. Я долго колебался и не знал, на чем остановиться. До сих пор осталась в памяти у меня одна из поездок на велосипедах вдвоем с Л. М. (мы тогда часто по вечерам вдвоем ездили в Царское и дальше в Александровку и Баболово), сидели в сумерках на скамеечке в парке у Софии и рассказывали друг другу свои мечты и желания. Она говорила, что хотела бы быть хорошей артисткой и жить в собственном маленьком доме в Царском Селе, а я мечтал кончить консерваторию, быть дирижером хорошего оркестра и приезжать к ней в Царское пить чай с вареньем!..

Мысль о консерватории меня так увлекла, что я действительно поехал в Петербург и ходил переговорить с Балакиревым, Римским-Корсаковым и Соловьевым. Римский обещал мне принять меня, немножко экзаменовал и отнесся вообще симпатично. Соловьев же, узнав, что я кончил корпус и имею право без экзамена на поступление в военное училище, в продолжение $1\ ^1/_2$ часов отговаривал меня от консерватории, говоря, что там трудно пробиться, карьера незавидная и т. д. Между тем, пока я раздумывал, что предпринять, август месяц подходил к концу. В один прекрасный день я провожал с музыки Л. М. и она заявила, что долго обдумывала, куда мне деваться, и решила, что все-таки военное училище — лучший исход. Хотя я и понял сразу, что это сказано по просьбе матери, но в действительности так и вышло.

Теперь являлся вопрос: какое училище — пехотное, кавалерийское, инженерное и артиллерийское. Мать хотела непременно, чтобы я пошел в Константиновское на том основании, что там был мой отец. 28 августа я получил письмо из корпуса, что я зачислен в Павловское училище. Это было крайне неприятно. Я немедленно же поехал в Петербург хлопотать о переводе в Константиновское. Оказалось, что ваканции все были заняты. Но на мое счастье товарищ А. А. Лобановский, как мне сказали, записан в Константиновское, но хочет переводиться в Павловское. Весь этот день я скакал как сумасшедший на извозчиках по Петербургу, в 5 часов мне заявили, что если до 6 часов явит-

ся сам Лобановский и подтвердит официально на бумаге, что отрекается от Константиновского училища в мою пользу, то я буду зачислен. Оставался 1 час и я поскакал на Петербургскую сторону. Каков был мой ужас, когда я приехал к Лобановскому, а он спокойно сидел, пил водку и, держа в руках огромную колбасу, ел ее и заявил, что не намерен не только что ехать куда-нибудь, но даже двинуться с места. С большим трудом я вытащил его и усадил на извозчика и привез в училище. Наконец все было устроено и я уехал в Павловск.

30 августа вечером была репетиция — «Без вины виноватые» Островского. Я просуфлировал 2 акта и должен был уезжать. Этот вечер особенно врезался мне в память. Была совершенная тьма, и шел проливной дождь. Л. М. пошла меня провожать. Я шагал с ней под руку под зонтиком по лужам и думал о полной предстоящей перемене жизни. На площадке вагона мы прощались, я чуть ли не при всех поцеловал ее и уехал. В 10 часов вечера я явился в корпус, там переночевал, а на другой день, 31 августа, в 2 часа дня вступил под мрачные своды Константиновского артиллерийского училища.

Первым человеком, встретившим меня в училище, был дежурный офицер, капитан Белогорский. Ввиду того, что я был принят сверх комплекта, я не был назначен ни к кому из офицеров и ни в одну из батарей. Меня спросили, в которую батарею я желаю быть зачисленным. Так как я не знал ни командиров, ни офицеров, ни одной батареи, то и ляпнул, что пришло в голову: 2-ю батарею (об этом пришлось впоследствии страшно раскаиваться). Затем я поднялся наверх, в столовую, и встретил там товарищей по корпусу юнкеров Боярыло и Бондровского. Затем нам, новичкам, предложили отправиться в баню, а потом дали юнкерское платье в виде «спинжака с погонами», нарицаемого вицмундиром, и колоссальной ширины штанов. А затем предоставили свободу в пределах училища до начала лекций, то есть 2 сентября. Эти два дня было порядочно скучно и однообразно. Днем мы шатались по конюшням, кормили хлебом лошадей, знакомились с зданием училища и ели арбузы... Только здесь я понял вполне, как много можно истребить этого яства. Здесь это было в большой моде, а

кто не ел, то быстро привыкал. Так, я, привыкший в жизни есть арбуз в количестве максимум 2—3 ломтя, здесь так вошел во вкус, что стал свободно съедать 1 $^{1}/_{2}$ больших арбуза за один раз. Такой же успех здесь имела и халва. Осмотревшись за эти 2—3 дня, я пришел к заключению, что здесь, за вычетом 2—3 глупых пунктов юнкерской инструкции, в общем режим и порядки приличные и, значит, жить можно. 1 сент<ября> вечером явились все юнкера, и училище было налицо в полном составе. 2-го был молебен, и начались лекции.

День юнкера проходил следующим образом: в 7 часов утра приходил трубач и играл зорю. Это означало, что юнкера должны вставать. На самом же деле все продолжают спокойно спать. Минут через 20 является дежурный офицер. За несколько секунд до входа его в спальню дежурный (дневальный) производит магическое «тсс!» — и это действует значительно лучше, нежели громогласная труба, по которой никто не просыпается. Молодые юнкера весьма быстро привыкают к этому «тсс». Офицер, обойдя один раз по спальням, уходит, и тогда все, или большинство, снова ложатся и спят. В 8 часов труба играет сбор на утренний чай. По этому сигналу все встают и моются с лихорадочной быстротой. Не успевшие же вымыться идут прямо в строй. Является офицер. Затем поется хором «Отче наш» хрипящими, заспанными голосами, поворачиваются и идут в столовую. Строй, как я сразу заметил, здесь совершенно игнорировался. Все ходят не в ногу, разговаривают, заходят, проходя через спальню, к столикам за колбасой и т. д. Офицерам было до этого, по-видимому, наплевать в высшей степени. Питье утреннего чая здесь тоже достойно примечания. Оно производилось с такой быстротой, что когда шедшие в конце строя входили в столовую, то «дополнисты», ходящие в голове строя, уже кончали чай и разбредались по разным сторонам из столовой. Чай всегда бывал горяч, как извержение вулкана, а потому молодые сразу не могли привыкнуть пить его скоро и всегда оставались в столовой позже всех. После чаю большинство опять заваливалось спать до начала лекций. Спанье здесь тоже было поразительно развито, и некоторые из любителей ухитрялись спать целыми днями. В 9 часов опять являлся трубач и

играл сбор в аудитории и классы. Непроспавшаяся публика лениво и медленно двигалась. Ежедневно было 4 часовые лекции, преимущественно два часа подряд один предмет. Предметы на 1-м курсе были следующие:

1) Богословие (1 час в неделю, и все буквально спят).

2) Артиллерия (4 часа – // –), читал полк<овник> Вахарловский.

3) Механика (4 часа – // –), – // – проф<ессор> Барановский.

4) Математика (6 часов – // –), – // –   – // – Гюнтер.

5) Химия (2 часа – // –), – // – кап<итан> Солоника.

6) Тактика (4 часа – // –), – // – полк<овник> Безруков.

7) Франц<узский> и нем<ецкий> языки (по 1 часу) — г.г. Мартен и Федоров.

Система была репетиционная, кроме языков, которые преподавались по урочной системе. Репетиций приходилось в среднем одна в неделю или 3 в 2 недели. Вначале приходилось заниматься здорово. Например, на первую репетицию по математике закатили весь курс «Приложения алгебры и геометрии» и повторение всей тригонометрии. В перерыве после 2-х лекций был завтрак. После 4-й лекции был перерыв $^{1}/_{4}$ часа и потом 2 часа строевых занятий (преимущественно верховая езда, материальная часть, приемы при орудиях, пристрелка и гимнастика). Затем в 4 часа обед, после которого свободное время до 8 часов вечера, когда был вечерний чай. Потом опять свободное время до 9 вечера. В 9 часов перекличка и вечерняя молитва и опять свободное время до 12, когда полагалось ложиться спать. Само собой разумеется, что для тех, кто хотел мало-мальски добросовестно относиться к репетициям, всего свободного времени за день даже не хватало. В дни же, когда репетиция далеко, все буквально спали.

Первый отпуск для нас, молодых, был 13 сентября в день церковного праздника училища. Он пришелся в субботу, и я поехал в Павловск. Помню, как мне нравилось впечатление, производимое на всех знакомых своей новой формой. Я сам был в восторге от своей шашки и шпор, а бескозырку носил так, что она держалась «на честном слове». Вечером я с солидным видом расхаживал по музыке, а потом за ужином с В. В. Глушковым накачался вдребезги. На следующий

день днем поехал в Петербург, разгуливал по Невскому и встретил В. Глушкова, который предложил устроить обед повеселее. Собралась компания, состоящая из нас двоих, Л. М., Зимина, сестры Глушкова, Линквиста и француженки Маргариты Понс. Все отправились в ресторан «Феникс» (около Александр<инского> театра) и там очень весело пообедали. Обед этот кончился около 10 часов вечера. Мне оставалось до училища 2 часа. Эти два часа я катался с Л. М. по Дворцовой набережной и Марсову полю и все время объяснялся ей в любви. Сравнительно быстро я очень привык к училищу и чувствовал там себя очень хорошо.

Режим и все порядки училища имели исходной точкой взгляд на юнкеров как на взрослых людей и предоставляли, сравнительно с корпусом, огромную свободу действий. Контроля как в занятиях, так и во времяпрепровождении юнкеров не было никакого; доверие начальства полное, принуждений никаких. Каждому юнкеру выдали на руки «Инструкцию училища», являющуюся в своем роде сводом внутренних законов жизни юнкера и его отношений к начальству, его прав и обязанностей. Отношения юнкеров между собой были очень просты и вполне разумны. Юнкера всех курсов были равны, и никто никому не являлся <ни> начальником, ни подчиненным. «Традиций» училищных никаких не существовало (почти во всех остальных училищах, в силу существующих «традиций», отношения между юнкерами разных курсов весьма натянутые). Здесь офицеры уже не являются воспитателями, живущими целые дни вместе, а всего лишь командирами в строю. В свободное же время (т. е. большую часть суток) во всем училище находится всего один дежурный офицер, находящийся далеко от юнкерских помещений и выходящий туда лишь в определенные, всегда одни и те же, часы. При училище прекрасная, очень большая библиотека.

Прямым начальством каждого юнкера является взводный офицер и командир батареи. Мой взводный офицер, капитан А. В. Никитин (ныне командир батареи 23-й Арт<иллерийской> бригады), весьма симпатичный человек, ярый артиллерист, изобретатель пристрелочного прибора, был прекрасным, знающим руководителем юнкеров, человек очень добрый и всегда защищал своих юнкеров у

высшего начальства. В дни его дежурства юнкера чувствовали себя значительно свободнее. Это был весьма веселый собеседник, любил рассказывать всевозможные приключения из своей жизни и подчас здорово привирал.

Командир батареи полковник В. Н. Вахарловский, маленький, худой, с громадным носом, флегматичный, спокойный вечно и всегда, производил неприятное впечатление. Несмотря на многие недостатки и весьма несимпатичные стороны, это все же был хороший человек. Он читал у нас на младшем курсе артиллерию и во время репетиций имел привычку пить чай. По знанию своего и главного для нас предмета был очень требователен и 12-ти никому не ставил.

Остальные офицеры и профессора, с которыми постоянно приходилось сталкиваться, в общем были все на один покрой. Вообще здесь мне пришлось впервые столкнуться с новым типом военных. За жизнь в корпусе я привык видеть во всяком военном маршировщика, формалиста и оралу, здесь же преобладающим является тип ученого военного, академика, специалиста. В артиллерии как в специальном роде оружия вообще от офицеров требуется значительно больше как общеобразовательной, так и специальной подготовки. И естественно, что в таком заведении, как артиллерийское училище, весь персонал офицеров и профессоров является академиками и ультраматематиками. Все предметы нашего курса насквозь пропитаны математикой и сложнейшими чертежами. Прежде я никак не думал, что артиллерия — наука, вмещающая тысячи страниц и массы формул и вычислений. Профессора наши и репетиторы сумели заинтересовать юнкеров своими предметами, и первое время на занятия у меня уходили целые дни.

Что касается жизни юнкера вне училища, то она полна глупостей и многих юмористических похождений. Если взять среднего юнкера и откинуть его учебные занятия и училищную жизнь, то главными из остальных его забот будут: 1) лаки (то есть лакиров<анные> сапоги), 2) шпоры и 3) шаровары и рейтузы. Хотя каждому юнкеру все сие иметь и не было крайней необходимостью и не было вменяемо в обязанность, но поступив в училище, юнкер не успокаивался, пока не обзаводился этими вещами. Большин-

ство даже не ходило в отпуск, пока не были готовы заказанные лаки. Но так как большинство юнкеров всех училищ, кроме Николаевского кавалерийского, являются дети небогатых и даже бедных офицеров, то сплошь и рядом не бывает лишних 24-х рублей на пару лакированных сапог. А если принять во внимание, что такие сапоги носятся в среднем не более года, то у большинства нет средств на это; но тут почти все петербургские сапожники, портные и масса всевозможных магазинов отпускают юнкерам в долг товар, в счет денег, получаемых из училища при окончании, выражаясь юнкерским жаргоном, «в счет будущих благ». За последние 5—6 лет это дело получило большое развитие, и каждое училище обзавелось кроме того и такими еще «местечками», где давали «в счет будущих благ» не только товаром, но и чистыми деньгами. Некоторые портные, ввиду выгоды поставки офицерского обмундирования, для привлечения большого числа юнкеров к своей фирме стали давать особые «премии» за обязательство при выпуске у них заказывать. Естественно, что при такой массе соблазнов трудно удержаться, и многие жили далеко не по средствам и забирали направо и налево много свыше количества самих «будущих благ». Конечно, впоследствии выходило немало неприятностей и поздних раскаяний. Я тоже попал впоследствии на эту удочку и долго не мог расплатиться за юнкерскую жизнь.

Первый год в училище переписка с Л. М. была очень частая. В начале же зимы она участвовала на нескольких спектаклях на водочных складах, которые устраивала одна гнусная личность, г-н Аннин. Я сопровождал ее на репетиции и спектакли, которые приходились в отпускные дни. Там Л. М. успела вскружить не одну голову. Туземные любители драматического искусства меня ненавидели и ревновали ее ко мне, по этому поводу вышло немало забавных эпизодов. В их спектаклях я никакого участия не принимал и играл роль лишь постоянного компаньона и оберегателя Л. М.

Обыкновенные отпускные дни, когда не приходилось ехать в Царское Село суфлировать или исполнять обязанности флигель-адъютанта Л. М., я проводил или в шатаниях по портным и сапожникам с заказами всяких нужных и ненужных вещей в счет будущих, или за кружкой пива в пив-

ной на Садовой, или на вечеринках в «треугольном салоне» у А. М. Медникова. Этот Медников, тогда еще реалист 7-го класса, был, да и теперь остался, хорошим моим приятелем. Это купеческое семейство старого закала с образами в углах, где «батька — голова семьи и против него не попрешь». А. М. Медников, сам по себе очень развитой, начитанный, с розовыми идеалами, желающий работать молодой человек, сильно напоминал мне по полной противуположности остальных членов семьи пьесу Найденова «Дети Ванюшина». Только «верх» здесь заменен треугольной комнатой, как бы отдельной от остальной квартиры. Здесь было свое общество, свои интересы и времяпрепровождение. Здесь по вечерам в субботу собирались товарищи Медникова по училищу, сестра его (тоже в духе «Детей Ванюшина»), ее подруга барышня Женя Т. Приходил и я. Обыкновенно, тут или разговаривали, делясь на кружки, или кто-нибудь декламировал или читал, или пели хором цыганские романсы под гитару, на которой я аккомпанировал. Время от времени, впрочем, бывали и крупные попойки.

Симпатия самого Медникова, Женя Т., высокая стройная брюнетка, постоянно веселая, тоже и декламировала, и пела романсы. До сих пор не могу отдать себе отчета, как это произошло, но у меня с ней завязался роман. Это началось с того, что, когда однажды расходились с вечеринки Медникова (провожал ее домой всегда он сам), мы вышли втроем из ворот. Я дошел с ними до угла, и когда с ней прощался, то почувствовал, что она кладет мне в руку записку. Я завернул за угол, подошел к фонарю и прочел: «Приезжайте завтра в зал Павловой в 10 часов вечера». Переходя через мост, я бросил записку и твердо решил не ехать. Но на другой день, не знаю почему, передумал и в 10 часов явился на бал. Конечно, весь вечер я с ней протанцевал, ужинали, и я поехал провожать ее домой. Под влиянием ли выпитого за ужином, или по другой причине, но в один вечер дело дошло до поцелуев и разговоров на «ты». С этого дня началась переписка, свидания и т. д. Все это я делал как-то по инерции. Хотя она мне и нравилась, но с моей стороны не было увлечения, и главными рычагами являлись любопытность положения «третьего» и желание убить время. В доказательство правильности этого взгляда служит то, что че-

рез несколько месяцев, когда это наскучило, я сам сразу все порвал, и воспоминанием осталась только куча писем и сувениров. Все же в период этого романа было много интересных дел, о которых придется еще упомянуть.

В конце декабря Н. Толстиков придумал от нечего делать поездку в Финляндию. Мы вдвоем поехали в Выборг, прожили там день и поехали на Иматру. 26-го мы вернулись и прямо с вокзала явились в зал Благородного собрания на вечер 2-го реального училища. Конечно, там было все общество из «треугольного салона». Мы бешено веселились и за общим ужином уговорились с Толстиковым и Медниковым также от нечего делать съездить еще куда-нибудь. Страсть к путешествиям и осмотрам новых мест у меня была всегда, есть и вечно будет. Это я объясняю тем, что до 20 лет я ничего не видел, кроме Петербурга и его окрестностей радиусом в 25 верст. На другой день мы встретились у Медникова и уговорились ехать в Москву, дня на два для осмотра. 28 декабря с 12-час<овым> поездом мы втроем уехали. Так как никто из нас не сказал ничего своим домашним, то по уезде нашем вышел страшный переполох. Вплоть до Москвы мы выпивали, закусывали и играли в карты. В Москве мы сняли номер в гостинице «Софийское подворье» и два дня шатались по городу и осматривали его. В номере у нас бутылки не переводились. Москва мне ужасно понравилась, и после этого я не переставал думать, как бы еще там побывать. Несмотря на всего лишь двухдневный срок пребывания в большом незнакомом городе, я и там ухитрился завести роман, имени героини которого теперь даже вспомнить не могу. Обратное наше путешествие, вследствие сильной растряски финансов, было уже много скромнее и печальнее. Ехали уже в III классе, а с Николаевского вокзала уже шли с чемоданами pizzicato*.

Вообще вся эта зима первого года юнкерства оставила воспоминание какого-то вихря балов, вечеров, маскарадов, иногда даже в совершенно незнакомых домах (маскарад у Кузнецовых и встреча Нового года). Эту зиму вообще фигурировали в моем обществе главным образом 4 лица: Е. Т., Медников, Толстиков и П. Роше (юнкер, мой товарищ не столько по училищу, сколько по балам и вечерам). Е. Т. до такой степени таскала меня по разным «гатчин-

ским», «литовским», «славянским» и прочим балам, что я превратился в какую-то военно-танцевальную машину.

С марта начались экзамены, приходилось очень много заниматься, ибо в училище при провале на экзамене не оставляют на 2-й год, а прямо просят удалиться в одно из пехотных училищ. Домашние наши переехали на новую квартиру на Боровую улицу. Мне с этим переездом ужасно не повезло. В первый отпуск я заболел, а офицер, посланный из училища, не зная нового адреса, искал меня долго, и меня за несообщение училищу нового адреса лишили на месяц права ночевок в отпуске. Первые три дня Пасхи я провел в Павловске у Глушкова. Конечно, это было сплошное пьянство. К маю экзамены благополучно окончились, и мы выступили в Красное Село в лагерь. В лагере жизнь не особенно приятная. Первые три недели мы мерзли и мокли, как мне еще никогда не приходилось. Режим лагерной жизни следующий: в 7 часов утра — зоря, в 7 $^{1}/_{2}$ — утренний чай под навесом «с протекцией», с 8 $^{1}/_{2}$ до 11 — строевые занятия (верховая езда, вольтижировка, фортификационные работы, приемы при орудиях, материальная часть, ковка лошадей, лабораторные занятия и т. д.). В 11 — обед, потом до 6 часов съемки (в дни, когда нет практических стрельб), а в июне и июле и с 4 <до> 6 строевые занятия. Потом до 9 часов свободное время. В 9 — перекличка и ужин, и до 12 свободное время.

В свободное время почти все поголовно спят. Лагерь так приучает спать, что я положительно опасался одно время, не страдаю ли я болезнью сна «ноной». Лень невероятная. Проклятые съемки останутся долго памятны, особенно на 1 курсе, у нас были инструментальные съемки. Адская жара, хочется спать, а приходится навьючиваться, как осел на мельницу, разной пакостью вроде планшетов, колов, вех, треног, алидады (или, как мы называли, «шарманка») и путешествовать pizzicato верст 10 и обратно. Для съемок разбивали юнкеров на пары для совместной работы. Мне в пару попался В. Ольшевский, примерный мальчик, добросовестно занимающийся даже съемками. По выходе из лагеря мы распределяли груз поровну, но через версту я снимал манатки, садился на кочку и решительно отказывался тащить дальше эту дрянь. Он меня тщетно уговаривал, на-

конец, брал мои манатки, нагружался как осел, и мы шли дальше. Придя на свой участок, он начинал делать промеры и чертить, а я или спал под кустиком, или лежал и читал. В этот период времени мне подкатили скверный сюрприз, а именно начальство перевело меня в III разряд (т. е. положение, при котором юнкер теряет права на отпуск, за исключением праздничных дней, и то в течение времени от 10 утра до 9 вечера). Эта история продолжалась 6 месяцев, почти до Рождества. В силу этого положения остальную часть лагеря я волей-неволей от нечего делать спал целыми днями. Домой в Павловск я являлся сравнительно редко и на несколько часов и удивлял всех своим цветом лица, сильно смахивающим на хорошо вычищенный сапог. От лагеря этого осталось воспоминание постоянной жары, дыма и глухоты от стрельб, запаха лошадиного пота и прочих приятных вещей. Наконец в конце июля нас распустили на месяц домой.

Этот месяц я почти весь прокатался на велосипеде, выпивал с соседом по даче А. С. Недошивиным. Впрочем, тут был еще и кратковременный новый роман. Это очень хорошенькая, скромная барышня, постоянно бывавшая по вечерам на музыке, как коренная жительница Павловска. Эта Е. Н. заинтересовала меня как-то на музыке, и я отправился в компании с С. Денисьевым (юнкер нашего училища, годом старше меня) следом за ней, дабы узнать адрес. Затем я стал каждый день дефилировать на велосипеде мимо дачи и, наконец, на балу в вокзале познакомился. Конечно, как и всегда, потом пошли свидания и гулянья по парку, а по уезде моем в училище завязалась и переписка. Впрочем, это скоро все окончилось. За месяц до этого я окончательно порвал все с Е. Т., и письма из Стрельны перестали приходить. Осень, т<о> е<сть> сентябрь и октябрь, я волей-неволей вел двойную переписку: и с Л. М., и с Е. Н. Первое время я даже по воскресеньям ездил в Павловск на свидания с Е. Н. Мы сидели на «нашей» скамейке и совершали целые экскурсии по парку.

С начала 1903—1904 года я, мало пользуясь отпуском и сидя в училище, много читал и занимался, как будто судьба предвидела, что вторую половину года я, вследствие нового крупного увлечения, брошу все занятия. Таким обра-

зом, баллы первого полугодия меня если не спасли, то все же много помогли. Я порядочно скучал и закатывал Л. М. письма по 20 страниц. С Е. Н. кончилось все очень просто: я не приехал на назначенное свидание, а на письмо не ответил — и все порвалось. В начале декабря я заболел (№ 2) и лег в лазарет, пролежавши там две недели. В это время меня перевели опять во II разряд.

Рождество 1903 года я провел очень весело, и оно долго останется в памяти. Здесь все сконцентрировалось на семействе Глушковых, у которых я прогостил почти все Рождество. В. П. Глушков снял буфет на время гуляний в Михайловском манеже. Я, Василий Глушков и Медников почти что прожили несколько дней в маленьком балаганчике, где хранились вина. Там почти все время проходило в выпивании и закусывании (преимущественно горячими французскими вафлями). Вечером смотрели представление на сцене и с последним поездом ехали в Павловск. В Павловск как-то дня на три приезжала Л. М. Тут пошел дым коромыслом. Устраивали катание с гор на санках (катались преимущественно вниз по сиреневой аллее), причем летали с саней самым живописным образом. Катались в Царское Село на розвальнях. Переодевались, маскировались и ходили ко всем знакомым и даже незнакомым, прямо на огонек. Все это сопровождалось цыганскими романсами, устройством шашлыков и французских вафель наподобие Михайловского манежа. За каждым принятием пищи, да иногда и так просто, выпивали «с гаком» (псковское деревенское выражение, означающее «слишком»). Наконец 5 января компания разъехалась.

Вечером у Медникова устроили прощальную выпивку. 6-го вечером я явился в училище. На следующий день на лекциях было безумно скучно. После такого веселого Рождества опять переход к однообразно скучному режиму училища. В этот день, в среду, 7 января, в 4 часа я пошел по обыкновению в отпуск, и вместе с товарищем — юнкером Н. В. Савицким пошли в нашу пивную и стали мрачно пить пиво. Он начал мне рассказывать о своем увлечении М. Ф. Кшесинской и балетом вообще и предложил пойти вечером в Мариинский театр. Мне делать было нечего, я пошел. Шел балет «Дочь фараона» с М. Ф. Кшесинской в

заглавной роли. Мне страшно понравилось. Вообще, попасть в балет далеко не легко, я же сразу попал лишь благодаря любезности некоего М. Дрейдена, с которым меня познакомил Савицкий. По окончании спектакля они потащили меня на артистический подъезд. Там я сразу познакомился с несколькими «верными балетоманами», присутствовал при усаживании в карету М. Ф. Кшесинской и уже просил через Савицкого у нее билет на воскресенье. В воскресенье я опять явился в театр, смотрел «Пахиту», опять остался в восторге от балета, а по окончании спектакля меня познакомили с М. Ф. Кшесинской.

VIII

Страсть к театру. — Балет и балетоманы

На дежурстве на 4 Северной батарее в Кронштадте. Янв<арь> 1905 года.

1904 год с самого начала наложил новый оттенок на мою жизнь. Центр ее перенесся на галерею Мариинского театра, откуда я стал жадно пожирать глазами пируэты, двойные туры и rond de jamb'ы* наших прелестных танцовщиц. Судьба, по-видимому, решила меня посадить тут крепко, ибо в течение месяца мне пришлось познакомиться уже с некоторыми артистками (это факт не маловажный, ибо одно хождение в театр моей натуре могло бы скоро надоесть) — а это уже делало интересным не только представление, но и разъезд артистов и вечеринки среди товарищей по увлечению. Мои рассуждения и мнения о интересе и успехе спектаклей я записываю в виде рецензий в отдельной тетради, здесь же помещу только некоторые из фактов, бывших следствием нового круга знакомств.

Я попал в число постоянных посетителей балета в расцвете славы М. Ф. Кшесинской и перед самым уходом ее со сцены. На галерее я попал в центр ее сугубых поклонников и, конечно, быстро сам стал таковым. Впервые я познакомился с балетом еще ребенком и довольно хорошо помню Вержинию Цукки, которую видел в «Приказе Короля» и в «Эсмеральде». За первые 5 лет пребывания в Кадетском
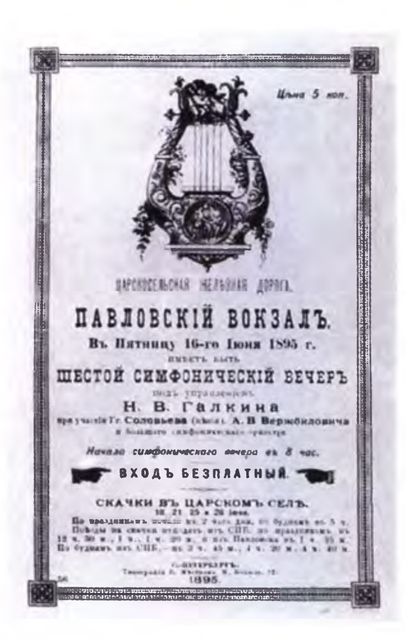


Петербург. Невский проспект.

Лето Денис Лешков проводил в Павловске. Павловский вокзал.



Н. В. Галкин— скрипач, дирижер и педагог.

Программа концерта
в Павловском вокзале
от 16 июня 1895 года.



Концертный зал
Павловского вокзала.



Вокзальный мостик в Павловске. Путь юного Д. Лешкова к музыке, театру и балету.



ЗАЛЪ СПБ. КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА

КОНЦЕРТЪ

кружка любителей игры НА БАЛАЛАЙКАХЪ

В. В. АНДРЕЕВА,

ПРОГРАММА:

Отдѣленіе I

Отдѣленіе II

Начало въ 8 часовъ вечера



Программа концерта
Кружка любителей
игры на балалайке
под управлением
В. В. Андреева.

В. В. Андреев — композитор, виртуоз-балалаечник, организатор первого оркестра русских народных инструментов.

Великорусский оркестр В. В. Андреева в 1902 году.





ИМПЕРАТОРСКIЕ 1901 1901

ВЪ МАРIИНСКОМЪ ТЕАТРѢ

ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ

Г-жи ПЬЕРИНЫ ЛЕНЬЯНИ

КАМАРГО

Афиша прощального бенефиса итальянской артистки балета Пьерины Леньяни в Мариинском театре.

Группа участников красносельских спектаклей в 1910 году.



Сцена и зал Народного дома в Петрограде в 1914 году.
Ф. И. Шаляпин и А. Г. Мосин после исполнения оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского выходят на вызовы публики.



На балконе
Мариинского театра.
*Карикатура начала
XX века.*
Среди этих лиц
возможен и юный
театрал
кадет Д. Лешков.



Артистка балета
Анна Домерщикова.
На фото
дарственная надпись
Д. И. Лешкову:
«Другу Денису
от А. Домерщиковой».



Артисты балета
Мариинского театра
братья
Н. Г. и С. Г. Легаты
в 1899 году.



Эльза Вилль —
артистка балета.
В Мариинском театре
с 1900 по 1928 год.
1900-е годы.

Здание 2-го кадетского корпуса. *1912 год.*

Кадеты с офицерами и преподавателями.



Группа офицеров, выпускников 1-го кадетского корпуса.

Учебные стрельбы.





Прогулка в Летнем саду.

Бал в «русском стиле». *Петербург. 1900-е годы.*

Офицеры на пикнике.





Кронштадт — место службы Д. И. Лешкова с 1904 года.

Морской собор в Кронштадте.



Бастионы Кронштадтской крепости.

Дом городского общественного управления.

Офицерская лагерная жизнь.

Из Кронштадта — в Петербург, в гущу театральной жизни.



корпусе я бывал в балете всего несколько раз, и то по большей части случайно, в V же классе стал ходить довольно часто. Это как раз был последний год ангажемента П. Леньяни, и я в течение зимы был в балете, вероятно, около 20 раз.

С поступлением в Артиллерийское училище я как-то позабыл балет и в течение целого года ни разу не был, зато в январе 1904 года, побывавши несколько спектаклей подряд, сразу втянулся и стал посещать Мариинский театр аккуратнее, чем какой-нибудь чиновник-карьерист свой департамент. Вдумавшись поглубже, казалось бы странным мое увлечение балетом, ибо, по первому взгляду, оно совершенно не гармонирует с Львом Толстым, Кантом, Лапласом и изучением философских и научных теорий, на самом же деле это вполне понятно и естественно. Под словом «балетоман» в обществе принято считать человека в большинстве случаев весьма пожилого и убеленного сединами, или вовсе без них, старого ловеласа и развратника, имеющего на содержании одну, а то и двух танцовщиц и ходящего периодически в первый ряд кресел исключительно с целью прелюбодейного рассматривания полуоголенных хорошеньких молодых женщин и для реставрации столь ценимого в пожилом возрасте нервного подъема. Само собой разумеется, что есть и на самом деле подобные «балетоманы», но тогда совершенно нелогично называть их «балетоманами», а следует назвать «эротоманами» или как-нибудь вроде этого.

Для меня же балет никогда не являлся зрелищем, наводящим на игривые мысли, и я до сих пор, то есть спустя уже несколько лет аккуратного посещения буквально всех балетных спектаклей, в этом отношении нисколько не изменился. Я всегда вижу на сцене только искусство и увлекаюсь только этим искусством, и если для меня не безразлично, танцует ли на сцене хорошенькая танцовщица или форменный урод, то опять-таки только в силу чисто эстетических соображений.

Конечно, балет вообще в смысле строгого искусства приходится рассматривать очень условно. Мне как любителю балета очень много и часто приходилось спорить и даже в споре ссориться на тему «о чистом искусстве в балете» со всевозможного уровня людьми, которые не признают и вы-

смеивают увлечение балетом. Самым убедительным аргументом моей правоты являлись случаи, которых было уже несколько, что мне удавалось этих ненавистников балета затащить два-три раза подряд в Мариинский театр, следствием чего являлся странный и в высшей степени противоречивый факт, а именно: они являлись в 4, 5 и 6-й раз уже по собственному почину, а некоторые из них впоследствии даже абонировались и ходят преблагополучно каждый спектакль и по сию пору! Балет действительно представляет какое-то болото (впрочем, прелестное и чарующее болото), которое затягивает попавшегося до ушей.

В доказательство, что балет есть не дрыганье ногами, а искусство высокой марки, можно было бы написать целую научную многотомную диссертацию (что, впрочем, и делали уже г-да К. А. Скальковский, В. Я. Светлов и многие другие), но, по-моему, это настолько ясно для каждого, кто серьезно над этим подумает, что и нескольких слов вполне достаточно. Во-первых, в самой родине балета — Древней Греции, где все изящные искусства олицетворялись в виде муз, Терпсихора стояла на одной высоте и пользовалась одинаковым почтением наравне с Мельпоменой, Талией и Эвтерпой. Имея свое происхождение от античных религиозных похоронных и свадебных обрядов, а вовсе не от безобразных и разнузданных оргий, устраиваемых римскими императорами и впоследствии итальянским королевским двором (как думают некоторые историки), балет в виде пантомимной драмы еще в древности появился и на театральных сценах. Танцы же, которые, на мой взгляд, в смысле «чистого искусства» являются до некоторой степени второстепенной составной частью балета, были присоединены к пантомимной драме уже значительно позднее, а именно в конце XVI столетия.

Таким образом, центром тяжести балета как некоторой фазы прогрессирующего искусства, по-моему, является пантомимная драма, состоящая из тесно и неразрывно связанных музыки и пластики (мимика есть не что иное, как пластика лица). Неразрывно они должны быть связаны, потому что как музыка, так и мимика, взятые порознь, являются весьма отдаленными от мира реального и, только лишь дополняя друг друга, составляют то прелестное и полное иллюзий искусство, спо-

собное, при высокой гениальности артиста и композитора, передать даже мельчайшие психологические движения души человеческой со всеми ее бурями и страстями. Вот в этом и только в этом одном главный смысл балета как высокого искусства.

При всей красоте и иллюзии, пантомимная драма все-таки имеет настолько однотонную окраску, что заполнить ею одной пятиактный спектакль значило бы утомить зрителя, и вот тут-то и является важным подспорьем хореографическая сторона балета. В течение последних 30—40 лет смесь пантомимы с танцами породила так называемое pas d'action*, так сказать гвоздь и основание всякого балета, являющегося цепью нескольких танцев (исключительно строго классических), вполне соответствующих фабуле балета, и в течение которых все время идет пантомима. Все же остальные pas, вариации и характерные танцы по большей части приблизительно подгоняются к фабуле и, в сущности, являются лишь средством разнообразить спектакль и делают нечто вроде рекреации в мимической драме.

Конечно, есть разные балеты; встречаются и такие, которые почти не имеют мимодраматической мысли и состоят почти целиком из различных танцев, даже не имеющих между собой связи — словом, так же как и среди драматических пьес, попадаются такие, которые, почти не имея фабулы, состоят из сплошной болтовни и глупых и пустых монологов и диалогов и точно так же могущих представить интерес разве только в постановочном смысле.

К балетам первого разряда можно отнести: «Жизель», «Эсмеральду», «Корсара», «Лебединое озеро», «Дочь фараона», «Раймонду», «Тщетную предосторожность», «Баядерку» и др. А ко второму разряду: «Пробуждение Флоры», «Очарование», «Дон Кихот», «Камарго» и отчасти даже «Коппелию», «Фею кукол» и «Гарлемский тюльпан».

В весьма многих балетах последний акт не имеет уже ничего общего с фабулой и является как бы хореографическим дивертисментом («Спящая красавица», «Щелкунчик», «Коппелия», «Конек-Горбунок», «Пахита», «Дочь фараона» и др.). Исключением являются «Лебединое озеро», «Корсар», «Эсмеральда», «Баядерка» и др., в которых с самого начала и до самого конца красной нитью идет пантомимная драма.

Итак, балет есть изящное искусство весьма высокой

марки, имеет среди своих представителей такие гениальные артистические силы, как Цукки, Гримальди, Кшесинская, Леньяни, Павлова 2-я, Гердт, с одной стороны, и Чайковский, Глазунов, Делиб, Сен-Санс и Мариус Петипа, с другой, и, следовательно, увлечение балетом с эстетической точки зрения для интеллигентного, развитого и вообще интересующегося искусствами человека вполне естественно и нормально. Даже скажу больше. Видеть «Эсмеральду» с Цукки или Кшесинской, «Лебединое озеро» с Леньяни и «Жизель» с Павловой и после этого утверждать, что балет есть дрыганье ногами и пустая забава богачей, значит быть полнейшим профаном в искусстве и эстетике и упрямым ослом и идиотом в жизни.

Само собой разумеется, что в посещении буквально каждого балетного спектакля в течение многих лет играют большую роль привычка и даже до некоторой степени личные привязанности и знакомства.

Насколько понятна возможность смотреть или прослушать 25 раз «Спящую красавицу», или «Лебединое озеро», или «Раймонду», настолько странным казалось бы посещение в 40-й раз «Конька-Горбунка» или «Дон Кихота», но это объясняется просто силой привычки к театру, который для нас, балетоманов, в особенности в антрактах, является клубом, в котором встречаешься, по крайней мере, с сотней знакомых и друзей, узнаешь всевозможные новости, выпиваешь с кем-нибудь из друзей за приятной беседой бутылочку доброго вина. Весьма часто здесь встречаются и по всевозможным делам, которые тут и решаются. А есть, конечно, и такие, которые идут смотреть в 40-й раз «Дон Кихота» не столько ради самого «Дон Кихота», сколько в силу притяжения некоторого магнита, тем более если в этом балете магнит не занят и сидит где-нибудь в креслах или ложе!.. По словам покойного К. А. Скальковского, это есть одно из верных, но иногда опасных средств сделаться самым отчаянным и записным балетоманом.

Походивши целый год в балет, я неизбежно перезнакомился почти со всеми артистками и артистами балетной труппы, и в силу этого вся моя жизнь так тесно связалась с балетом, что буквально все события жизни и весь ход ее как бы отпечатываются на фоне Мариинского театра.

IX

*Мариинский театр. — Знакомство с М. Ф. Кшесинской. — Среди клакеров**

Форт «Константин»
Кроншт<адтской> крепости.
Март 1905 года.

Балет, как и следовало ожидать, нисколько не повлиял на ход моих занятий в училище, а если и повлиял, то исключительно в хорошую сторону, то есть я из боязни не попасть в отпуск и пропустить таким образом спектакль стал лучше заниматься и строже придерживаться инструкций училища. Администрация училища разрешала мне частным образом являться после спектаклей не в 12 часов ночи, а в 12 $^{1}/_{2}$ и даже в 1 час, что позволяло мне по окончании спектакля проторчать определенное время на артистическом подъезде и иногда даже проводить до дому кого-либо из артисток или поужинать в компании товарищей по театру.

В начале февраля 1904 года в театре разыгралась довольно скверная история, в которую я был замешан как пострадавший и благодаря которой чуть было не вылетел из училища. Началось с того, что юнкера в училище, зная меня и Н. В. Савицкого за постоянных посетителей балета и имеющих там обширные знакомства, часто просили доставать им билеты, что мы охотно и делали. Так как в этот период, то есть перед уходом со сцены М. Ф. Кшесинской, театр был каждый спектакль переполнен и достать в кассе билеты было совершенно невозможным, то мы, обыкновенно, пользовались любезностью М. Ф., которая благодаря своему влиянию записывала нам вперед в кассе билеты, которые нам и оставляли или же посылали прямо на квартиру Кшесинской, а мы перед спектаклем заезжали к ней за ними.

Так продолжалось вплоть до прощального бенефиса, причем количество ходивших благодаря нам юнкеров все время увеличивалось в геометрической прогрессии и доходило иногда до 30—40 человек. Все мы, по большей части, располагались в ложах 3-го яруса с правой стороны. Так как

главный контингент юнкеров представляют провинциалы, приехавшие впервые в столицу и никогда в жизни не видевшие балета, а многие даже и театра вообще, то естественно, что и самостоятельной оценки артистов у них не было, и я и Савицкий являлись в этом непоколебимыми авторитетами, так что если нас что-либо на сцене не удовлетворяло, то и вся эта орава мрачно молчала, стоило же нам начать аплодировать и вызывать, как вся эта компания тоже шумела и орала. Впечатление получалось настолько внушительное, что почти весь театр обращал внимание на этот ряд лож; в партере вставали с кресел и смотрели в бинокли на нас, а один раз после pas de deux в «Эсмеральде» великий князь Владимир Александрович послал к нам плац-адъютанта, дабы умерить наши восторги или предложить переместиться из театра в училище. Само собой разумеется, что М. Ф. Кшесинская совершенно случайно приобрела чуть ли не половину третьего яруса верных и даже чересчур усердных друзей. На этой почве некто Виноградов, как впоследствии оказалось, темная личность, аферист и клакёр, получавший даже определенную плату за «фабрикацию успеха», сыграл с нами подлую историю. Я и Савицкий познакомились с ним совершенно случайно на подъезде дома Кшесинской, где мы ожидали ее возвращения из театра, дабы просить записать на следующий спектакль ложи. Когда она передавала нам билеты, то оказалось, что ей удалось достать только две ложи, ибо остальные были записаны уже раньше на кого-то. Тут вмешался в разговор Виноградов и выразил желание уступить нам имеющуюся у него ложу в бенуаре, чему мы, натурально, обрадовались и тут же у него купили ее. После этого он в каждом балете в антрактах подходил к нам, мило заговаривал и даже заходил иногда в ложу. Перед прощальным бенефисом М. Ф. Виноградов был так любезен, что даже лично привез нам билеты в училище, за которые ему тут же было уплачено.

6 февраля М. Ф. уезжала в Москву на один день для участия там в бенефисе Е. В. Гельцер. У меня и Савицкого явилась мысль поехать за ней, к нам присоединились еще несколько поклонников Кшесинской из молодежи, и мы, не долго думая, взяли и поехали. На Николаевском вокзале

мы встретили Виноградова, который, как оказалось, также ехал в Москву и любезно пригласил нас в свое купе. Мы вернулись в кассу, попросили отметить на своих билетах места этого купе и поехали. В Москве мы узнали, что одна танцовщица, заклятый враг Кшесинской, приготовила целую компанию, долженствовавшую устроить скандал Кшесинской и провалить ее pas de deux. Разумеется, что мы, то есть компания, приехавшая из Петербурга, приняли все возможные и даже невозможные меры к предотвращению этого, что после немалых усилий и стараний нам блистательно удалось. По приезде в СПБ меня глубоко поразило и смутило то, что Кшесинская, которая видела нас в Москве и даже, вероятно, знала о вышеупомянутой истории, не только не благодарила нас, как она постоянно очень мило и искренно это делала, но даже как-то холодно к нам отнеслась; ясно была умышленная перемена отношений с ее стороны.

Спустя две недели в театре знакомые балетоманы начали как-то странно относиться и загадочно улыбаться, видя нас гуляющими по фойе с Виноградовым. Я, конечно, ничего не подозревал и не обращал особого внимания, но когда начали ходить какие-то сплетни, то я начал кое-что понимать. Полученное на мое имя в училище анонимное письмо от «доброжелателя, лично попавшегося годом раньше на подобную же удочку», окончательно открыло мне глаза. Положение было действительно таково, что нужно было немедленно же вылезти из этой грязной и отвратительной истории и реабилитировать свое доброе имя в глазах М. Ф. Кшесинской, театральных знакомых и юнкеров. Картинка была такова, что мы оказались единомышленниками и ближайшими помощниками Виноградова и за водворение «партии» в 3-м ярусе получали бесплатно от Кшесинской, через Виноградова, ложи, все наши корзины и подношения Кшесинской были ею же втрое оплачены, вся поездка в Москву состоялась также на ее счет и т. п. В первый момент я пришел в такое отчаяние от подобной гадости, что хотел избить до полусмерти Виноградова, а Кшесинской написал ужаснейшее и страшно оскорбительное письмо, которое, к великому счастью, совершенно случайно не успел отправить. На следующий день в благотво-

рительном спектакле в Мариинском театре мы все вчетвером (ездившие в Москву) потребовали у Виноградова объяснения, в течение которого на виду у всей публики на лестнице при входе в фойе 4-го яруса залепили ему 3 увесистых пощечины.

Через 2 дня мы втроем явились к Кшесинской, и я рассказал ей все происшедшее. У меня надолго в памяти останется этот разговор. Я в течение битых 2-х часов говорил не хуже Карабчевского* и удивляюсь теперь, как у нее хватило терпения выслушать от меня все эти резкости и почти что оскорбления, которые я в порыве своего справедливого негодования наговорил ей. Кончилось тем, что мы довели ее до слез, и хотя она сама была окручена и хитро и умело обманута Виноградовым, но все же искренно извинялась, жала нам руки и в конце концов заявила, что отныне мы ее лучшие друзья, которых она даже не в силах отблагодарить.

Так счастливо закончился инцидент, который чуть не испортил всю мою репутацию.

X

Прощальный бенефис Кшесинской. — Триумфальное шествие примадонны. — Поездка в Москву на бенефис Е. В. Гельцер

СПБ. Коменд<антское> упр<авление>.
23 апреля 1907 года.

Жизнь в училище в этот период времени тоже вся как бы насыщается балетом и его отголосками. Появилась книга «Наш балет» Плещеева, которую я читал постоянно по ночам на дежурствах и чуть что не выучил наизусть.

С 1 февраля началась горячка в приготовлениях к прощальному бенефису М. Кшесинской. Мне пришла в голову мысль отблагодарить ее за милое к нам отношение и любезность в смысле доставания для нас мест и лож на спектакли. Я пустил подписной лист между юнкерами, конечно, исключительно знавшими ее и пользовавшимися этой ее любезностью. На собранные деньги решено

было поднести хорошую корзину цветов с лентой. 3 февраля корзина, весьма внушительных размеров, была приобретена. На красной ленте, обвивающей ее, была надпись золотом «От юнкеров-константиновцев» и пришпилен погон училища, на задней стороне которого на серебряной доске были выгравированы наших 9 фамилий. 4-го, в день бенефиса, мы все были как-то нервно настроены и по окончании лекций, быстро одевшись, отправились с Савицким в нашу пивную, где, заперщись в отдельном кабинете, стали придумывать, что бы выкинуть на бенефисе особенного, такого, чтобы доказало ей наше искреннее увлечение ее талантом и вместе с тем возвысило бы все приготовленные в ее честь овации. Наконец решили, собравши подходящую компанию, по окончании спектакля отпрячь у кареты лошадей и довезти ее до дому на руках, как это было уже сделано во времена оны с Вержинией Цукки и потом в бенефис В. Ф. Комиссаржевской.

Спектакль был действительно выдающийся. При появлении бенефициантки встречные аплодисменты не смолкали в течение 4-х минут, и Дриго тщетно поднимал палочку и опять опускал ее, покоряясь расшумевшейся публике. Каждая вариация была сплошным триумфом, и, наконец, во втором антракте подняли занавес для публичного чествования. Сцена представлялась настоящим садом живых цветов, ибо стояло, как говорили, 86 корзин живых и искусственных цветов, поднесенных от публики. Посредине стоял длинный стол, уставленный сплошь футлярами и ящиками с драгоценными подарками, и, наконец, более 300 человек чествующих с депутатами от всех трупп Петербурга, Москвы и даже западноевропейс<ких> городов. Чествование продолжалось более часа. Читали бесконечное количество адресов, стихотворений, посвящений и речей, подносили венки, целовались, плакали и смеялись. Говорили М. Петипа, Гердт, Дриго, Морозов, Тартаков, Потоцкая, Балетта, Гельцер, Южин, Карпов, Кугель, Плещеев, Абаза, Кауфман и пр. и пр. Наконец взвился занавес и в оркестре полилась «Лебединая песня» Чайковского. Среди публики были такие, которые буквально плакали, и среди действия не раз раздавались восклицания в разных местах

театра: «Не уходите!» Это было поистине торжественное и трогательное зрелище.

Что делалось потом на артистическом подъезде — не поддается никакому описанию. Это была настоящая «ходынка». Мы при появлении Кшесинской моментально окружили ее железным, в восемь звеньев, кольцом, и только таким образом ее не задавили поклонники. Несколько раз в течение адски медленного движения от выхода из уборных до кареты мы чуть что не шашками защищали ее от этой толпы в 300—400 человек, и когда усадили в карету и приставили почетный караул к каждой дверце, то, несмотря на сопротивление конной полиции, в один момент согнали с козел кучера и выпрягли лошадей. Затем началось триумфальное шествие вокруг театра и по Офицерской. Я все время шел около открытого окна с правой стороны, помогая двигать карету за ручку, и разговаривал с Кшесинской, которая была страшно взволнована и тронута такой неслыханной овацией. В середине Офицерской, пройдя тюремный замок, главная масса везущих, состоявшая из людей всех возрастов и положений (тут были и убеленные сединами старцы, почтенные чиновники, пажи, юнкера, офицеры и учащаяся молодежь), решила, что балерина может простудиться, долго находясь в карете с открытыми окнами, и потому перешли для скорости с шага на рысь и наконец на галоп. Трудно описать эту картину. Это было какое-то небывалое публичное движение, ибо карета, везомая людьми, составляла центр громадной толпы экипажей, карет и извозчиков и целых потоков пешеходов, двигавшихся по обоим тротуарам и сзади. Вся эта толпа махала шапками, платками, зонтиками и приветствовала бенефициантку.

Когда мы привезли карету к дому, то на Английском проспекте уже ожидала порядочная толпа народу и стоял наряд полиции. Расчистивши проход от дверцы кареты до входа в подъезд, отворили карету и провели Кшесинскую, которая вся в слезах жала руки направо и налево и благодарила за такую честь, которой, как она говорила, она не стоила. Долго еще потом толпа не расходилась, аплодируя и вызывая ее у окна, в котором она показывалась несколько раз и раскланивалась.

Мы явились в училище во втором часу ночи и почти до утра не раздевались, обмениваясь впечатлениями, сидя на сундуках и распивая чай. На следующий день я проспал на всех лекциях и даже ухитрился на строевых занятиях задремать в строю, и чуть не слетел с лошади.

5-го числа лекций не было, ибо начинались экзамены и шла подготовка. Юнкера разбредались по всему училищу и лениво читали лекции и записки по артиллерии, ибо подготовки было 10 дней, из коих 5 дней отпускных ввиду Масленицы. Я и Савицкий забрались в самый конец столовой и, усевшись между двух орудий за маленьким столом, больше курили и разговаривали, чем читали записки по артиллерии. Около 11 часов принесли почту, я пошел вниз за письмами и газетами и, придя обратно, стал просматривать «Петербургскую газету»* и случайно увидел заметку, сообщавшую, что сегодня М. Ф. Кшесинская уезжает на один день в Москву для участия в бенефисе Е. В. Гельцер, и показал Савицкому.

Он прочел, и мы молча, посмотревши друг на друга, угадали нашу общую мысль, и что оригинальнее всего, даже не сказав ее вслух, стали просто обдумывать, как достать нужную для этого сумму денег, ибо за последние дни сильно поиздержались и сидели без финансов. После часового обсуждения мы кое-что придумали и, одевшись быстро по окончании строевых занятий, сели на извозчика и поехали к Соловьеву, Крауту, Державину и другим нашим поставщикам. К 6-ти часам сумма была в кармане, и мы, пообедавши у меня дома, поехали на Николаевский вокзал и взяли билеты 2-го класса до Москвы. На дебаркадере* мы встретили Виноградова, Выходцева, Балабанова и других поклонников М. Ф., явившихся ее провожать. Выходцев сообщил мне, что он, Виноградов и Балабанов едут, и просил не говорить об этом остальным. В 8 часов, с последним звонком, мы пятеро вскочили в вагон и, послав остальным воздушные поцелуи, уехали. М. Ф. должна была отправиться идущим следом за нами курьерским поездом.

Это была одна из веселых поездок в моей жизни. В Любани мы «сильно поужинали» и <долго> играли в вагоне, в отдельном купе в стуколку. На больших станциях в Бологом и Твери посылали телеграммы в следом идущий поезд

с пожеланием всяких благ и благополучного пути. Мы прибыли в Москву на 45 минут раньше курьерского поезда и успели съездить в цветочный магазин и приобрели большой букет сирени и гвоздики, и встретили М. Ф. на вокзале. Затем, позавтракав в кафе Филиппова на Тверской, сняли номер в гостинице «Кремль» на Александровском проезде, осмотрели достопримечательности Кремля, были в Третьяковской картинной галерее, пообедали у себя в номере, опять сильно выпив за успех предстоящей гастроли, и вечером, заплативши барышнику 36 рублей за довольно скверную ложу 2-го яруса, явились в театр, заказавши предварительно корзину живых цветов и вложивши в нее конверт со своими визитными карточками. В партере было человек 20—30 петербургских балетоманов, приехавших вместе с М. Ф. По окончании ее вставного pas de deux мы не сочли нужным досматривать «Баядерку» с Е. В. Гельцер, демонстративно вышли посреди действия из ложи, хлопнув дверью, и вышли на артистический подъезд. Встретив на подъезде М. Ф., устроили ей маленькую дружескую овацию и отправились с ней одновременно прямо на вокзал, причем я с Выходцевым ехали на рысаке, которого так гнали, что лошадь чуть не пала, и все же перегнали гельцеровских рысаков с каретой, в которой ехала М. Ф., и подъехали первыми к вокзалу. Я помню, как меня тронуло и привело в восторг то, что, несмотря на массу цветочных подношений, она, уезжая, все время держала и время от времени нюхала пачку гвоздик и сирени из нашего утреннего букета. Савицкий, у которого был срочный билет, уехал с ней в одном поезде, а мы четверо остались <в> Москве до другого дня с целью посмотреть идущего на другой день утром «Конька-Горбунка» с ныне покойной Л. А. Рославлевой. Печальные и грустные, молчаливо вернулись мы в свой номер и за ужином напились. На другой день, купивши 4 кресла, отправились на «Конька». Мне понравилась грандиозная московская постановка этого балета, который у нас идет гораздо проще и в сильно сокращенном виде.

В одном из антрактов Е. Балабанов познакомил меня с Л. Г. Кякшт, хорошенькой молодой московской танцовщицей.

XI

В гостях у Л. А. Рославлевой. — Экзамены в училище. — Балетные «партии». — А. П. Павлова. — Страстная неделя и Пасха в Императорском театральном училище. — Закрытие сезона. Памятный ужин. — Лагерные будни и праздники. — Спектакли Красносельского театра. — Разборка вакансий. — Производство в офицеры

Гауптвахта СПБ. Коменд<антского> управл<ения>. 23 апр<еля> 1907 года.

По окончании спектакля мы отправились на артистический подъезд по петербургской привычке, но, судя по пустоте, решили, что здесь ожидание артистов мало развито среди поклонников. Рославлева — чудная балерина с редкой техникой, грацией и мимикой, у нее в Москве много поклонников, а на подъезде, кроме нас четырех, почти никого не было. Когда она вышла, то, вероятно, была удивлена присутствием этой незнакомой молодежи и на наши аплодисменты и поощрения словами «браво, браво!» очень мило благодарила и с каждым из нас поздоровалась. Когда я, набравшись храбрости, попросил у нее на память карточку, объяснив, что я петербуржец, приехавший всего на 2 дня, и большой любитель балета, а с сегодняшнего дня и ее поклонник, она с удовольствием обещала дать карточку и просила приехать к ней к 6 часам.

В 6 часов я и Выходцев, с трудом путаясь по улицам малознакомого города (попав на извозчика-новичка), наконец, разыскали Садовую-Куртинную*, но найти дом Чижикова было задачей еще более сложной, и когда, наконец, остановив какого-то студента, с отчаяньем умоляли его указать, где дом Чижикова, он спросил, кого нам нужно, и, узнав, что артистку Рославлеву, заявил, что это «против Полтавских бань». Оказалось, что эти магические слова значили гораздо больше, чем полный адрес, заученный нами наизусть из книги «Вся Москва»*.

«Дом Чижикова, что против Полтавских бань», нам уже любой встречный с удовольствием указывал. Оказалось, что мы уже много раз в поисках мимо него проезжали, но не заходили, ибо почему-то вообразили, что это какое-то казенное здание.

На звонок нам отперла дверь сама Любовь Андреевна и, как настоящая радушная московская хозяйка, повела нас в столовую и начала пичкать всякими яствами, пока не заставила перепробовать все и съесть за чаем по громадной порции чудного варенья ее собственного изделия. За столом сидела Л. Кякшт и как попугай неумолчно болтала о каких-то своих приключениях и об своем ухаживателе и поклоннике молодом И. В. Морозове, известном московском богаче, и показывала золотые часики, усыпанные камнями, которые он ей подарил в бенефис кордебалета.

Рославлева была прямо поражена нашим знанием техники хореографического искусства и, проэкзаменовав нас и убедившись, что мы прекрасно знали, что такое двойной тур, fouettès, rond de jambes, jetté en tournant, plié pirouette, en dehors et en dedans*, от души хохотала и жаловалась, что в Москве нет таких преданных искусству любителей и ценителей и что нет должного подъема нервов на сцене, когда танцуешь перед индифферентно относящейся публикой, которая не может ценить этих fouettès, когда не понимает той массы труда, который требуется от танцовщицы для выполнения этой адской трудности легко и грациозно.

Так как карточек у нее дома не было, то она предложила ехать вместе в театр и там взять. Мы оделись и вышли. Каждому хотелось ехать с ней, и потому, не долго думая, вынули платок и стали тянуть на узелки. Борис вытащил пустой конец и поехал solo, а я с Рославлевой. Приехав в театр, она взяла по нашему выбору карточки и подписала их. Мы распрощались до скорого свидания в Петербурге, куда она собиралась на гастроли, и поехали на вокзал.

На обратном пути в Петербург я до Твери, стоя на открытой площадке, объяснялся с Виноградовым и, разругавшись с ним, пошел в купе и, улегшись наверху, спал до самого Петербурга.

В воскресенье 8-го, прямо с поезда, мы только успели позавтракать в кофейной и поехали прямо в Мариинский театр, где в закрытие спектаклей перед Великим постом шла утром «Коппелия» с Трефиловой. После «Коппелии» я дома ел блины и за обедом рассказывал домашним и гостям о своей поездке в Москву, а вечером явился в училище и, ни слова не говоря с Савицким (мы с ним повздорили в

Москве по поводу его раннего отъезда), улегся спать, а на другой день начался Великий пост, ужасная скука, однообразная подготовка к экзаменам, а в голове сумбур воспоминаний о прошедшей столь удачно Масленице. Это было самое скучное время в училище, да и вообще в Петербурге... Ни театров, ни вечеров, отвратительная погода и бесконечно тянущиеся экзамены, которых было 18 штук, причем каждый требовал подготовки и прочтения от 400—1000 страниц отвратительно налитографированных, подчас неразборчивых записок. Я довольно долго не мог войти в эту колею. Как раз в воскресенье на 2-й неделе произошло полное разъяснение этой скверной истории с Виноградовым, и только после этого памятного разговора с Кшесинской, описанного раньше, я вполне успокоился и стал с яростью проглатывать ни к черту непригодные в жизни теории тактики и фортификационных укреплений.

Экзамены постепенно сходили, я на всех и особенно на математических получил очень высокие баллы. Отпускные дни я почти целиком проводил разъезжая от одной балетной артистки к другой, начал собирать коллекцию карт-посталей* с фотографиями танцовщиц и карточки с их собственноручными подписями. За это время я познакомился и стал бывать у В. А. Трефиловой, Т. П. Карсавиной, Л. А. Борхард и других. А. П. Павлову я тогда очень недолюбливал и, сам не знаю почему, принимал даже деятельное участие в разных семейно-театральных демонстрациях, направленных против нее. Она, как мне казалось, держала себя чересчур высокомерно и недоступно, и вся наша «партия молодых кшесинистов» ее не любила. Я помню, как, сидя раз на галерее на своем 46-м номере в самом центре целой массы поклонников Кшесинской, мы все после прекрасной вариации Павловой сидели, скрестив руки на груди и презрительно оборачиваясь на кучку аплодировавших ей студентов. Когда, несмотря на наше молчание, она по требованью части публики повторила свою вариацию, то мы выходили курить, а потом, чтобы только ей насолить, адски аплодировали и вызывали очень скверно исполнившую после нее свою вариацию г-жу Рыхлякову 1-ю, дабы сравнять ее в смысле успеха с Павловой и этим ее, последнюю, унизить. Вообще теперешний Мариинский театр и

прежний сильно разнятся. Партийность, оставшаяся теперь в самом слабом виде, в эти описываемые годы была еще очень сильна. Опытный глаз постоянного посетителя балета знал и видел прямо, где кто сидит. В особенности галерея делилась на строго определенные части, в которых восседали «кшесинисты», «преображенцы», «павловцы», «трефилисты» (или, как их в шутку называли, «трефилитики»), и все эти партии в большинстве случаев враждовали между собой, и каждая старалась напакостить враждебной ей. Какая была ядовитая и злостная радость «трефилитиков», когда А. П. Павлова в 3-м акте «Фараона» поскользнулась и упала... Партия, к которой принадлежал в 1904 году я, была самая обширная и имела своих единомышленников как в партере, так и во всех ярусах. Мы никогда не боялись за успех своей вдохновительницы и постоянно презрительно высмеивали другие малочисленные партии.

Эта партийность была все же выражением любви и преданности массы молодежи, искренно увлекавшейся искусством и не входившей ни в какие расчеты и никогда не переходившей на личности и жизнь артистов вне сцены, и, конечно, не имела ничего общего с клаками, которые в эти годы были сильно развиты и функционировали обыкновенно на верхах театра.

Кшесинская в силу своего высокого положения на сцене и, главным образом, еще более высокого вне сцены, в жизни, несмотря на массу таких преданных, как мы, поклонников, имела еще больше врагов, которые, совершенно не будучи заинтересованы в ее искусстве и не вдаваясь вовсе в критику его, чисто на личной почве устраивали ей крупные скандалы. Некоторые из них были еще в корне задавлены нашей партией, некоторые же достигали желаемого результата, и, вероятно, в силу этого у нее был подобный Виноградов, который, как я впоследствии узнал, получал от нее жалованье и подарки, за что должен был препятствовать этим неуместным личным счетам, сводимым в театре во время спектакля. Он получал обыкновенно 20—30 мест на верхах галереи от Кшесинской и раздавал их каким-то подозрительным личностям, которые по его сигналу своими аплодисментами и ревом заглушали гиканье и свист врагов М. Ф. В подобных историях нередко выходили са-

мые юмористические «кипроко». Однажды во время вариации Кшесинской в 4-й картине «Конька», при полнейшей тишине в театре, сверху раздалось громкое восклицание: «Браво, Ауэр!» — произнесенное во всеуслышанье заклятыми врагами Кшесинской братьями А. и Н. С-ми. В ответ на это Виноградов громко же возразил: «С-ов — болван!» — на что последовало еще громче: «Виноградов — осел!» — после чего оба при помощи помощника пристава были удалены.

На 5-й неделе поста Л. А. Рославлева исполнила свое обещание и приехала для участия в двух благотворительных спектаклях. Я и Выходцев сделали ей визит в Европейской гостинице, где муж ее, известный драматический артист П. М. Садовский, напоил нас какими-то особенными, привезенными из Москвы ликерами.

На 4-й неделе поста мне пришлось познакомиться с А. П. Павловой, переменить совершенно о ней мнение, стать самым преданным ее поклонником и другом. Это вышло очень просто. Как-то после завтрака, на котором я и Савицкий отдали особенную честь Бахусу, мы решили, дабы для полноты коллекции иметь и портрет с подписью Павловой, купить карточки и прямо отправиться к ней. Это было довольно нахально входить в дом к женщине, не будучи знакомым и чувствуя, что она знает нас как поклонников и приверженцев Кшесинской и ее врагов, но тем не менее мы купили по две довольно скверных и неудачных ее фотографии и приехали на Свечной пер., д. № 1. Швейцар доложил, что «барыня дома-с», и мы с порядочным апломбом вошли в гостиную, где уже сидел, впрочем скоро ушедший, какой-то господин. Мы представились и заявили, что просим к этим карточкам приложить руку. Она, против ожидания, приняла нас более чем любезно, была все время очень мила и вдобавок к этим карточкам прибавила еще по одной роскошной и очень удачной фотографии. После получасового разговора я уже с удивлением смотрел и слушал эту любезную, умную и прямо-таки прелестную женщину. Мы просидели у нее битых два часа, и я ушел совершенно очарованный. Только здесь в ее домашней обстановке я понял, что сильно ошибался в определении ее личности, и только тут рассмотрел, как интересна, до редкости интересна и оригинальна эта женщина. Потом в весеннем сезо-

не я внимательно рассмотрел ее на сцене и точно также понял, что ужасно заблуждался, а когда 2 мая она первый раз выступила в роли Пахиты, я понял, что это выдающийся молодой талант нашей сцены, стал постепенно делаться все больше и больше ее поклонником и чаще и чаще бывал у нее. Кончил тем, что окончательно влюбился в нее и как в женщину, и как в артистку. В следующем сезоне, смотря в «Жизели» ее мимику и игру сквозь свой 12-дюймовый бинокль «Браунинг», я прямо поражался, как мог я раньше не заметить этой звезды 1-й величины, и сожалел своему отчасти навеянному партийностью галерки ослеплению. Этот мой переход (собственно, перехода не было, но, признавая Кшесинскую, я стал признавать и Павлову) все же поразил и удивил господ «павловистов», долго смотревших на это с недоверием и опаскою. Вскоре я с Павловой стали большими друзьями, она часто мне писала, и отношения эти продолжаются и посейчас.

На 6-й неделе состоялся ежегодный экзаменационный спектакль балетного отделения Театрального училища. Я и Савицкий (мы помирились с ним, будучи оба в восторженном состоянии после объяснения с Кшесинской) с большим трудом попали на этот спектакль. Из всех экзаменовавшихся мне ни одна танцовщица не понравилась. Среди публики же в одном из антрактов я и Савицкий все время ходили за тремя барышнями, интересными и весьма скромно одетыми. Одна из них в черном платье, в трауре, особенно почему-то мне нравилась, и я дал себе зарок во что бы то ни стало познакомиться с ней. Это оказалась танцовщица Е. Д. Полякова и носила траур по смерти отца. Та же, которая привлекла Савицкого, была Л. Ц. Пуни. Эти две и В. М. Петипа 3-я все время вместе ходили и сидели в одной ложе и оказались тремя закадычными подругами, которые держались в труппе несколько отдельно от всех. Следующий антракт я, выходя из ложи М. Кшесинской, встретился глазами с Поляковой, и почему-то долго друг на друга смотрели в упор. Тут она мне еще больше понравилась, и я решил познакомиться и ухаживать.

На 7-й неделе мы стали ходить в церковь Театрального училища, но, конечно, отнюдь не с целью говеть и молиться, а главным образом потому, что большинство танцов-

щиц там говели. В страстной четверг я после немалых трудов протискался поближе к «триумвирату» (Полякова, Петипа и Пуни) и в течение всей службы не сводил с них глаз. Она, по-видимому, усердно и благочестиво молилась, следя по книжке за читаемыми 12-ю Евангелиями, и когда несколько раз невольно, как будто под действием магнетизма, отрывалась от книги и встречалась со мной глазами, то, как мне показалось, смущалась и опускала глаза. Эта игра продолжалась довольно долго, и когда наконец в перерыве она потушила свечу и стала в упор смотреть на меня, то тут уже я не выдержал и опустил глаза. Сколько мне помнится, из всей этой службы я не расслышал буквально ни единого слова священника, и весь мундир мой оказался потом закапанным воском. Савицкому повезло меньше, и Пуни, один раз презрительно на него посмотревши, демонстративно повернулась.

Впоследствии мне удалось с Поляковой познакомиться, я стал довольно часто бывать у нее, ухаживал, подносил цветы, конфеты и пр., но потом появился бывший в провинции ее жених, и все понемножку расстроилось.

Страстная неделя в Театральном училище поистине весьма веселое время, особенно заутреня под Пасху. Здесь, обыкновенно, набирается огромное количество публики, так что заполняются вся церковь, коридор, обе танцевальные залы и даже часть дортуаров мужского балетного отделения. Самая веселая компания собирается в танцевальных залах, куда не достигает ни один звук богослужения. Здесь все время идет болтовня, которая прерывается около 12 часов крестным ходом, за которым все со свечами весело идут по училищу, и, наконец, кто-нибудь восклицает, что «уже воскрес», и тогда начинается христосованье, обыкновенно сопровождающееся тем, что артистки отказываются целоваться и удирают, но их ловят где-нибудь в углу коридора и танцевальной залы и все-таки целуют, да не 3, а 10 раз.

В первый день Пасхи я с утра, облекшись в новый мундир, разъезжал с визитами ко всем танцовщицам и опять убеждал христосоваться, что иногда и удавалось.

М. Ф. Кшесинская всем нам подарила по очень хорошей большого формата своей фотографии с трогательными надписями. После Пасхи в воскресенье открылись снова

спектакли, на которые мы кинулись как голодные волки, впрочем их было всего 6. Почти после каждого из этих весенних спектаклей 1904 года составлялась довольно большая компания преимущественно из нашей молодежи и балетных артистов и устраивались весьма веселые ужины. Это были довольно безобразные оргии, на которых во славу дорогого хореографического искусства выпивалось колоссальное количество водок и вин. Но особенно памятен был последний и самый большой ужин, состоявшийся после закрытия сезона. Это было задумано еще за неделю, и собирались по подписке деньги на осуществление. Так как моя родня уехала уже на дачу в Павловск, то я предложил для этого свою обширную, но пустую квартиру. Впрочем, были взяты напрокат столы, стулья, ковры, посуда, пианино, мебель и все необходимое. Предстояло «дело под Полтавой», ибо одних водок и крепких вин было куплено на 72 рубля. Квартира наша была на самой площади Мариинского театра, что было особенно удобно. Я как хозяин и инициатор этого дела был с головы до ног в заботах последние 3 дня. Наконец по окончании последнего в сезоне балета («Конек» с Седовой) вся ватага участвующих и многие приглашенные артисты, переправившись через площадь, наполнили квартиру, и началось такое пьянство, какого я не запомню подобного в жизни. По строго заведенному правилу все ужины наши начинались с тостов, следующих в определенном порядке, как-то: за Мариуса Петипа (по одной рюмке), за М. Ф. Кшесинскую (по три рюмки), за Преображескую, Петипа I, Павлову, Трефилову, всех солисток и т. д. В этом ужине мы дошли до последних корифеек (а если принять во внимание, что всех артисток балетной труппы около 70, то дойти до корифеек — это действительно нечто колоссальное). Таким образом в течение первого получаса ужина было уничтожено с лица земли 3 четвертных водки. (Нас было 23 человека.) Что было дальше, трудно описать, более веселого ужина я не помню во всю жизнь, и хотя публика и была вся без исключения здорово пьяна, но все же после пломбира и шампанского танцевали, пели и выкидывали такие номера, что остальная часть зрителей валялась на полу от хохота. Я, Мурашко и Балабанов в течение всего вечера играли попеременно на рояле

исключительно балетную музыку. Около 3-х часов утра трое из компании, найдя, что необходимо разбавить мужской элемент присутствующих дамским обществом, отправились в буфф и привезли оттуда трех очень интересных и прелестно одетых кокоток. Это еще более придало веселья вечеринке, и она продолжалась благополучно до 8 $^{1}/_{2}$ часов утра, когда, ко всеобщему удовольствию, во время жженки нашли одного танцовщика заснувшим, сидя на блюде с пломбиром, а Савицкий с другим пошли гулять по площади в костюмах Адама. В 10-м часу утра многие остались у меня «почивать», и все мы располагались по квартире самым живописным образом, причем я проснулся около 2-х часов под пианино, а под головой у меня вместо подушки был большой кусок телятины; но когда я пошел будить остальных, то хохотал как сумасшедший, ибо те остальные 6—8 человек спали в еще более карикатурных положениях. Я почему-то сел за письменный стол и написал А. Павловой самого отчаянно любовного характера письмо и отправил немедленно с посыльным. Около 3-х часов мы вымылись, вычистились, выпили по рюмке водки для опохме́ля, и я отправился на Варшавский вокзал провожать Павлову, ибо она уезжала за границу. Она, когда я поздоровался, долго смотрела на меня как на рехнувшегося и потом стала упрашивать, чтобы я не делал глупостей, не пьянствовал, писал бы ей, и обещала часто мне писать, поцеловала меня в лоб и уехала.

На другой день 8 мая я с училищем выступил в лагерь в Красное Село. Я ехал всю эту бесконечно скучную дорогу, смотрел на пыль, поднимаемую лошадьми и орудиями, и думал о А. Павловой, причем почти всегда мысли мои о ней в голове как-то связывались с представлением газели (порода горных коз), может быть, потому что она такая же изящная, тоненькая и стройная, как газель. Жизель-газель... вертелось у меня в голове... В середине мая погода испортилась, начались дожди, не прекращавшиеся по неделям. Занятий в поле не было, и я ухитрялся спать по 18—20 часов в сутки, остальное время скучал. Потом потянулись скучные лагерные дни, которые прерывались только по субботам и воскресеньям, <в> которые я не ездил в Павловск, а проводил в Петербурге на квартире Е. Преснякова,

где мы порядочно пьянствовали, и я помогал ему на уроках танцев, которые он давал у себя, и заменял ему тапера. Б. Выходцев, живший в это время у себя в имении «Дымок» по Ник<олаевской> ж<елезной> д<ороге>, сидя там, соскучился и, прочтя в газете о предстоящем благотворительном спектакле в Консерватории с участием почти всей балетной труппы, не выдержал и удрал, но так как на обратный путь у него денег не хватило, то он застрял в Петербурге на этой же квартире Преснякова, так что там образовалась веселая компания (я, Савицкий, Выходцев, Говорский, Пресняков, Ерогин, Медалинский). Мы переодевались в штатские костюмы и по вечерам путешествовали в сад Неметти, где довольно весело проводили вечера. Однажды я и Е. Пресняков спьяна сочинили испанский танец и, оркестровав его, передали Вольф-Израэлю. Бекефи поставил к нему танцы, и эту белиберду исполнили 8 августа в Красносельском театре*. В один прекрасный день до Выходцева дошли слухи, что его разыскивают родные и его местонахождение узнали, он, не желая ехать в скучнейшее имение, решил скрыться у нас в лагере. Мы отправились в Красное и в течение 3-х дней держали его, скрывая, у себя. На ночь я запирал его на ключ в музыкалке, где стояло пианино, и ключ от этого помещения постоянно находился у меня. Мы устроили ему постель на ящиках с топографическими инструментами, приносили обеды и ужины, а когда сами уезжали на стрельбу или конные занятия, он отправлялся кататься на лодке или гулять в Дудергоф. На 4-й день узнали и это его убежище, отец его прислал на мое имя телеграмму, и ему пришлось ехать.

В июле начались спектакли Красносельского театра, и это сразу много украсило скучную лагерную жизнь. В это время у нас шли съемки, и мы с Савицким под видом съемок удирали на репетиции в Красносельский театр. Этот период времени был особенно хороший и оставил во мне самые лучшие воспоминания. Иногда, бывая в карауле, ночью, под проливным дождем, весело прохаживался, не обращая внимания на дождь, насвистывая какое-нибудь pas de deux и ожидая завтрашнего дня как праздника, потому что предстоит спектакль в Красносельском театре.

После каждого спектакля я провожал Е. Полякову, ино-

гда удавалось успеть вместе попить чай в ожидании поезда. Красносельские спектакли всегда отличались редкой оживленностью. Здесь не было суровых петербургских правил, не допускающих посторонних на сцену, и мы постоянно там толкались, болтая за кулисами с танцовщицами, а в мужских уборных организовывали легкие выпивки и закуски.

В это же время у себя в лагере юнкера учинили сцену и ставили небольшие пьески и водевили без помощи женского персонала. Наш режиссер Родионов, по наружности настоящий гном, талантливейший комик, сумел это дело поставить на хорошую ногу, и публика была очень довольна действительно удачными нашими спектаклями. Само собой, я был суфлером, Савицкий играл вторые роли.

От этих спектаклей и особенно от репетиций у меня осталось воспоминание как о самых симпатичных и веселых днях за все пребывание в училище. В отпускные дни мы всей своей компанией отправлялись в Петербург, Родионов ехал в театральную библиотеку Волкова-Семенова за пьесами и ролями, а я, Савицкий и Ерогин (тоже сильно увлекшийся балетом и влюбленный в Е. Вилль) в Театральное училище, где почти ежедневно бывали репетиции к красносельским спектаклям. Несколько раз нам удавалось забираться на хоры большой танцевальной залы, где мы пили холодный клюквенный квас и созерцали репетиции. Но однажды по жалобе танцовщицы А. Н. Рош заведующая летними постановками К. М. Куличевская выставила нас с хоров, после чего мы довольствовались внизу окончанием репетиций, после которых, обыкновенно, каждый провожал домой какую-нибудь танцовщицу (я — постоянно Полякову, причем несколько раз мы катались предварительно по островам). Мне очень нравилась Е. Полякова — это была не выдающаяся красотой, но замечательно симпатичная, очень неглупая и в высшей степени скромная и порядочная барышня.

В конце июля, будучи как-то в Павловске (там в этот день в бенефис Кабеллы был балетный дивертисмент и бал в вокзале), я ходил с молодым, только что кончившим училище танцовщиком Полянским по зале и рассматривал танцующих. В середине бала я, до тех пор не танцевавший,

не выдержал и прошел один тур вальса с О. И. Преображенской, потом танцевал с Вилль и наконец мазурку с Ю. Н. Седовой, после которой публика нам аплодировала, а мы раскланивались. В это время подошел Полянский и предложил мне познакомиться и танцевать с некоей Л. Клечковской, воспитанницей Театрального училища. Она весь вечер танцевала преимущественно с Полянским, и я еще обратил внимание на особенность ее танцев, характерную особенность балетной артистки, и подумал, что это, вероятно, воспитанница Театр<ального> училища, что и подтвердилось. Меня познакомили, я протанцевал два танца, говорили, как и всегда во время танцев, о всякой чепухе. Она спросила, почему я танцевал только с Преображенской, Вилль и Седовой (меня удивила такая наблюдательность), я сказал, что большой любитель балета и всех их хорошо знаю. Она познакомила меня со своими родителями и сестрой, те просили бывать у них, и таким образом завязалось это знакомство, впоследствии долго продолжавшееся и имеющее весьма много интересных инцидентов. С последним поездом я проводил балетных артистов и, возвратившись в зал за шинелью, встретил всю семью Клечковских, направляющихся домой. Я невольно пошел вместе, и хотя жил у самого вокзала, но прошел с ними до их дачи, причем я и Л. шли вдвоем впереди, а остальные сзади. Не знаю, как это случилось, но мы далеко ушли вперед, родители отстали, и мы шли под руку. Как-то странно и небывало, хотя я ровно ничего к ней не чувствовал, отношения наши за эти полчаса страшно быстро приняли полулюбовный оттенок. Около их дачи я поцеловал ее руку, а она каким-то особенным голосом сказала: «Приходите завтра». Потом я и Полянский молча дошли, он до своей, а я до своей дачи. Придя домой и ложась спать, я долго раздумывал о том, может ли Л. мне нравиться или нет? Она на меня ни малейшего впечатления не произвела. Назвать ее красивой или даже хорошенькой отнюдь нельзя. Она хорошо сложена, довольно грациозна, но ужасно неестественна и кривляется, и самое аляповатое кокетство, очевидно, есть составная часть ее натуры и характера. Я решил, что не стоит обращать внимания, и заснул. На другой день Полянский зашел ко мне, мы прокатились по парку на вело-

сипедах, зашли в садовый кегельбан, выпили по рюмке водки, и он потащил меня к Клечковским. Я сначала упирался и не хотел идти, но потом пошел. Мы просидели часа 1 $^{1}/_{2}$, болтая о всякой ерунде, причем я сам себя поймал на желании выказать себя за человека столь увлеченного балетом, что на амурную часть жизни некогда обращать внимания. Вечером я уехал в лагерь. В лагере в это время было общее напряженное состояние в ожидании производства в офицеры.

Ходили самые разнообразные слухи и утки о том, что производство будет раньше обыкновенного срока, то есть 10 авг<уста>, и когда, бывало, на стрельбе к командиру батареи подъезжал с приказаниями адъютант великого князя, то у всех замирали сердца, что вот-вот сейчас объявят, что завтра производство. В последних числах июля назначена была разборка ваканций. Это интересная и характерная сторона юнкерской жизни. Тут лучшие друзья делаются иногда врагами, и борьба за ваканции бывает отчаянная. Я с самого начала решил брать самое ближайшее к Петербургу, без различия, будет ли это конная, пешая или крепостная артиллерия. По баллам я стоял очень высоко, почти в начале списка, и потому был более других спокоен. 28 июля была разборка, и я, к большому удивлению начальства, взял *Кронштадтскую крепостную артиллерию.*

Дело в том, что крепость почему-то считается худшей ваканцией и последние по списку даже обязаны выходить в крепости. Я же имел право брать полевую артиллерию, но так как все имеющиеся полевые более удалены от Петербурга, то и взял Кронштадт. (Это была единственная ваканция.) В этот же день я и Савицкий поехали в Стрельну к Кшесинской и там завтракали и просидели часа 3, очень мило провели время. О. Е. снимала нас из фотографического аппарата во всевозможных видах, и в заключение мы с Кшесинской снялись, почти обнявшись, на одном кресле, я сидел на ручке кресла, обняв ее за талию, а Савицкий расположился около ног на ковре. Потом приехал на велосипеде в<еликий> к<нязь> Андрей Владимирович*, и мы продолжали так же непринужденно болтать. 8 августа был последний спектакль в Красносельском театре, где я спас утопающую в ужасных лужах (был проливной дождь)

Ю. Н. Седову и доставил ее на вокзал. На другой день 9 августа мы с утра в конном строю выехали на большое Красносельское поле, где был парад по случаю окончания лагерного сбора. Огромные массы войск проходили церемониальным маршем мимо царской палатки. Проехали и мы. Все это тянулось нестерпимо долго. Наконец около 2-х часов дня всех кончающих юнкеров собрали, нас спешили и в пешем строю составили в большое каре. В середину въехал Император на вороном жеребце и, медленно подвигаясь по сторонам каре, говорил по несколько слов с каждым юнкером, спрашивал, куда выходит, есть ли родители и где живут. Дошла очередь и до меня, я ответил, что выхожу в Кронштадт, что мать живет в Петербурге. «Ну, значит, не далеко от дому», — сказал Император. Потом, сказав еще несколько слов выходящим в действующую армию на Дальний Восток, он выехал на середину каре и громко сказал: «Поздравляю Вас, господа, с первым офицерским чином!» Раздалось ура, оркестр сыграл гимн, и мы все, кто бегом, кто верхом, побросавши орудия и зарядные ящики, бросились в лагерь и со свернутым в трубку и подложенным под погон приказом о производстве, быстро переодевшись, в самых оригинальных полуюнкерских, полуофицерских формах бросились на поезд — и в Петербург. На вокзале в ожидании поезда громадная толпа стояла у буфета и первый раз в жизни официально и не тайком поглощала водку и вина. Около 6 часов вечера я переоделся у своего портного Соловьева в новенькую офицерскую форму и, усевшись на лихача, поехал вместе с Ерогиным обедать в ресторан Палкина. Полякова взяла с меня слово, что я не буду напиваться в первый день производства, что я и исполнил, выпив за обедом всего 3 рюмки водки. Вечером я поехал в Павловск на музыку, встретил там Полякову, болтал с ней весь вечер и, проводив на поезд, пошел домой и первый раз в жизни лег спать счастливый и полный самых радужных мыслей о своей предстоящей жизни.

Часть вторая

Годы службы в Кронштадте и театральные увлечения



I

Тоска по училищу. — Балы и скандалы. — Л. А. Клечковская. — Кронштадтская крепостная артиллерия. — Быт и нравы офицеров

Гауптвахта СПБ. Коменд<антского> упр<авления>. Апрель 1907 года.

Несмотря на всю радость столь долго ожидаемого производства в офицеры, удобства и свободу в новом положении, я довольно скоро почувствовал тоску по училищу, с которым удивительно сжился. Довольно долго я наблюдал в себе странную борьбу двух чувств: с одной стороны, мне казалось странным и даже глупым тосковать по училищу, ибо цель училища была сделаться офицером, а с другой стороны, я часто, в особенности уже в бытность на службе, вспоминал с тоской об училище как о лучших и счастливейших днях своей жизни. Теперь, уже прослуживши 3 года и бросив военную службу, я еще больше убедился, что жизнь в училище была действительно самое счастливое и беззаботное время моей жизни, и насколько я не сумел сжиться с корпусом и легко и с радостью расстался с ним, настолько близко сошелся с училищем, и хотя и расстался легко, но потом почувствовал всю силу связи и не раз совершенно серьезно желал и мечтал, чтобы производство и служба оказались сном, кошмаром, от которого я проснулся бы на своей юнкерской кровати в лагере в бараке «с протекцией».

Удивительнее всего то, что я, при своем характере, ужился в течение 2-х лет с училищем, юнкерами, начальством и даже с самим духом училища. Впрочем, дух Константиновского артиллерийского училища был очень симпатичный и сильно разнился от духа всех остальных военных и специальных училищ России. Даже вскоре после произ-

водства, веселясь в течение 28-дневного отпуска и кутя напропалую, я скучал иногда по лагерю, некоторым товарищам, нашему театру, импровизированным литературно-музыкальным вечерам, устраиваемым в маленькой и тесной музыкалке, скучал даже по своей любимой строевой лошади и т. д. Последняя зима в бытность мою юнкером была особенно весела и беззаботна; денег я имел всегда столько, сколько уже никогда почти не имел, будучи офицером (хотя это была большая и глупая ошибка, за которую именно и пришлось расплачиваться, будучи офицером).

На второй день своего производства я, уже не будучи связан словом, сильно кутнул, кажется, даже слишком сильно. Днем в Павловск приехал Савицкий (он был еще юнкером, ибо остался на 3-й курс; впоследствии я сильно пожалел, что не сделал того же, имея на это возможность), и мы втроем с С. Денисьевым обедали в Павловском вокзале. Денисьев, как пробывший уже год офицером, счел почему-то нужным держать со мной покровительственный и поучающий тон (что, впрочем, после 6-й или 7-й рюмки водки прекратилось). Денег у меня было всего около 50 рублей, которые я взял при отъезде из училища у своего офицера авансом впредь до выдачи, так что особенно раздаваться было нельзя, но все же после изрядной зарядки мы отправились вечером в Царское Село в Общественное собрание, где в этот вечер был спектакль и бал. По приезде туда я узнал, что в спектакле участвовала Л. М. <Куроптева>, которая теперь всюду бывала со своим женихом г-ном Н. Маклаковым (по сцене Ржевский, оказавшийся впоследствии редким негодяем, альфонсом и т. п., и не думал даже на ней жениться). Просидевши весь спектакль в буфете и выпив вчетвером огромное количество водки и коньяку (четвертым был кавалерийский тверской юнкер Н. Абрамов), мы победоносно, но не совсем твердо вошли в зал, где бал уже был в разгаре. Ржевский дирижировал танцами, а Л. М. сидела со своей тетушкой, обмахиваясь веером. Я подошел к ней и пригласил на вальс, но не успели мы пройти и одного круга, как Р. заорал: «Valse est fini»*, — тогда, ничего еще не чуя, я взял с нее слово, что она придет за

---

* Вальс закончен *(фр.)*.

наш стол со мной ужинать и выпить шампанского по случаю моего производства. Когда мы сидели за столом и ужинали, то Р. буквально каждую минуту присылал официанта к Л. М. с просьбой выйти к нему и наконец появился к нам. Бедная Л. М. не знала, что ей делать, я же заявил, что если она встанет из-за стола, то обидит и меня, и моих товарищей. Р. же сходил с ума от ревности и рвал волосы на голове. После шампанского я предложил ей пройтись мазуркой, что мы и сделали, но только что начавшаяся мазурка была г-ном дирижером прекращена, тогда я, близко к нему подойдя, весьма громко заявил: «Если это еще раз повторится, то Вы будете сегодня биты», — и, повернувшись, направился в буфет. Через минуту туда прибежала взволнованная Л. М. и стала меня упрашивать, чтобы я не делал скандала и извинился, я наотрез отказался и просил ее передать ему, чтобы он близко подле меня не вертелся, ибо я не ручаюсь за себя и обращу его напарфюмеренную рожу в яичницу натюрель. Что было дальше, я не помню, но знаю только, что, когда, выходя в зал, я расслышал какое-то замечание, пущенное Р. по моему адресу, я бросился на него, он же, лавируя между столами, удрал за сцену, тетушка грохнулась в истерику, Л. М., бледная как полотно, куда-то исчезла, а когда через $^1/_4$ часа Денисьеву не захотели чего-то отпустить в буфете, то в один момент мы подняли такой скандал, что публика почти вся покинула собрание. В зале произошло настоящее сражение между нами четверыми и целой толпой старшин, буфетчиков и полиции: венские стулья летали через всю залу, Денисьев, обладающий громадной силищей, ухитрился свернуть в комок бронзовый канделябр и запустил им в околоточного. После получасовой битвы полиция отступила, предоставив нам поле сражения, и забаррикадировалась в прихожей. Когда буквально весь инвентарь буфета и двух гостиных был обращен нами в кучу какой-то рухляди, мы двинулись соединенными силами на главный неприятельский операционный пункт. Дверь оказалась запертой снаружи, и за ней слышно было совещание, происходившее между полицейскими и старшинами. Блюстители порядка не на шутку перетрусили и не знали, что предпринять. Несмотря на то, что дверь была громадная, дубовая, Денисьев ухитрился выворотить ее со

всеми опорами так, что даже со стен осыпалась штукатурка. Видя, что и последнее убежище взято приступом и скандал принимал уже грандиозные размеры, полиция пошла на уступки, а именно: стала умолять нас только уехать с обещанием со своей стороны не составлять даже протокола. Мы согласились и демонстративно вышли из собрания. Дальнейшее уже спуталось в голове, ибо я в 9-м часу утра проснулся в почтовой тройке, где-то около Чугунных ворот в Павловске.

11 августа, одевши парадный мундир, я поехал в Петербург представляться начальнику училища и получать деньги. Около часа дня я получил 3 чека и поехал в Казначейство и Сберегальную кассу, потом в Государственный банк. Получив в трех местах 2118 рублей, я нанял хорошего лихача и, купив букет живых цветов, поехал к Е. Д. Поляковой.

Прокатившись по набережной и Морской, мы поехали вечером вместе в Павловск, где смотрели в театре оперетту «Нищий студент», потом поужинали в Павловском вокзале, где она наотрез отказалась от шампанского и мы пробавлялись Château Iguem'ом. Приехав последним поездом обратно в Петербург, мы опять прокатились по набережной и островам. Она все время рассказывала о своем детстве и братьях, а я вдыхал полной грудью свежий ночной воздух и целовал ее руки... Отвезя ее домой, я отправился ночевать к Родионову, который остановился в меблированных комнатах где-то на Серпуховской. На другой день мы вечером смотрели балетный дивертисмент в «Новой опере» (театр «Олимпия» на Бассейной)* и потом ужинали с балетными артистами в «Малом Ярославце», а на следующий день, обратив Савицкого в акцизного чиновника и захватив с собой, отправились в сад Неметти, где учинили здоровый дебош, ибо в протоколе значилось, что «16 молодых офицеров, согнав с эстрады румын и разобравши инструменты, стали производить ими громкие и несообразные звуки и шум, а потом во время объяснения в конторе сломали телефон, налив в него пива и чернил, а слуховую трубку, оторвавши, увезли с собой». Оттуда вереницей в 8 извозчиков мы направились в какой-то притон на Песках, где пьянствовали до утра.

Через несколько дней вернулась из-за границы А. П. Павлова, и я один день очень мило провел в ее обще-

стве, катались на автомобиле, обедали у Кюба* и вечером были в Павловске на музыке.

Между тем с Л. Клечковской я опять как-то встретился в вокзале, она взяла с меня слово, что я буду на дневном балу в Розовом павильоне. После этого бала я у них обедал, а вечером мы были вместе на музыке, причем все три отделения проходили вдвоем по саду, разговаривая о моих и ее взглядах на жизнь и сцену, главным образом на ее балетное искусство, о котором она была самого скверного мнения. Из этого всего разговора я заключил, что она очень и очень неглупа и, видимо, много читала, чего я раньше не замечал. Конечно, теперь, когда вся эта глупая и недостойная комедия кончилась, я рассуждаю более здраво, и главное, смотря на эти отношения со стороны и анализируя их, замечаю много такого, чего раньше не видел, да и не мог видеть. Теперь для меня вполне ясна ее тогдашняя тонкая политика вскружить мне голову не красотой и изяществом (ибо их у нее не было), а чисто моральной, умственной стороной наших устанавливающихся отношений. Она верно и ловко поймала мое больное место и сумела поставить себя в положение человека, постепенно убеждающегося в правдивости и силе моего образа мыслей в большинстве вопросов, интересовавших тогда меня. Но это было так тонко и умело сделано, что я в течение 2-х лет не мог и думать о том, что это была лишь уловка. Впрочем, она так увлеклась впоследствии своей ролью, что действительно стала мыслить почти моей головой и поглощала массу книг по моим указаниям и толкованиям. Вообще в чем ей нельзя отказать, так это в удивительном уме, тактичности, умении себя держать и жизненном опыте, непостижимом для 17-летней девушки. Одним словом, как это случилось, я не знаю и не могу отдать себе отчета ни теперь ни тогда, но мы быстро сошлись характерами, стали друзьями, а впоследствии и еще более... 17 августа после бала, севши вдвоем в извозчика под проливным дождем, мы, вместо того чтобы ехать домой, катались 2 часа по парку, и кончилось тем, что я безо всяких объяснений обнял ее и стал целовать, чему она сначала сопротивлялась (ах, как я теперь жалею, что была непроницаемая тьма и у меня не было электрического фонаря!..), но потом мы уже говорили на «ты» и расстались.

как мне казалось, любящими сердцами и вместе с тем друзьями.

Остальная часть моего 28-дневного отпуска вся идет сплошь в продолжении этих новых отношений. Мы несколько раз ездили вдвоем на автомобиле далеко от Павловска и, летя с чертовской быстротой по тенистым аллеям баболовского парка, адски целовались и говорили на нам одним понятном каком-то любовном языке. Я уже целыми днями не расставался с ней и, поздно засиживаясь после чая, когда ее родители уже спали, уходил через садовую калитку, которую она за мной запирала, и долго болтая еще, разделенные этой калиткой. Потом, обыкновенно, я отправлялся в вокзальный буфет, где постоянно можно было найти Денисьева и К°, сидящих где-нибудь в саду на веранде или в кабинете, и, как какой-нибудь счастливый принц Зигфрид, попивал вино и посматривал на созвездие Большой Медведицы, которую еще с детства считал чем-то с собой связанной, и когда ее не мог видеть на небе, то считал дурным признаком. 31 августа я помогал Клечковским укладываться при переездке в Петербург и, пообедав вместе с ними в вокзале, поехал в Петербург, где впервые вступил в столь памятную впоследствии квартиру в 4-м ярусе Александринского театра*. Вечером мы катались с ней по островам и набережной, уговорились писать друг другу и самым трогательным образом расстались. На другое утро она уехала в Театральное училище, а я открывал балет в Мариинском театре.

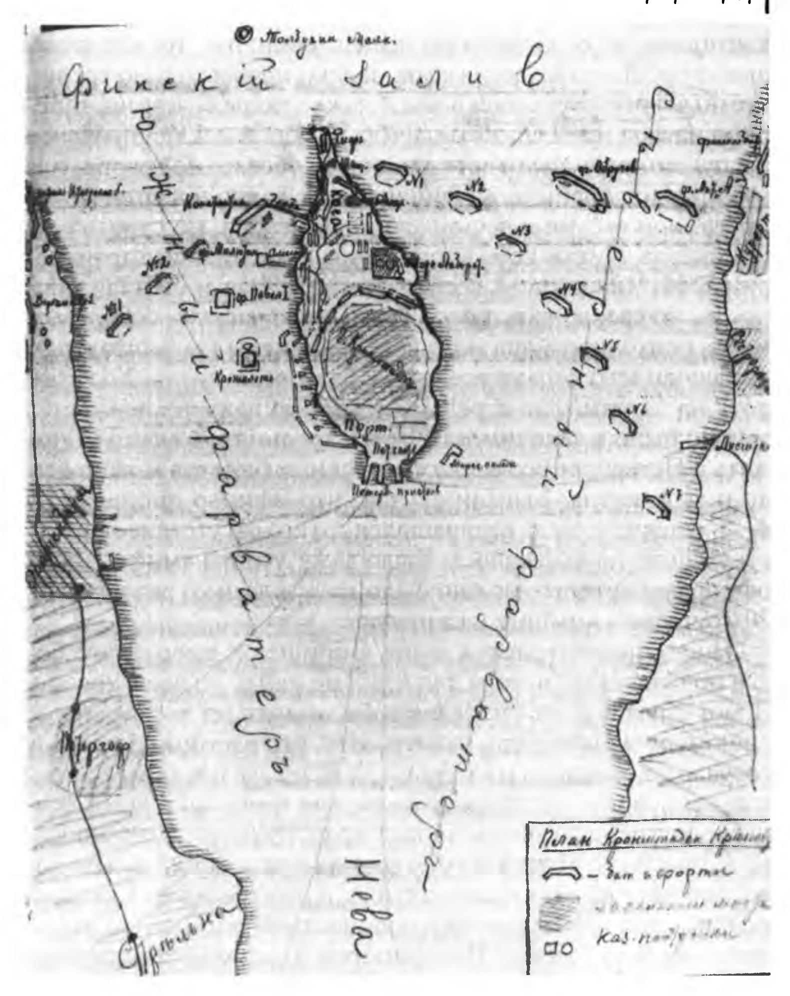
Шла «Спящая красавица». Я сидел в 4-м ряду и весь вечер был в каком-то меланхолически упоительном настроении. Отправляясь последним поездом в Павловск, я всю дорогу простоял в расстегнутом пальто на площадке и простудился. Через 3 дня, вставши почти прямо с постели, все-таки поехал смотреть «Раймонду», во время которой у меня была такая лихорадка и головная боль, что я почти ничего происходящего на сцене не видел, и лишь последнее действие, перед которым по совету В. В. Абаза выпил 4 больших рюмки коньяку, несколько пришел в нормальный вид. После «Раймонды» я в Павловск не поехал и остался ночевать у оркестрового артиста М. Р. Гукова.

13 сентября кончался срок отпуска, нужно было являться в Кронштадт, а у меня денег осталось ровно 4 рубля. По-

ложение было довольно затруднительное, и я только накануне отъезда спохватился и бросился доставать финансы. Медников помогал мне в этом, но у нас ровно ничего не вышло, а Гуков достал какого-то музыканта, но предупреждал, что это адский ростовщик. Оказалось, что он хотел за 25 рублей получить через 3 дня 50, и я послал его к черту. Наконец, мать выручила меня, дав мне 40 рублей, и 13-го утром я, воссевши на пароход «Русь», торжественно отбыл в Кронштадт. Остановившись там в довольно вонючей и паршивой (но, как оказалось, лучшей во всем Кронштадте) гостинице «Лондон», я надел парадную форму и явился генералу Н. А. Чижикову и сделал около десятка визитов старшим офицерам по указаниям Л. А. Митурича, тамошнего офицера, моего однокорытника по корпусу. Вечером на другой день (это была суббота) ко мне приехал Савицкий, и мы, пройдясь по городу и убедившись, что, кроме грязи и пьяных «иоаннитов»* ничего интересного не было, вернулись в гостиницу и за дружеским разговором о балете и училище ухитрились выпить вдвоем 3 бутылки водки и дюжину пива, имея для закуски всего половину селедки! (за поздним временем нельзя было достать даже хлеба), а затем, пожелавши подышать чистым воздухом, наняли заспанного извозчика на форт «Обручев» (находящийся посреди моря в 9 верстах от Кронштадта!) и, вывалившись вместе с извозчиком и пролеткой где-то около гавани, вернулись домой и улеглись спать.

Потом началась моя служба и потекла серо и однообразно. Кронштадтская крепостная артиллерия обслуживает одну из самых важных и больших морских крепостей России. Она состоит из 6 батальонов по 4 роты каждый. В каждой роте около 150 солдат. Крепость состоит из островных укреплений (батарей) и 18 морских фортов, раскинутых дугообразно по двум фарватерам: северному и южному. Каждый форт или батарея вооружены 8—60 артиллерийскими орудиями всевозможнейших (преимущественно устарелых) образцов. Половина фортов и батарей совершенно, или почти совершенно, негодны для тех целей, для которых они предназначены.

Вскоре я перезнакомился со всеми офицерами артиллерии. Общество офицеров оказалось сбродом из всевозможных крепостей России (Кронштадт, как близко располо-



женный к Петербургу, является приманкой и мечтой для всех крепостных артиллеристов). Попадаются и такие экземпляры, которые, выйдя из кантонистов* или выслужившихся нижних чинов, не блещут никаким образованием. Общественная жизнь оказалась совершенно неразвитой, $^{2}/_{3}$ состава офицеров живут с женами и семьями (или с содержанками) и не показывают носа в собрание. Пьянство и

картежная игра развиты до чрезвычайности. То, что я видывал собственными глазами, далеко превосходило все известные армейские анекдоты и даже этюды Куприна. В период начала моей службы царила редкая и исключительная распущенность среди артиллерии. (Собственно говоря, порицать распущенность офицеров я не имею нравственного права, ибо весьма и весьма ею пользовался, но судить ее и описывать считаю себя вполне вправе.) Командир артиллерии Г. М. Чижиков — весьма симпатичная и светлая личность, но сдерживать такую громадную часть — совершенно не подходящее для него дело. Офицеры (за ничтожным исключением) делали все, что заблагорассудится. Ходить в роту на занятия, на стрельбы и иногда даже на дежурства можно было в зависимости от настроения и желания. Уезжать в Петербург без всяких отпускных билетов можно было почти всегда. Бывали случаи, что офицер пропадал по 2—3 недели, и когда возвращался, то его отсутствие начальством даже не замечалось. Было даже 3 или 4 «мифических офицера», которых можно было видеть только раз в месяц: 20-го числа в комнате у казначея.

После зрелого рассуждения я пришел к выводу, что более подходящей службы для меня не найти во всей России. Я мог служить, не утруждая себя, ездить на все балетные спектакли в Петербург, чувствовать, что работаю на пользу государству отнюдь не меньше, а *даже иногда и больше* остальных своих товарищей. Видя, как били баклуши месяцами другие, я даже чувствовал нравственное превосходство в смысле сознания и исполнения долга службы, ибо довольно часто бывал и на занятиях, и на стрельбах. Когда же получил даже однажды благодарность Чижикова, то окончательно успокоился. Из офицеров я сначала сблизился с поручиком Шавриновым, подп<оручиком> Клифусом, ш<табс>-к<апитаном> Бурксером и пор<учиком> Тимковским. С нижними чинами, конечно, как и всякий молодой офицер, я сначала чувствовал себя неуверенно, глупо и потому к ним долго не приближался.

Жизнь почти сразу же приняла автоматически регулярный круг: занятия, собрание, сон и через 2 дня в третий — отъезд в Петербург на день, на два и иногда на более долгий срок. Максимум моего неофициального пребывания в Пе-

тербурге был 2 $^1/_2$ недели (в начале 1905 года), официального 4 $^1/_2$ месяца (по болезни в 1906 году).

Кронштадт как город представляет из себя нечто отвратительное, грязное и колоссально скучное. Никаких увеселений, ни театров, ни концертов (в особенности в период войны с Японией), и потому естественно, что офицерство, особенно молодежь, удирало в Петербург при всяком удобном и неудобном случае. Жизнь в Офицерском собрании почти исключительно ограничивалась пьянством и азартной игрой. Игра часто бывала очень крупная. (Многие из кронштадтских офицеров женаты на богатых кронштадтских купчихах, в глазах которых, подобно московским и среднероссийским купчихам, престиж «офицера» остался еще очень высок; многие кронштадтские мануфактурные, мебельные, кондитерские и табачные магазины только по вывескам числятся принадлежащими г-дам Кудрявцевым, Манохиным, Корольковым и <Квар.>, а на самом деле принадлежат капитанам С., Б., К. и подполковнику П., а потому деньги у многих бывают крупные.) Я застал еще игру, оканчивающуюся иногда тысячными расчетами. Впрочем, обыкновенно, хорошо выигравший офицер ехал со своим выигрышем «продолжать» в Петербург в Железнодорожный клуб, где почти всегда его и оставлял. Один капитан, проигравший как-то большую сумму, встав из-за стола, сказал: «Эх! Вам-то, господа, проиграть не обидно, а обидно отдавать эти деньги на жранье шулерам Железнодорожного клуба!»

Я сначала сторонился игры, но потом постепенно в нее втянулся, впрочем удачно, особенно первый год. Потом стал ездить и в Железнодорожный и другие клубы и играл тоже довольно удачно.

Пьянство процветало в собрании тоже на славу, особенно в декабре и январе 1905 года с появлением на горизонте прапорщиков запаса, призванных для отправления с одним батальоном на Дальний Восток. Большинство этих прапорщиков (Парийский, Стрекачев, Бровкин и др.) пили как бездонные бочки и в течение двух месяцев споили буквально всех молодых офицеров. Сплошь и рядом прапорщиков и подпоручиков, и случалось и полковников, выносили в пятом часу утра из собрания как трупов. (Для этого имелась

специальная комната в собрании — «мертвецкая», а если она переполнена, то 4 денщика для «выноса» домой.) Могу похвастать, что за 3 года я был «выносим» всего 2 раза. С прибытием прапорщиков температура нашей общественной жизни сильно повысилась. Они внесли кроме массы безобразия все же массу веселья и разнообразия.

II

Военная характеристика Кронштадтской крепости. — Игра в клубах. — Система абонементов на балетные спектакли. — Театральное барышничество

СПБ. Ком<ендантское> упр<авление>.
Апрель 1907 года.

При ближайшем моем ознакомлении с грозной крепостью «Кронштадт» я все более и более поражался. После долгих сомнений и кажущихся ошибок я все-таки должен был прийти к выводу, что одна из важнейших в России крепость, охраняющая столицу государства, резиденцию Высочайшего Двора и административный центр России, — с точки зрения военной, почти совершенно никуда не годна. Побывавши почти на всех фортах и батареях, я, конечно, с любопытством и вниманием рассматривал вооружение, наружное укрепление и внутреннее сообщение этих грозных бастионов и, к ужасу и удивлению своему, нашел на некоторых фортах орудия образца конца 60-х годов! Всюду и везде ржавчина, грязь и крайнее запущение; подъемные башни совершенно не действуют, нет ни одной батареи, в которой не было бы испорченных и недействующих орудий. Пороховые погреба так умно устроены, что годность их в боевом отношении равна нулю.

Иногда мне приходили даже столь дерзкие мысли, что не только английская эскадра, но даже 3—4 хорошо вооруженных крейсера могли бы в весьма короткий срок взять один за другим все форты и батареи. Знаменитое же «минированное пространство», судя по рассказам практикующих на нем ежегодно минеров и саперов, не далеко ушло от фортов, и более 50% данных мин настолько не оправдыва-

ют возлагаемых на них надежд, что наотрез отказываются взрываться, когда это требуется. Таким образом, Кронштадт как крепость грозен больше для петербуржцев, чем для неприятельских эскадр. Из всех 18-ти береговых и морских укреплений могут оказать более или менее серьезное сопротивление только 4 или 5 («Демидов», «Константин» и недавно возведенные форты «Обручев» и «Литера А»). Впрочем, на «Константине», как рапортовал летом 1906 года полковник М. коменданту крепости, из 64-х орудий «недействующих» — 17. Сплошь и рядом недействующее орудие, сделавшись раз таковым, остается оным стоять на батарее 3 или 4 года. Вооружаются батареи столь умными и продуманными распоряжениями, что после двухмесячного каторжного труда орудия, поставленные на батарею, оказываются негодными для стрельбы. Так, батарея «Николай-шанц», вооруженная осенью 1906 года девятидюймовыми пушками, при первой же практической стрельбе оказалась негодною (документальный факт), ибо орудия оказались различной нарезки и различной длины дула, так что для каждого потребовалась бы при стрельбе особая таблица!! Перед подобной «грозной батареей» любой броненосец мог бы стоять неподвижно и безопасно в течение хоть четырехчасового обстрела! А на «сильном форту» «Константин» амбразуры в бетоне так мудро прорезаны, что каждое орудие, даже при среднем ходе цели, может успеть дать только один выстрел! Вся практика стрельб, из году в год, почему-то ведется почти исключительно с одной батареи «Тотлебен» (вооруженной самыми старыми и почти неупотребляющимися орудиями), а из новейших образцов за 3 года моей службы была всего одна пробная стрельба на форту «Обручев».

Железная дорога, соединяющая береговые батареи с городом, не выдерживает никакой критики и жалка до карикатурности. Это поистине родная сестра нашей петербургской конки 2-го общества. Приблизительно в подобной же исправности находится и состояние всего хозяйства и управления крепости. Об интендантских святостях и о пищевом содержании нижних чинов я еще скажу впоследствии, при описании «поводов к восстанию 1905 и 1906 годов».

Об основах военной службы вообще и о размере «законной инициативы» офицеров, особенно младших, здесь говорить, за избежанием длиннот, не стоит. Всякому известно главное правило военной службы — «исполняй приказание старших (а следовательно, и более умных...) и не суй свой нос не в свое дело». А потому большинство, в том числе и я, подивившись вдоволь господствующим порядкам, отошло в сторону и занялось своей личной жизнью.

В начале 1905 года 6-й батальон (усиленный 12-ю трезвенниками-прапорщиками) готовился к отъезду на восток. Я было попал в число 6-ти человек, долженствующих тянуть жребий на замещение 2-х вакансий, но нашлось двое желающих ехать, и жеребьевка не состоялась.

В собрании под флагом прощальных обедов и ужинов шел такой пропой, что кирпичи в стенах потели. Сплошь и рядом приходишь в собрание пообедать и на приказание дать рюмку водки перед супом получаешь ответ: «Так что, Вашескобродие, водки нетути, потому господа прапорщики недавно отобедали!»

Я жил первые 5 месяцев в комнате, которую снимал в квартире отставного генерала Барабаша. При найме комнаты хозяева находились где-то в Варшаве, так что я во всей квартире жил solo с двумя денщиками. Имея это в виду, у меня частенько собиралась компания, и «пьянство с музыкой» (я держал довольно паршивое пианино) продолжалось иногда «до следующего вечера». Из этого винного омута я вырывался только в балет, куда я ездил аккуратно на каждый спектакль. В конце ноября как-то в Петербурге после балета составилась небольшая, но теплая компания поужинать. Ввиду присутствия среди нас юнкера Савицкого можно было ехать только во второразрядный ресторан, и то в кабинет. Поехали в «Pole du Nord» и, занявши кабинет, начали обычные тосты. Около часу ночи я напомнил Савицкому, что ему пора в училище, но он заявил, что дежурный шт<абс>-кап<итан> Бутыркин и, значит, можно опоздать. Однако и через $^1/_2$ часа он не поехал, несмотря на просьбы и предостережения. Еще же через $^1/_2$ часа он уже был так хорош, что ехать уже становилось весьма рискованным. Однако он поехал. На дру-

гой день я узнал, что он явился в училище только в 4-м часу утра и, вдребезги пьяный, отколол что-то дежурному офицеру (не Бутыркину, а Егорову), загнул пятиэтажное словцо командиру батареи и... через неделю явился подпоручиком в Кронштадт. Это святое явление придало тамошнему пьянству 30% свежести, и если бы не отъезд прапорщиков на восток, то потребление превысило бы функционирование 11-ти казенных винных лавок совместно с собранием.

На Рождество я сложил свои манатки и удрал на неделю в Петербург. В этот период времени мне особенно везло в клубах. Преимущественно я играл в компании со студентом М. К. Ральфом, который имел иногда прямо собачье чутье на «метки». Я заметил, что игра в клубах во мне азарта никогда не развивала. Я очень мало волновался во время игры и почти никогда не рисковал крупными ставками. Ральф был совершенно прав, говоря, что при моем счастии, если бы хватало храбрости идти подо все, можно было не раз выиграть большие деньги. В большинстве случаев я задаюсь известной цифрой и, когда достигаю ее, ухожу. Бывали прямо оригинальные случаи. Я в течение этой зимы посылал при каждом участии А. П. Павловой в заглавной роли живые цветы на сцену, и случилось, что шла под Рождество «Жизель», а я явился из Кронштадта с капиталом в 7 рублей, послать же цветы ужасно хотелось. Пришлось действовать по пословице «либо пан, либо пропал», отправился в 7 часов вечера в Немецкий клуб и оставшиеся за вычетом платы за вход и штраф 5 рублей поставил на первую попавшуюся карту. Карта была дана 3 раза, и ровно через 10 минут я ушел с 154 рублями. Таким образом, игра завлекла меня не азартом и не страстью легкой наживы, а как средство, часто выручавшее из «енотового» положения, причем я почти никогда не продолжал игры после выигрыша нужной в данную минуту суммы. Наибольший единовременный выигрыш мой в клубе был около 380 рублей, а у себя в собрании около 200. Проигрывал максимум 150 рублей. Но бывали случаи, что выходил из клуба буквально без копейки и в шестом часу утра однажды путешествовал pizzicato через весь Петербург на Балтийский вокзал, откуда с помощью начальника станции (привычного к такого рода явле-

ниям) доставлялся до Ораниенбаума. В эпоху частых выигрышей я поставил себя во мнении многих (особенно танцовщиц) человеком с солидными средствами, в чем некоторые и по сю пору не разубедились. Кстати, в середине зимы 1905 года подоспела неожиданно и премия.

В ноябре 1904 года я пришел к логическому выводу, что абонемент на балетные спектакли в креслах (особенно в 8-м ряду, где я был абонирован) в высшей степени неудобен и невыгоден. У меня еще значительно раньше, в бытность юнкером, созрела благая мысль абонировать в компании нескольких человек ложу 2-го или 3-го яруса (о бенуаре, как о невозможном, я даже и не мечтал). В этот же ноябрь, благодаря любезности М. Ф. Кшесинской, я получил право на абонемент лучшей ложи в бенуаре № 10. (Ложа эта принадлежала лично Кшесинской, и она передала право абонировать ее мне.) Я принял этот абонемент как нечто святое и ценное (на эту ложу уже в течение нескольких лет точили зубы весьма многие) и, собрав компанию в 6 человек, абонировал ее в начале декабря 1904 года.

Мариинский театр в смысле абонементов и продажных билетов представляет при более глубоком рассмотрении весьма оригинальное явление. Балет в России издавна имеет довольно большой круг своих поклонников и любителей-фанатиков, которые не пропускают ни одного спектакля годами и десятками лет. Таким образом, первые ряды кресел и лучшие ложи, а также большинство мест галереи из году в год абонируются одними и теми же лицами, причем круг этих лиц с каждым годом заметно расширяется. Когда я стал постоянным посетителем балета, постоянными абонентами было заполнено около 5 первых рядов кресел и штук 20 лож, теперь же (в 1907 году) абонировано уже 12 рядов кресел и из остальных рядов $^{1}/_{3}$ всех кресел, а лож поступает в продажу только 16 шт<ук> (следовательно, абонированных около 80 штук). Благодаря этому обыкновенному смертному попасть в балет с каждым годом становится труднее и труднее, и не долго ждать того времени, когда буквально все места в театре будут абонированы постоянными абонентами и балет как театральное представление сделается достоянием постоянно одних и тех же 2000—3000 счастливцев. Что же касается передачи при

жизни или освобождения за смертью кресел, особенно первых рядов, то это составляет целое событие в нашем театральном мирке.

В первом ряду заседают 24 маститых балетомана, так сказать, старейшины и профессора в своем роде. Они своих мест никогда не меняют и сидят на них «не одну земскую давность». Так, скончавшийся 7 мая 1906 года К. А. Скальковский просидел на своем № 16 всего-навсего 41 год, а ныне здравствующий Н. М. Безобразов насчитывает 39 лет своего сидения на кресле № 19. Когда умирают такие старые театралы, то захват и владение их абонементом подымает шум не только в нашем мирке, но и во всем городе и даже в прессе. Когда в 1905 году скончался почт-директор Чаплин, просидевший в балете в 1 ряду 28 лет, то из<-за> его кресла в кабинете директора театров чуть не дошло дело до драки. Предполагалось одно время разыграть его в лотерею между десятком претендентов, но в конце концов оно досталось (не совсем справедливо) морскому министру, вице-адмиралу А. Бирилеву. После этого случая открыта была запись кандидатов на освобождающиеся кресла первого ряда, и я в этой записи, находящейся в конторе Императ<орских> театров, вот уже 2 года как состою 143-м кандидатом, и если не случай, то, даже проживши еще 50 лет, не достигну до 1-го ряда. Большинство обладателей этих ценных абонементов включают владение их и переход в наследство в свои духовные завещания (что они ценны даже не в переносном смысле слова, может служить доказательством то, что нередко за передачу такого абонемента предлагали премию до 10 000 рублей).

Что же касается продажи неабонированных кресел и лож, то они в большинстве попадают в руки опытных барышников, которые сплошь и рядом перепродают их в день спектакля в 3, 4, 5 и 6 раз, а иногда и более, дороже. На моих глазах ложа бельэтажа на прощальный бенефис М. Кшесинской, стоящая номинально 22 рубля 80 копеек, была продана за 165 рублей! Барышничество театральными билетами в Петербурге уже зло давнишнее и в своем возникновении теряется в последних годах XVIII столетия, когда, по описаниям наших театральных историков, «не-

кие подлые посадские люди перепродавали в темных углах Крюковской площади театральные билеты с наживой на оные тройной их цены». В 70-х годах театральное барышничество (особенно Мариинского театра) постепенно сконцентрировалось в руках одного крупного барышника Н. И. Королькова, который за 30 лет этой своей «общественной деятельности» составил себе солидное состояние. Весьма интересная его история и целый ряд анекдотов и инцидентов и посейчас еще ходят среди театралов, в особенности балетоманов. Этот Корольков последние годы своей деятельности сам никогда не покупал и не продавал на площади билетов. Это исполнялось целой бандой его «служащих», которых ввиду сильного преследования полиции он постоянно, и иногда даже ежедневно, менял, прибегая к помощи бараков, что против Андреевского рынка, где ежедневно собирается до тысячи прислуги и рабочих, ищущих занятий. Они нанимались им за «разовую плату», становились с вечера в хвосты перед кассами и приобретали билеты на лучшие и дорогие места театра. Корольков был знаток своего дела, прекрасно изучил вкусы нашей театральной публики и скупал билеты весьма обдуманно, и редко попадал впросак. Обороты его достигали громадных пределов, иногда у него в руках бывала половина всех мест в театре. Агенты, приобретавшие билеты, получали смотря по важности спектакля от 20 копеек до 1 рубля за каждый купленный билет, а Корольков наживал иногда по 1500 рублей за вечер. Гастроли Цукки, Леньяни и Брианцы были праздниками для Королькова.

На прощальных бенефисах Цукки и Леньяни получили прекрасные и дорогие подарки с подписью «От благодарного Н. И. Королькова!». Говорят, что и М. Кшесинская имеет громадный и дорогой серебряный альбом с такой же надписью... Благодаря Королькову явилась специальная статья о театральном барышничестве в законах. Покойный градоначальник Грессер издал указ о штрафах за уличение в театральном барышничестве первый раз 500 рублей, второй раз 1000 рублей, третий раз 3000 рублей, а потом высылка административно из пределов столицы. Корольков был, конечно, известен полиции; его фотографические карточки имелись даже в сыскном отделении, но при ули-

чении он аккуратно уплачивал вышеозначенные штрафы до 3000 рублей (это показывает, насколько выгодно было его дело). И наконец был административно выслан из Петербурга. Он купил себе прекрасную дачу на Поклонной горе (по Неве близ Шлиссельбурга) и продолжал свои дела. (Административно высланные имеют по закону право бывать проездом не свыше суток в столице... ему и этого было много — достаточно было быть с 2 часов до 8 вечера.)

На особенно выдающихся спектаклях и бенефисах билеты продавались не агентами на площади, а лично Корольковым в его постоянной резиденции, трактире «Углич» на Никольской площади, где он восседал за самоваром в отдельном кабинете на «чистой половине». К этому грязному извозчичьему трактиру в дни таких спектаклей подъезжали нередко вереницы изящных ландо и одиночек. Это была форменная вторая касса Мариинского театра с той разницей, что билеты продавались «по особо возвышенным ценам». Само собой разумеется, что полиция знала и об этом притоне, но существует интересная история сближения и дружбы Королькова с полицией и даже высшими слоями тогдашней администрации. Однажды в день бенефиса Пьерины Леньяни, около трех часов дня, министр внутренних дел послал своего камердинера приобрести на вечер ложу, который, конечно, ничего в кассе не достав, вернулся. Министр звонил по телефону в контору Импер[аторских] театров с просьбой достать для него с семейством ложу. Чиновник, удостоверившись, что все казенные и имеющиеся в распоряжении дирекции ложи уже заблаговременно розданы и проданы, не нашел ничего лучше, как передать в виде приказания директора достать ложу полицмейстеру театра. Покойный полковник Лаппа-Старженецкий бегал высунув язык из кассы в кассу и тоже ничего не достал. Как в подобных случаях всегда бывает, паника и страх не угодить начальству переходили постепенно со старших чинов на младших. В 6 часов вечера дежурный пристав, три его помощника со всем синклитом околоточных и городовых предпринимали все возможные и невозможные меры, дабы достать для министра ложу. В 7 часов собрался в кабинете полицмейстера военный совет, что далее предпринять, ибо отказать министру считалось

совершенно невозможным. Наконец пришли к единственному возможному случаю — послать к Королькову. Посланный околоточный, вернувшись через 10 минут из «Углича», заявил, что Корольков, хотя и имеет нужную ложу, не желает продавать ее хотя бы даже за тысячу рублей. Все собрание было в отчаянии, и наконец старший пристав и полицмейстер театра отправились самолично с просьбой к Королькову «выручить». Корольков догадался, в чем суть, и, поняв свою силу в этот момент, сумел ее использовать прямо гениально. Продержав полковников несколько минут в грязной половине трактира в ожидании, когда соблаговолит принять, после долгих упрашиваний с величанием «уважаемым Николаем Ивановичем» и с пожатием его рук согласился отдать ложу с условием лично передать ее министру. Подкатив на своем рысаке к квартире министра около 8 часов, он попросил личного свидания, в котором, объяснив министру, что ни одного места в театре достать немыслимо, просил разрешения преподнести его семейству собственную ложу, почтя за счастье уступить ее ему, и наотрез отказался взять деньги. Министр искренно его благодарил и положительно не знал, как отплатить этому, судя по всему, простому и неинтеллигентному человеку. Корольков, оставив свою визитную карточку и распрощавшись дружески с министром, уехал. С тех пор на долгое время полиция относилась к нему весьма почтительно и отнюдь не преследовала. Барышничество это иногда сильно походило на биржевую игру со всеми ее повышениями и понижениями. Так, однажды Корольков потерпел чистого убытку в один вечер около 4000 рублей. (Это был бенефис Э. Ф. Направника, когда в один день заболели и были заменены Н. Н. и М. И. Фигнер — у Королькова осталось на руках более 800 билетов.) Говорят, что Корольков скопил на барышничестве около 600 000 рублей капитала. После его смерти, последовавшей в конце 1905 года, дело это распалось и теперь находится в руках единичных барышников и маленьких банд, кормильцами которых являются Ф. Шаляпин и М. Кшесинская. С увеличением количества постоянных абонентов барышничество постепенно уменьшает круг своей деятельности, а с абонированием всего театра, очевидно, и совершенно пропадет.

III

На московских гастролях петербургских артистов. — Московские рестораны. — Дружба с А. П. Павловой. — Преподавание электротехники в специальных военных командах. — Препятствия со стороны начальства. — Флирт с кронштадтской «демимонденкой». — Болезнь. — «Философское» осмысление жизни

В конце января 1905 года я, взяв 100 рублей из офицерского заемного капитала, отправился в Москву на бенефис г-жи Гримальди. 28 января в 8 часов вечера я и Савицкий скорым поездом выехали вслед за М. Кшесинской, уехавшей накануне. 29-го утром приехали и остановились в гостинице на Петровке. Оба мы удрали из Кронштадта без отпускных билетов и в душе сами удивлялись этой смелости. Днем мы явились в театр и, по просьбе Кшесинской и благодаря редкой любезности тамошнего полицмейстера подполковника Переяславцева, водворились на генеральной репетиции во 2-м ряду кресел. В креслах же с нами сидели Е. В. Гельцер, Ю. Н. Седова и другие артисты московского балета. После репетиции отправились в гостиницу к Ю. Н. Седовой, пили там чай и зубоскалили о петербургских театральных новостях часа 2. Она показала нам свою годовалую дочь, которая на руках у няньки показывала, «как мама в «Коньке-Горбунке» танцует и как посылает воздушные поцелуи при аплодисментах». Оттуда поехали к Кшесинской обедать, где просидели до вечера. Вечером толкались по Тверской и попали в театр «Эрмитаж» на какой-то весьма пикантный фарс и, поужинав по традиции у Тестова, поехали мирно домой спать. 30-го, накупив в театральной фотографии карточек, пошли осматривать Исторический музей, катались по Кузнецкому мосту, обедали у Тестова, пили чай у Кшесинской и вечером приехали в балет. Мне везет 3-й раз по приезде в Москву попадать на «Баядерку». Гримальди встречали не особенно восторженно, но все же тепло. «Фиаметта» с Кшесинской была рядом восторгов и все solo покрывались бурей аплодисментов. Само собой, мы послали от себя корзину цветов на сцену. В последнем антракте отворилась дверь и в ложе появился...

Денисьев, случайно бывший в театре и увидевший нас из партера. Это было поистине несчастье, ибо окончилось неслыханным пьянством. Проторчавши законное количество времени на артистическом подъезде, мы поехали, влекомые Денисьевым, в ресторан Чистова у Иверских ворот и, зарядившись там на скорую руку солидным количеством водки почти без закуски (которая оказалась неважною), переправились к Тестову, где, поглотив под прелестные расстегаи с ухой еще больше, уже сильно на взводе, поехали на парном рысаке в «Эрмитаж». Там выпив за здоровье Кшесинской 2 бут[ылки] шампанского и столько же ликера (там в честь Гримальди и Кшесинской был ужин, устроенный московскими балетоманами), поехали в «Яр», где под звуки цыганского хора окончательно перепились. После этого, переменив еще, по заведенному в Москве порядку, 2 или 3 кабака, проснулись утром где-то за городом, не то в «Стрельне», не то в «Мавритании». Вернувшись в свою гостиницу и приняв по холодному душу (Денисьева мы под утро где-то потеряли), отправились в 2 часа завтракать в Hotel National к Кшесинской. Когда я и Савицкий явились, там уже сидело за столом общество человек 6—7. Были М. Кшесинская, Гримальди, Де Лазари, Александров, Рафалович, Готч и др. Меня посадили между Кшесинской и Гримальди, и темой разговора почти в течение всего завтрака были всевозможные предположения о том, что случилось со мной и Савицким, могущее придать нам столь оригинальный цвет лиц (рожи наши действительно не внушали никакого доверия, были бледно-серые с глубокой синевой вокруг очей). Гримальди все время допытывала, где мы ухитрились так натрескаться, что потеряли подобие Божие, и, по-видимому, с большим знанием дела перечисляла мне на ломаном итальяно-русском языке все злачные местечки кутящей Москвы. Кшесинская же взяла нас под свое покровительство и не позволяла подсмеиваться компании. Готч и Александров проговорились и сами выдали себя, заявив, что видели нас в 7-м часу у «Яра». Это был замечательно веселый и симпатичный завтрак, на котором, впрочем, я и Савицкий при всем желании ничего, кроме содовой со льдом, не могли пить. Около 6-ти часов пили чай у Е. В. Гельцер и, разорив ее на две карточки, отправи-

лись на вокзал. В 9 часов 30 минут в севастопольском поезде, вместе с Седовой, поехали в Петербург. Почти до Твери болтали с ней о ее московских гастролях, потом я спал вплоть до Петербурга.

2 февраля мне пришлось еще раз сильно напиться на именинах у А. П. Павловой. Это был день нашего примирения после двухмесячной ссоры. (Она позволила себе однажды некоторую нетактичность, на которую я ужасно разозлился и в течение 2-х месяцев ни разу не был у нее и при встречах в театре не кланялся. Накануне она подошла к моей ложе и так мило извинилась за происшедшее недоразумение, что я потерял всякую обидчивость.)

В феврале я довольно неожиданно получил премию Военно-судебного ведомства по своей стипендии, о которой, кончивши корпус, даже перестал думать. Премия оказалась в размере 350 рублей, которые пришлись мне весьма кстати.

В этот период времени я частенько выигрывал в клубах и у себя в собрании и жил весьма шикарно. Мать моя и сестры всю эту зиму остались жить в Павловске, а я по приезде в Петербург останавливался у М. Ральфа и целыми днями торчал у Павловой. В эту зиму я очень с ней сдружился. Эта оригинальная женщина бывает иногда незаменима в советах, которые я почти всегда исполнял как закон, что принесло мне много пользы и удачи. Она хорошо знала все подробности моей жизни со всеми хорошими и скверными сторонами и сумела заставить меня не делать многих глупостей и рискованных номеров. Об этих наших долгих беседах tête-à-tête у меня во всю жизнь останутся лучшие воспоминания. В посту А. П. уехала на 4 недели за границу, и я ужасно скучал и иногда не знал прямо куда деться. За это время я сблизился опять с Медниковым, с которым не встречался с момента конфликта на почве Е. С. Т. Тогда у нас, у глупых мальчишек, дело чуть не кончилось самой серьезной дуэлью.

А. Медников появился снова на моем горизонте благодаря какому-то любительскому спектаклю, на котором должен был танцевать с моей сестрой входивший тогда в моду кекуок. При одной из таких встреч у нас на квартире мы замирились, посмеявшись оба по поводу причин нашей ссоры, которые теперь казались нам не стоившими вы-

еденного яйца. Е. Т., как я узнал от него, теперь играет в водевилях на каких-то маленьких сценах и в смысле нравственности вступила уже на торную дорожку. Как-то на днях после замирения мы сидели с ним вдвоем у Лейнера* и вели довольно оригинальный спор о том, кто, собственно, из нас двоих более виновен в падении нравственности Е. Т.!..

На 7-й неделе я, как всегда, с позволения сказать, «говел» в церкви Театрального училища. В этом мне помогал А. Медников, и мы довольно мило проводили время. Он абонировался у меня в ложе и понемножку вошел в круг нашей балетной жизни. На Пасхальной заутрене явилась только что приехавшая из-за границы А. Павлова. Я ухитрился похристосоваться с ней 9 раз на том основании, что 3x3=9.

Первые 3 дня Пасхи я не вылезал из парадного мундира и перецеловал почти весь кордебалет!.. Последние же дни Пасхальной недели почти целиком просидел у Л. Клечковской.

После Пасхи жизнь в Кронштадте потекла опять по обычной колее. Я был назначен преподавателем электротехники в специальных командах. Техника крепостной артиллерии при наличии электрических станций, телеграфов, телефонов и прожекторов требует большого числа специально подготовленных солдат, для чего существуют классы так называемых наблюдателей и машинистов. Я, еще будучи кадетом, занимался проведением звонков ламп и сделал даже сам кольцо Грамма и небольшую модель динамомашины Сименса и Гальске, прочел довольно много книг по электротехнике и потому взял теперь на себя преподавание солдатам начальных сведений по электротехнике, необходимых для умения обращаться с телефонами, телеграфами и пр.

Натурально, при начале курса я просил капитана Александрова (заведующего специальными классами) о выдаче мне какого-либо руководства к преподаванию. Каково же было мое удивление, когда мне дали курс электротехники, рекомендованный для Михайловской артиллерийской академии! (Это, если не ошибаюсь, был сложнейший курс электротехники профессора Триумфова!) Убедившись, что, руководствуясь подобной книгой и читая из нее выдержки,

я ввел бы солдат в окончательное недоумение, ибо, с места в карьер, курс этот начинался выводом сложнейших формул, основанных на дифференциальном и интегральном исчислении, я после некоторого раздумия решил составить собственный конспект. Воображаю рожи этих крестьян, взятых прямо от сохи и одетых в солдатский мундир, когда я, подчиняясь руководству, данному начальством, стал бы излагать им теорию индукции токов с дифференциальным анализом! Подобное отношение к делу меня и удивило, и возмутило. Я составил прямо из своей головы конспект, имевший целью дать им возможность понять сложные функции электричества, и стал по нему учить.

В течение почти 3-х месяцев я занимался аккуратно каждый день по 2 часа и достиг прямо блестящих результатов. Мои 30 человек нижних чинов уяснили, что такое есть ток и какова его сила, в чем она в природе появляется и т. д. Но однажды на мой урок явился комендант* в сопровождении заведующего классами и, приказавши мне продолжать лекцию (я пояснил им, что такое вольт и ампер, то есть как измеряется сила тока и его возбудительность, для чего приводил им для большей ясности сравнение с измерением времени и длины)... Я получил замечание, что учу не тому, чему следует, и чтобы немедленно приступил к объяснению устройства телефонов и телеграфов и практического их применения. То есть, значит, втемяшить в несчастную и неразвитую голову солдата название частей без понятия, для чего они сделаны и какие функции исполняют, то есть заставить их как попугаев повторять слова и действия безо всякого понятия об их сущности, пользе и необходимости!

Я был глубоко убежден, что в течение 8 месяцев курса я сумел бы влить в них все необходимые познания и они были бы действительно знающими свое дело людьми, но после этого афронта я вернулся домой совершенно нравственно разбитый и разочарованный. Вся охота и желание достичь, вложенные мною в это хорошее дело, пропали бесследно, и, убедившись, что мне сделать по-своему не удастся, я охладел к этому делу и стал манкировать неделями. Солдаты, искренно заинтересованные моими лекциями, очень жалели подобного исхода начатого доброго дела. С этого дня меня контролировали в прохождении курса и

требовали прохождения известных частей курса к определенным срокам. Я окончательно бросил преподавание и вскоре отказался и перевелся в строй, ибо понял, что той пользы, какую я хотел и мог принести, сделать было нельзя. Что может быть глупее и смешнее, как заставлять без объяснений заучивать обращение с телефонным аппаратом, не изучая сущности индукции?!..

И вот такое же препятствие я встречал и всюду на почве желания принести посильную пользу солдату.

Когда я по воле случая *попал все-таки* в военную службу, то считал себя несчастным человеком, ибо никогда не сочувствовал ее принципам. Патриотизмом я никогда с детства не отличался и, много читая и присматриваясь к жизни, убедился, что почти все цели и принципы военной службы глупы, грубы и неестественны. Я утешал себя единственно тем, что видел задачу офицера быть учителем и просветителем русского серого мужика, и в этом и только в этом понимал благо и цель своей деятельности. Конечно, всякому понятно, каково было мое разочарование, когда я убедился, что все военные законы и инструкции в своей сущности идут прямо и резко против этого.

Будучи юнкером и молодым офицером, я создал себе такую теорию: правительство отнимает у семей лучших молодых работников, держит их в непонятной и непривычной для них жизни и деятельности 5 лет*, лучшие годы их рабочей жизни; так оно, по крайней мере, возвращает их в свои села и деревни грамотными и хотя немного образованными... На деле оказалось *буквально наоборот:* военная служба не только не дает, но убивает в солдате всякую живую мысль и знание и обращает человека в тупое и неразумное орудие, не способное мыслить и даже желать мыслить и являющееся только послушной вещью в руках своих начальников, которые в 99-ти случаях против одного направляют его на деятельность в пользу правительства и явно во вред его отцам и братьям.

И вот таким же начальником солдата хотят сделать меня!!!

Ну, не буду распространяться — это слишком сложный вопрос, чтобы его здесь описать, одним словом, все, что было во мне лучшего и доброго в моей начинающейся

службе, было сразу несколькими ударами убито, и я, окончательно убедившись, что сделать хотя бы долю того, что хотел, *не могу,* а делать то, что они требуют, *не хочу,* удалился от дел совершенно и стал жить своей личной жизнью до того благого дня, когда буду иметь возможность порвать все с военной службой (я, как кончивший училище, обязан по закону прослужить не менее трех лет, раньше чего ни под каким видом не могу покинуть службу).

Я довольно долго после этих первых столкновений с действительностью военной службы ходил мрачный и в полнейшей апатии. Развлекло меня одно происшествие моей частной личной жизни. Живя от воскресенья до воскресенья (то есть от балета до балета) жизнью в товарищеской компании карт и пьянства, я встретился однажды на пирушке у товарища поручика Л. с одной кронштадтской демимонденкой*. Это была разведенная жена одного морского офицера, которая известна была в нашем кругу за особу весьма эксцентричную и с либеральными взглядами на жизнь. Л. устроил по случаю своих именин у себя на квартире товарищескую пирушку с солидным пьянством и картами, и она была единственной дамой среди 11 человек офицеров. Это была высокая, стройная, очень красивая шатенка, держала она себя очень тактично весь вечер. Я, как и всегда (черта моей натуры), несмотря на присутствие шампанского и карт, отдал наибольшее внимание этой М. Н. К. Как это случилось, я и посейчас не могу отдать себе отчета, но около 3-х часов ночи, несмотря на соперничество 10 товарищей (за ней <в> этот вечер все бегали как кобели за сучкой), я все-таки поехал ее провожать. Мы взяли директиву не домой, а вокруг всего Кронштадта, стояла роскошная весенняя ночь, и явились вместе к ней (она жила вполне самостоятельно со своей младшей сестрой, которая, конечно, спала), тут появились еще 2 бут[ылки] шампанского, а потом... потом я очнулся не более и не менее как через месяц. Это было что-то дикое и несуразное, но вполне меня захватившее. В моменты пробуждения сознания я ужасно глупо себя чувствовал. Эта женщина, насколько я мог составить себе о ней мнение, была нечто среднее между порядочной особой и кокоткой высшей марки. Я положительно не знал, как себя с ней держать.

Предложить ей денег — нельзя было и думать, от подарков она отказывалась и обижалась, и когда я принес однажды шампанского, фруктов и конфет, то была целая сцена, а эти вещи были отосланы с моим денщиком обратно. Между тем каждый день в течение этого месяца она закатывала у себя ужины с устрицами, икрой, шампанским и фруктами. Жила она довольно богато (впрочем, источника ее средств я так и не узнал, вероятно, получала от мужа и матери, которая довольно богата). В один прекрасный день, узнав, что я играю на пианино, приобрела чудный инструмент Леппенберга* для меня. Кончилось тем, что я днями и ночами от нее не вылезал и стал опасаться, дабы не быть произведенным молвою в испанского короля*. Это была очень неглупая и более чем хорошенькая женщина (по крайней мере, в Кронштадте считавшаяся чуть ли не самой интересной), и, следовательно, помимо всех своих чувств я еще был на высоте удовлетворения самолюбия, ибо знал, что многие наши и морские офицеры добивались и не добились даже доли моего положения (это, собственно, было положение гражданского мужа). Она сумела замечательно тонко замаскировать наши отношения, и мы в течение месяца неразлучно бывали всюду, ездили вместе в Петербург, в балет, потом ужинали tête-à-tête где-нибудь в кабинете хорошего ресторана и возвращались «домой». В апреле мы поссорились... кажется, на почве ревности. Ну, одним словом, я перестал у нее бывать (вернее, стал бывать у себя в квартире), она же исчезла в Петербург и потом куда-то в Новгород или Старую Руссу на неделю.

Я кинулся опять в жизнь Мариинского театра, исповедался А. П. в своих грехах, получил прощение и успокоился.

В конце апреля мы торжественно закрыли балет, попьянствовали с горя около недели, и жизнь потекла опять тихо и мирно. Я водворился на батарее, спал, читал, ездил по 30—40 верст в день на велосипеде, а в конце месяца заболел и лег в Кронштадтский Николаевский морской госпиталь. Это было нечто вроде повторения бывшего со мной в училище хронического болезненного состояния, и я пролежал в этом госпитале 2 месяца. Скука там невероятная, особенно после такой веселой и удачной зимы. Распускающаяся трава и возрождающаяся природа не радовали, а

злили меня; впрочем, вообще всю жизнь я терпеть не мог весны — это самое нелюбимое мною время года. Я всегда любил и люблю позднюю осень и начало зимы. Я никогда не был любителем и поклонником природы и ко всем ее прелестям отношусь довольно индифферентно, разве что очень люблю в сентябре, когда все дорожки парка в Павловске засыпаны сухими желтыми листьями и когда чувствуется какое-то запустение и простор, мчаться на велосипеде или на лошади по этим замирающим и пустынным аллеям в совершенном одиночестве и слушать шуршание желтых листьев и шум ветра на них... Это довольно своеобразная поэзия, если это можно ею назвать.

За эти 2 месяца в госпитале я перенес много нравственных страданий и неприятностей, и не столько читал и писал, сколько думал. Не знаю почему, я ударился в эти дни в философию и в самокритику, но это факт, и я сделал массу выводов о жизни, науке, искусстве и прочих вещах, которые я и прежде подготовлял в своем мозгу, но не мог и не имел времени вылить в форму системы и последовательности. Особенно конец мая и начало июня я ужасно нравственно мучился и не знал, что предпринять. Мрачные мысли одолели вплоть до решения кончить самоубийством, которое я не привел в исполнение только потому, что, находясь в госпитале, лишен был возможности это сделать; перед выходом же из госпиталя настолько рассеялся и успокоился, что отодвинул исполнение этого на неопределенное время вперед. Мысль кончить жизнь самоубийством засела в моей голове еще давно, и, помимо всех мрачных к тому мотивов, я всегда считал (да и теперь не совсем расстался с этой мыслью), что ждать, пока сама природа приберет, глупо, пошло и недостойно человека разумного и мыслящего, и раз что убедился, что ни к черту не годен и к «счастью» не способен, то и кончай.

В эти годы я взвешивал свою жизнь в минуты такого самоуглубления и решал, что наука, музыка, театр, балет, удовольствия, общество, любовь к женщине (которую, собственно, глубоко и серьезно до лета 1906 года я и не знал) — все это что-то не то, что нужно, а потому достичь счастья невозможно, и, стало быть, нечего своей персоной портить воздух на земле и мешать другим добывать свое

счастье. Такого рода мысли ко мне довольно часто являлись, то есть во всех промежутках той жизни, которую я вел в училище и первые годы в артиллерии. Жизнь эта была и есть так или иначе почти сплошной кутеж или увлечение, а как то, так и другое не давало места мрачным мыслям; зато когда являлись рекреации и перемены в жизни, то мысли эти всегда являлись, и чем дальше, тем в более сгущенных красках. Таким образом, моя жизнь слагалась в два периода, один другой сменявший и один другому являющийся отдыхом. В периоды затишья я ясно понимал, что мрачные мысли могут привести действительно к самоубийству и по инстинкту самосохранения желал скорее перейти ко второму периоду, а в середине второго периода в сознании проскальзывали мысли о безобразии и адском вреде подобной жизни, и тогда я желал скорее перехода опять к первому периоду. Это какой-то заколдованный и безвыходный круг, который я наблюдаю в себе вот уже почти 6 лет. Конечно, причиной такого сложения жизни являются две главные и основные мои черты — *отсутствие силы воли* и *ветреность.*

Уничтожить эти два главных положения мне, наверное, никогда не удастся, и избавиться от них, как от своей тени, невозможно.

IV

Отпуск в Павловске. — Отношения с Л. А. Клечковской. — Офицерская лагерная жизнь на батарее «Александр-шанц». — Позорные стрельбы. — Кронштадтское восстание. — Форт «Павел I»

После операции я вышел из госпиталя и получил отпуск на 2 недели, дабы отдохнуть у себя в Павловске и набраться сил. Мое нравственное и физическое состояние этого требовало, и, судя по всему, это было настолько для меня необходимо, что даже прямое начальство нашло нужным отпустить меня.

Эти 2 недели я прожил в Павловске, природа и жизнь которого рассеяли невольно во мне мои мрачные мысли, и после первых 4—5 дней, окунувшись в общественность и

тамошний моральный режим, я почти вернулся к обычному образу жизни (словом, как многие выражаются, «молодость взяла свое»). Эти две недели своего отпуска я почти сплошь провел в обществе Л. А. К., с которой «опять» сблизился (это слово «опять» мне приходилось уже и придется еще неоднократно упоминать). Значение этого слова «опять» необходимо пояснить, ибо, как я убедился строгим анализом своих чувств и всех мыслей, я эту женщину никогда не любил, но мои якобы любовные к ней отношения поддерживались в течение 3-х лет какой-то странной и непонятной силой самообмана и самоочарования. Впрочем, об этом я еще немало скажу впоследствии.

Эти две недели моего отпуска прошли почти сплошь в наших ежедневных свиданиях и прогулках по 3—4 часа по Павловскому парку, в течение которых мы буквально все время говорили и спорили о деизме, атеизме, философии, метафизике, математике, истории, естествоведении, искусстве, театре, социологии, психологии и т. п. Эти беседы были поистине интересны и увлекательны, и я сплошь и рядом, думая, что 3 часа дня, убеждался, что уже половина девятого вечера. В этих беседах она в большинстве случаев молчала и очень внимательно меня слушала, но своими весьма дельными замечаниями и ответами поражала меня глубиною своего ума и опыта и возбуждала на еще более глубокие рассмотрения и пояснения своих взглядов и трактуемых вопросов.

Мы каждый день встречались в саду их дачи (Садовая ул., дача барона Кусова), где был замечательно живописный запущенный пруд с аллеей вокруг и заглохшей старой беседкой. Часто мы уходили в парк и ходили по 3—4 и более часов, даже не помня, где мы были... В этот период времени я очень ее идеализировал и сравнивал в душе с нею себя, нередко нравственно страдал...

Объяснить себе, что такое «любовь», я не мог в эти годы. Вполне ясно представлять и анализировать это чувство я был не в состоянии, ибо, как и большинство людей моих лет (подразумеваю людей моего круга, склада, воспитания, образования и умственных способностей), долго не мог определить истинность одного мнения среди нескольких имеющихся и борющихся. Я всегда считал и считаю себя

для своих лет человеком достаточно образованным и очень немало читавшим по всевозможным вопросам, но разъяснений по этому предмету *нигде* не нашел. Естественно, что сначала у меня образовались по этому вопросу несколько мнений, из которых основными являлись два: *чувство физическое* и *чувство платоническое*. Но из прочитанных сочинений и из опытов и примеров жизни я сплошь и рядом видел и убедился, что часто мужчину и женщину связывает чувство, не являющееся в отдельности ни тем, ни другим из основных моих представлений. Постигнуть же ясно и определенно этот вопрос и отдать себе в нем отчет мне удалось только при анализе и глубоком рассмотрении сильнейшего из своих чувств (июль и август 1906 года). Итак, мое отношение к Л. А. К. укладывалось скорее всего в чувство платоническое, но в силу какого-то странного самообмана и часто самопринудительного убеждения принимало форму отношений любовных, и, несмотря на то, что я часто упрекал сам себя за неестественности и неправдивости в эти минуты, это не прекращалось в течение трех с лишним лет и имело оригинальный и противоречивый финал...

Использовав все законные и даже незаконные отсрочки своего отпуска, я отправился, наконец, в Кронштадт, где и водворился на батарее «Александр-шанц», где располагалась лагерем моя и 3-я рота. Это был период довольно спокойной жизни, впрочем, меня сильно мучила моя болезнь, ужасно болели ноги и $^1/_4$ дня я проводил в уходе за ними. На офицерской лагерной даче (большая деревянная дача в 8 комнат с кухней) нас жило 5 офицеров (все молодежь), и приезжало на учения и стрельбы столько же. Ввиду неудобства сообщения с городом (6 верст отвратительной шоссейной дороги) мы приноравливались жить своими местными средствами, то есть сплошь и рядом питались картофелем, крупой и в виде роскоши дикими утками, которых сами стреляли (среди нас были охотники и рыболовы-любители), и рыбою. Два вестовых, Петр и Андреенко, приготовляли пищу, убирали комнаты и делали все, что нужно. Каждый из офицеров взял себе какую-либо специальность службы. Один наблюдал за порядком в лагере и присутствовал на поверках, другой заведовал пищей и снабжением, материальной частью, третий артиллерийским имущест-

вом и пороховыми погребами и т. д. Я заведовал распределением нарядов и дежурств 26 офицеров (2-х батальонов) и весьма часто, ко всеобщему удовольствию, назначал самого себя дежурным по расположению лагеря (обязанность — не отлучаться в течение суток, доносить о происшествиях и встречать начальников), чем ежемесячно зарабатывал 20—40 рублей, ибо за это дежурство шло 1 рубль 50 копеек суточных. Раз или два в неделю бывали стрельбы с наших батарей, и тогда мы по примеру других устраивали завтраки и ужины, угощая всех присутствующих (что иногда обходилось не дешево). Эти стрельбы (особенно экспромтные и ночные) являлись часто веселым «partie de plaisir»*. По телеграфу передавали, что едет начальство и офицеры и будет стрельба. Мы вскакивали, извещали лагерь и приготавливали стол. Один из нас мчался на велосипеде в город за покупкою провизии, и после не особенно долгой стрельбы бывал веселый ужин, заканчивавшийся по отъезде высшего начальства «пропоем» на всю ночь. В столовой стояло пианино, на котором я играл, а прочие пели и плясали. Комичнейшим номером было изображение звуками под аккомпанемент пианино «зоологического сада» (слуховое впечатление зазаборных зрителей) в исполнении прапорщика П. Н. Крошевского (педагог-учитель и балетоман, большой мой приятель и милейшая личность). По субботам, а иногда и в пятницу, мы, соблюдая очередь (оставляя одного или двоих), удирали официально или неофициально (последнее чаще) с батареи в Петербург, а я ездил в Павловск. В конце августа состоялась эта знаменитая историческая стрельба, назначенная для смотра великого князя Владимира Александровича*. Несмотря на осторожные и предупредительные замечания, что стрельба ночью, особенно в туман, невозможна, великий князь все же назначил ночную стрельбу (это было вскоре после неудачного портартурского ночного обстрела японского флота, когда вопрос о ночных стрельбах всплыл и занял умы наших высших военных властей).

Это было поистине карикатурное происшествие. Около 10 часов вечера 21 августа вел[икий] князь прибыл на паро-

* Увеселительная прогулка *(фр.)*.

ходе на форт «Обручев», оттуда смотрел и судил своим знающим и умным оком «нашу стрельбу». В стрельбе были заняты 6 батарей (3 островных и 3 береговых) на пространстве 20-ти верст. Цель была движущаяся и проходила в дистанции от 5—9 верст от батарей. В 10 часов все море заволоклось густым и непроницаемым туманом, который тщетно старались рассеять лучи 10-ти прожекторов, направленных из города и со всех ближайших батарей. 3 часа продолжалась бомбардировка невидимой и неведомой цели, и, как оказалось, цель, потеряв надежду получить хоть один снаряд, подходила на дистанцию до $^{1}/_{2}$ версты (!), когда, освещаемая ракетами, делалась даже видна. И все же наутро *во всех 4-х барках не оказалось ни одной пробоины.* И в заключение эта стрельба (это карикатурное посмешище и заведомое «втирание очков») была высоким «штилем» описана в приказах по войскам Петерб[ургского] Воен[ного] округа, где похвалялась прекрасная и похвальная деятельность батарей, особенно батареи «Риф» (моя батарея), *«которая меткими выстрелами уничтожила цель на громадной дистанции»* (эта батарея, на которой я все время находился, произведя *три выстрела* и убедившись в полнейшей бессмысленности и бесплодности дальнейшей траты снарядов, не произвела далее *ни одного выстрела* до окончания стрельбы). Комментарии излишни... (Ужин.)

По окончании лагеря (в конце сентября) я переехал временно в комнату Н. В. Савицкого, который был в месячном отпуску и поселился в квартире ш<табс>-к<апитана> А. С. Бурксера.

За этот месяц я сговорился с одним из молодых офицеров, живших летом на «Александре-шанце», подпоручиком Н. Н. Заркевичем снять вместе на коммунических началах квартиру в 3—4 комнаты. В октябре мы нашли подходящую квартиру в новом, недавно выстроенном доме Голубева по Владимирской улице и сняли ее. Я перевез из СПБ мебель и вещи и стал там жить. Квартира имела 3 довольно приличных комнаты, прихожую и кухню. Мы взяли себе каждый по одной комнате, а среднюю сделали общей гостиной и в то же время столовой. В своей комнате я поставил большой письменный стол, этажерку с книгами, стеклянный шкаф для платья, маленький висячий для белья, кавказ-

скую тахту с ковром по стене, над ней повесил большой портрет А. П. Павловой в «Жизели», напротив повесил большой портрет Е. Поляковой и успокоился. Здесь я прожил всю зиму и весну 1905 года*.

Я ходил ежедневно на занятия в роту, обедал в собрании, спал на своей тахте после обеда или читал выписываемые «Русь» и «Петербургский дневник театрала»*, вечером ужинал в собрании и до поздней ночи играл в «макашку». По средам и воскресеньям аккуратно ездил в Петербург, где посещал балет и иногда застревал в клубах или на вечерах, спектаклях и балах.

В середине октября началось знаменитое Кронштадтское восстание матросов.

Кронштадт представляет из себя город, издавна населенный морским людом, хулиганами и купечеством. Из современных статистических данных на 65 000 населения здесь приходится 40 000 моряков (то есть не только строевых матросов, но всевозможных отставных матросов, боцманов, шкиперов дальних плаваний, лоцманов, фельдшерских морских учеников, кондукторов и массы морских портовых рабочих с женами и семьями). Все это население издавна сплочено общностью жизни и интересов и потому нераздельно. Волнения среди флотских команд и отдельных групп началось еще с июля 1905 года и выражалось постоянными и частыми разбитиями публичных заведений и кабаков, недовольством пищей, обмундировальным снабжением и т. п. За вторую половину 1905 года вообще пища и одежда выдавались как во флоте, так и у нас в артиллерии и пехоте много хуже должного и даже в сравнении с прежним (не знаю, было ли это вследствие войны или просто актом небрежности или «кое-чего другого» со стороны начальства купно с интендантством; вернее последнее), но и у нас в артиллерии нередки стали случаи крайне недоброкачественной пищи (однажды после гороха с явно несвежей свининой из 130 человек роты около *70-ти* отправились в приемный покой околотка с жалобой на болезнь желудка и кровавый понос). Что касается обмундирования, то нижние чины набора 1901 года, не отпущенные ввиду войны в запас, все были одеты отвратительно и вследствие *противузаконного задержания* выдачи обмундирования I срока

ходили оборванцами. Они носили всевозможные отрепья, не имеющие вида формы, и мне неоднократно приходилось встречать форменных хулиганов, отдающих мне честь, и на вопрос, зачем они это делают, я с удивлением узнавал, что они суть солдаты такой-то роты Кронштадтской крепостной артиллерии. Вполне понятно, что недовольство подобными порядками росло у нас и в особенности во флоте и в заключение разразилось громадным бунтом, наделавшим столько шума во всей России.

Среди нескольких офицеров, в числе которых был и я, за одну или две недели до погрома созрела мысль о том, что он неминуем и что от нас во многом зависит принять меры к удовлетворению законных требований солдат и тем оградить хоть артиллерию от участия в бунте. Эти мысли при взаимном обмене привели к тому, что образовалась небольшая группа офицеров, решивших просить начальство и вообще принять все возможные меры к успокоению начинавшегося ропота среди солдат путем всевозможных улучшений их жизни (просить о немедленной выдаче одежды, улучшении пищи, облегчении караулов и работ и т. д., включительно до личной моральной и даже материальной помощи в случае, если начальство ничего не сделает). В середине октября нас набралось до 30-ти человек, и мы решили собраться для обсуждения всех этих вопросов. Таким образом состоялась первая наша офицерская сходка (этого слова многие боялись и старались назвать наше собрание как-нибудь иначе). Обнародованный и прочтенный в ротах знаменитый Манифест 17 октября 1905 года, как я заметил из своих наблюдений, произвел в подавляющем большинстве отрицательное действие. Многие открыто говорили, что «все это сплошной обман и все обещания и сулення уже не новы».

На состоявшуюся вскоре сходку (в квартире штабс-капитана Б.) собралось около 40-ка человек офицеров. После довольно бесплодной 2-часовой болтовни обсуждение вопроса привело к составлению петиции. Во время писания ее $^1/_3$ присутствующих незаметно скрылась, а из оставшихся храбрецами, согласившимися ее подписать, объявилось всего 17 душ; прочие отговорились тем, что «знаете ли, семья, дети и прочее, выгонят, так куда же я денусь», а из

17-ти подписавших половина сделала это исключительно с целью показать свою храбрость и поддержать самолюбие. Само собой, что подавать подобную петицию было абсурдом, ибо комендант выгнать 50 человек никогда не решился бы и даже побоялся, а за 17-ю, из которых, вероятно, половина раскаялась бы, не остановился бы и всех предал бы суду. Так провалились попытки к этому хорошему и доброму делу, а 23-го было уже первое открытое возмущение и заявление претензии в 3-м батальоне артиллерии. Я в этот день был дежурным на батарее «Литке» в трех верстах от города. На батарее находился с 22-го числа эскадрон драгун для охраны города. В 7 часов вечера комендант приказал по телефону выслать драгун с заряженными ружьями карьером к 3-му батальону, где, как я узнал потом, произошло следующее. Солдаты, недовольные пищей и невыдачею шинелей, убедившись в тщетности законных ходов, вышли толпой на плац перед казармою и, послав фельдфебеля за ротным командиром, объяснили ему свою претензию. Когда ротный командир ответил, что он тут ни при чем и «все от высшего начальства и коменданта», они просили доложить свою претензию коменданту немедленно же. Достопочтеннейший генерал Беляев, не разобравши, в чем дело, моментально вызвал драгун и приказал «утихомирить этих мерзавцев». Через $^1/_2$ часа «мерзавцы», спокойно и мирно дожидавшиеся на плацу, были «нежно и кротко» (при благосклонном участии прикладов и шашек) водворены обратно в казарму.

На другой день на Якорной площади состоялся митинг матросов, на котором их присутствовало около 8000 человек, и туда же убегали, очевидно, многие отдельные солдаты из пехоты и артиллерии. Из крепостной пехоты более половины одной целой роты (2-я рота 2-го пех[отного] кроншт[адтского] кр[епостного] батальона) ушло туда со всеми унтер-офицерами и сверхсрочным фельдфебелем (почти все они были впоследствии приговорены военно-полевым судом к бессрочной или долгосрочной каторге). На этом митинге матросы составили длинную петицию и в тот же день подали ее вице-адмиралу Никонову с постановлением 2-суточного срока исполнения. Петиция почти вся состояла из требований чисто экономического характе-

ра (улучшение быта, пищи, права прожития на вольных квартирах) и нескольких пунктов общих: уменьшения срока службы по примеру сухопутной армии, льготы ношения формы и подчиненности вне службы и т. п.

25 октября день прошел совершенно тихо и спокойно, а 26-го началось это одно из громаднейших в русской истории военных восстаний. Началось с того, что в четвертом часу дня из казармы 2-й роты 2-го пех[отного] батальона отправляли под конвоем 47 человек нижних чинов, арестованных за участие в морском митинге. Их вели на станцию крепостной железной дороги для посадки в арестантский вагон и отправки на форт «Павел I». В это же время доставлен был на станцию труп матроса, убитого днем драгунами во время столкновений в одном из экипажей. Около пяти часов большая толпа матросов и посадских направилась к станции за трупом товарища и начала громить станционные постройки. Быстро возраставшая толпа эта разобрала по доскам всю станционную ограду и пыталась освободить находящихся в закрытом вагоне арестованных пехотинцев. Град каменьев и досок летел в караул, приставленный при поезде. Все стекла переднего вагона, в котором находились штабные и пехотные офицеры, были перебиты. Несмотря на увещевания и троекратное предупреждение, буйствующая толпа не унималась. Был дан залп в воздух поверх голов, ответом на что был снова град каменьев и досок в караул, поранивший офицера, караульного начальника и двух солдат. 2-й и 3-й залпы были даны по толпе. Двоих убило и нескольких ранило. Поезду удалось отойти от станции и доставить арестованных (из которых троим удалось во время схватки бежать через разбитое окошечко вверху стены) на батарею «Константин», откуда они были на барже переправлены на стоящий одиноко в море форт «Император Павел I». В это же время (около 6 часов веч[ера]) на углу Михайловской и Купеческой толпа матросов и посадских разбила казенную винную лавку. Большинство водки распили и унесли с собой, остальное уничтожили. Высланные для усмирения $^{1}/_{2}$ экипажа строевых матросов перешли на сторону бунтующих. В 8-м часу вечера все части гарнизона были подняты по боевой тревоге и расположены различными частями по купеческой части города. (Крон-

штадт делился поперек каналом и линией доков на две части, западную и восточную. В западной помещается главная масса частных домов, гостиный двор, 2 рынка, магазины, все кредитные, административные учреждения и казармы всего сухопутного гарнизона. Восточная же почти сплошь заселена морским населением, вмещает военную и купеческую гавани, портовую таможню, морские заводы и все флотские казармы.)

Сухопутный гарнизон состоял в это время из двух батальонов пехоты (около 1000 человек), саперного батальона (около 500 ч<еловек>) и пяти батальонов артиллерии (около 3000 человек). Следовательно, всего было 5000 человек. Поднявшийся же флот располагал более чем 10 000 человек и целым арсеналом орудий и пулеметов, а на рейде имел 12 вооруженных, стоящих под парами миноносцев, 2 крейсера и 1 броненосец. В 9-м часу вечера распространился по городу слух, что матросы разбили кронштадтский арсенал и, захватив все орудия и пулеметы и ввиду прошествия постановленного срока и неисполнения петиции, двинулись большой массой с целью овладеть крепостью и привлечь на свою сторону пехоту и артиллерию. Существовал план, подтвердившийся некоторыми фактами, что матросы решили в случае неудачи и прибытия больших масс правительственных войск сесть на суда и уйти в море, а несколько оставшихся головорезов должны были подготовить взрыв Морской лаборатории (эта лаборатория находится в самой восточной части города позади линии сухопутных казарм и, по слухам, ежегодно осенью, в октябре, бывает наполнена громадными запасами пироксилина и других взрывчатых веществ, всего свыше полутораста тысяч пудов). В 9 часов вечера все вооруженные массы матросов в стройном порядке под командами боцманов направились по двум продольным артериям, Екатерининской и Павловской улицам, к центру города. Все находящиеся в этой части города казенные винные лавки были разбиты и разграблены. В Морском собрании выбили все стекла и произвели полнейший погром (совершенно случайно уцелела библиотека, одна из лучших и ценных в России). С противуположной стороны сухопутные части заняли позиции вдоль всех казарм, складов и казенных домов. На Вла-

димирской и Михайловской улицах поставлены были пушки и размещены 2 эскадрона драгун. Комендант поставил для охраны своей персоны и своего дома добрую треть всех имевшихся в распоряжении сил. Весь сухопутный гарнизон был поставлен в крайне скверные условия: совершенно не знали, с какой стороны ждать нападения, каково количество вооруженных матросов и каковы их намерения. Прибегавшие из восточной части города отдельные солдаты и жители приносили самые разноречивые слухи о количестве и местонахождении матросов. Количество их, по этим показаниям, колебалось между 8 и 15 тысячами, а местом нахождения называли то Козье болото, то портовую часть, то близ центра города. Первое столкновение произошло между пехотинцами и одним или двумя экипажами близ Козьего болота. С наступлением темноты в нескольких местах восточной части вспыхнули пожары и близ Павловской и Козьего болота началась стрельба залпами и пачками, которая вскоре разлилась по пространству всего города и не прекращалась до утра.

Магазины и дома заколачивались ставнями и досками. Мирные жители все попрятались, некоторым удавалось на пароходах, буксирах, баржах и барках продраться в Ораниенбаум или в Сестрорецк. В 11—12 часов по всему городу ужасная бойня. Около этого же времени среди ружейных выстрелов стала в разных местах раздаваться характерная трескотня пулеметов (все они были в руках матросов).

Я находился с 1, 3 и 14-й ротами у железнодорожной городской станции в центре расположения артиллерийских казарм. Настроение стоящих наготове солдат и офицеров было самое отвратительное. Спереди зловещее зарево пожаров и не прекращающаяся ни на минуту стрельба, а сзади доносимое ветром заупокойное пение. (В самое помещение станции свозили трупы убитых, где их поп наскоро отпевал с четырьмя солдатами, составлявшими хор.) Циркулировали самые ужасные слухи и вести: то говорили с уверенностью, что вся пехота уже перебита, а часть артиллерии перешла на сторону матросов, то, что часть матросов прорвалась в западные ворота и захватила Морскую лабораторию. Около 3-х часов ночи матросы ворвались на главную улицу, Николаевский проспект, подожгли огромный

Татарский рынок, разграбили гостиный двор и многие магазины на проспекте. В это время часть солдат 5-го батальона артиллерии отказалась стрелять по матросам. Некоторые из них хотели составить вольную дружину, долженствовавшую мирными увещаниями уговорить матросов к прекращению разгромов и грабежей, другая часть, по слухам, решила присоединиться к матросам и требовала убрать пушки с Владим<ирской> и Мих<айловской> улиц. Орудийная прислуга этих двух батарей после краткого совещания отнесла все заряды обратно в казармы. Рота же пехоты, узнавшая об этом и подоспевшая, дала по нашим артиллеристам залп, уложив на месте 7 человек и несколько ранив. В этом столкновении был ранен пулею в голову командующий 5-м батальоном (полковник Е. В. Б.) и конвой проходившего офицера с поручением (конвой из двух солдат, из которых один пулей в лоб был убит на месте, а другой смертельно ранен пулей навылет). Прекратить эту бойню между частями своего же сухопутного гарнизона удалось с большим трудом, исключительно благодаря умелым распоряжениям 2-х наших артиллерийских офицеров. В пятом часу, в разгаре пожаров и стрельбы, по прилегающим к проспекту улицам ходили поодиночке и группами солдаты, матросы и посадские хулиганы (часть их была вооружена матросскими ружьями) и проносили массы награбленных товаров, тут были четвертные водки, сахарные головы, куски сукон, готовое платье, гитары, гармонии, всевозможные мелкие вещи из галантерейных, часовых, посудных и других магазинов. Многие посачи и матросы были до того пьяны, что их даже утром не могли отличить от убитых и мертвых и многих подобных отправляли в покойницкую околотков, где они по вытрезвлении воскресали.

Около 7 часов утра стрельба стала несколько стихать, распространился слух, что матросы отступили и садятся на суда, дабы, выйдя в море, бомбардировать город и крепость и взять форты...

С рассветом стрельба стала реже, но все еще не прекращалась. За Владимирским собором начался новый громадный пожар. (Говорили, что поджигавшие матросы перепоили водкой всех пожарных и не давали тушить.) Разнесся слух (впоследствии подтвердившийся), что вызванные из

Петербурга и Петергофа войска вышли на трех больших пароходах, но не могли подойти к Кронштадту, ибо матросы вооружили все пристани и порт и встретили подходивших залпами и картечью.

В 4 часа утра я был выбран от лица младших офицеров 3-х рот и доложил о своем желании пробраться к комендантскому дому и доложить коменданту о необходимости ввести хотя бы на $^1/_2$ часа людей в теплое помещение и напоить чаем. Напряженное нервное состояние и непрекращающийся холодный осенний дождь довели и людей, и офицеров до полуобморочного состояния. Получив разрешение и двух конвойных солдат, взяв с собой 2 заряженных браунинга, я отправился в эту приятную прогулку. (Неизбежно было пройти мимо волновавшегося 5-го батальона и самый опасный квартал Михайловской улицы, где произошло несколько главнейших столкновений.) Пробираясь осторожно вдоль заборов и домов, мы достигли благополучно Михайловской улицы, где, впрочем, по нас было дано несколько отдельных выстрелов из окон домов. На перекрестке Владимирской мы попали в сферу двух пехотных залпов, но все обошлось благополучно и я добрался до коменданта. В это время он объяснялся с посланными от Кронштадтского взаимного кредитного общества и сберегательной кассы, которые умоляли дать хоть полуроту для защиты этих учреждений, и славный генерал Беляев ответил, разведя руками, что у него свободных войск положительно нет... *(его собственную особу и дом охраняли около 4-х рот пехоты, 2 роты с двумя батареями артиллерии и почти целый эскадрон драгун)*. Я благополучно вернулся к своему расположению и повел свою полуроту в манеж, где им дали чай.

27-го утром около 11 часов в Кронштадт все-таки прибыли (обходом вокруг острова и через форт «Константин») 2 полка пехоты: Енисейский, Омский и часть Иркутского. Первыми прибыли 2 батальона 23-го пех<отного> Иркутского полка и одна пулеметная рота (которую находящийся на форту «Константин» сформированный из частей гарнизона железнодорожный батальон пытался было не пропустить в Кронштадт). Эта пехота и пулеметы были привезены с «Константина» на 4-х поездах, причем после прибы-

тия последнего поезда машинисты и вся железнодорожная прислуга снялась с работ и забастовала. К трем часам дня 27-го стрельба стихла и водворилось затишье. К сумеркам были слышны в разных частях города отдельные залпы и выстрелы и догорали пожары. Артиллерия и пехота, ничего не евшая вторые сутки и стоявшая все время на ногах, были страшно утомлены. Караулы в городе и на фортах не были сменены двое суток. К ночи 27-го матросы отошли в портовую часть города и подняли и развели за собой все мосты через каналы.

Я счастлив, что в течение этих двух дней и двух ночей ни одна из рот, с которыми был я, не столкнулась с матросами и не дала ни одного залпа и даже ни одного выстрела, ибо я наотрез отказался бы руководить в этом деле своими солдатами, и тогда... За это время я, впрочем, неоднократно в частном разговоре со своим ротным командиром дал ему понять, что если у нас будет столкновение с матросами, то я не только лично стрелять, но и командовать и даже присутствовать при этом не стану и в случае невозможности этому противодействовать просто уйду домой или совсем вон...

28 октября восстановилось некоторое условное спокойствие и офицеры вздохнули свободно, имея возможность хоть 2—3 раза в день сходить на $^1/_2$ или 1 час домой или в собрание. Что же касается меня, то мне посчастливилось попасть в караул на этот злосчастный форт «Павел I», куда отправили арестованных пехотинцев, примкнувших к матросам. Когда я получил бумагу с этим назначением, то в первые минуты пришел в такое отчаянье, что готов был пустить себе пулю в лоб: не спавши третьи сутки, нервным и расстроенным донельзя ехать в этот ответственный и опаснейший караул было прямо свыше сил человеческих. Некоторые товарищи советовали мне перед отъездом написать письма родным и близким и духовное завещание (на этом совершенно изолированном форту были арестованы около пятидесяти главнейших участников восстания из пехотинцев, караул же весь состоял из шестнадцати человек солдат, да еще ходили слухи, что матросы обещали арестованным обстрелять и захватить форт, дабы их освободить). Таким образом, перспектива быть караульным начальни-

ком в подобном месте была несколько более чем рискованной. Тем не менее пришлось ехать. Я с караулом (этот караул был из солдат 5-го батальона) сели в 12 $^{1}/_{2}$ часов дня на буксир и обходом приехали на <форт> «Павел». Там я сменил сидевшего два дня этого форменного болвана, штабс-капитана Ш. (он получил впоследствии Станислава 3-й степени за дела против матросов), и просидел там 28, 29 октября и лишь 30-го днем был сменен. Эти 48 часов будут для меня памятны всю жизнь.

Форт «Павел I» представляет из себя одно из стариннейших морских укреплений России, заложен лично Императором Павлом Петровичем и при нем возведен. Это высокая каменная мрачного вида башня, выходящая своим фундаментом прямо из моря и имеющая в середине геометрически правильный пятиугольный дворик, совершенно запущенный и заросший гнилой травой. В середине его помещаются каменный крест и столб с колоколом. Назначение как того, так и другого ни мне, да и, кажется, никому совершенно неизвестно. Как военная сила этот форт уже с 50 лет как потерял свое значение и давно уже служит лишь складом пороха и артиллерийского имущества и сравнительно недавно стал выполнять функции места заключения наиболее опасных арестантов. Бежать с него нет возможности (конечно, без посторонней помощи), ибо вокруг на далекое пространство вода, и единственный выход — это утопиться. Кроме трех отдельных помещений (караул, дежурная комната и каземат арестантов), все остальное глухо, темно и необитаемо уже много лет. (Я ходил и рассматривал эту вековую пыль в верхних помещениях башни, когда-то бывших батареями, и испытывал чуть ли не впервые в жизни чувство какой-то таинственности и страха от этой пустоты и мрачности.) Для человека с предрассудками трудно выдумать более страшное и таинственное место во всей России; про этот старый и запущенный форт давно ходит масса самых отчаянных рассказов и легенд. Даже солдаты, бывавшие здесь зимой в караулах, утверждают, что слышали по ночам шум в заколоченном каземате, бывшем ранее церковью или часовней, а другие говорят, что видели даже в просветах между бастионами высокую фигуру Императора Павла в белом мундире и рейтузах, и высо-

ких черных сапогах... Действительно, даже отбросив всю эту чепуху, форт этот представляет из себя нечто настолько мрачное и ветхое, что даже самую здравую голову может навести в течение долгой бессонной ночи на всякие легенды и воображения. Сама конструкция его старой башенной постройки с массивными чугунными дверями, с двуглавым позеленевшим орлом и инициалами «П» многое в этом смысле говорит. На стене в дежурной комнате висит ключ от ворот форта весом в 8—10 фунтов, величиной в $^{1}/_{2}$ аршина с таким же инициалом, и, взяв его в руки, я невольно много передумал об этом старинном символе когда-то грозного форта, а ныне рухляди, наводящей уныние и суеверный страх даже на проходящие мимо иностранные торговые суда.

V

В карауле. — Возвращение к мирной жизни

СПБ Коменд<антское> упр<авление>.
8 мая 1907 года.

Когда отъехал бывший караул, я походил с час взад и вперед по дежурной комнате и решил, что единственный возможный способ оградить себя и караул от вражеского отношения со стороны арестованных и избежать тем возможные несчастия и неприятности — это отнюдь не притеснять арестованных, а наоборот, постараться доказать им по возможности желание офицера и караула сделать все возможное для облегчения их жизни и участи. Конечно, они в большинстве сознавали, что многие из них будут расстреляны и казнены, а остальные сосланы в каторгу и поселение, и такие люди, что бы они ни сделали, еще ухудшить свою судьбу никак не могли, ибо больших наказаний и не существует, и, следовательно, в деяниях своих ровно ничем не рисковали бы, и, вероятно, многие в душе желали лучше броситься с форта и утопиться, чем быть повешенными. Из этого всякому понятна вся громадная ответственность подобного караула, где за каждый волос арестованного рискуешь заплатить всей своей карьерой и участью подчиненных

16-ти человек караула. После некоторой довольно тяжелой внутренней борьбы я снял шашку, кобуру с револьвером и в одном мундире и безо всякого оружия перешел двор и вошел в самый каземат к арестованным. Часовые, видно порядочно трусившие арестантов, смотрели на меня как на рехнувшегося. Называть себя храбрецом я отнюдь не желаю, ибо это даже было бы и не верно. Мой поступок стоил мне немало напряжения силы воли, я чувствовал и понимал, что был в эту минуту бледен как полотно, но сделал это потому, что это было необходимостью и наилучшим в моем положении и выводом немалого умственного труда... При моем появлении почти все арестованные встали (против моего ожидания)... «Здорово, братцы!...» — «Здравия желаем Вашему благородию...» — «Кто у вас старший, подойди ко мне». Выходит пожилой, лет 40-ка, фельдфебель с сорванными, как и у всех, погонами. «Хорошо ли вас здесь содержат, получаете ли пищу, свежую воду и т. д.». Оказалось, что в течение 2-х последних дней, кроме черствого хлеба, ничего не ели, ни чаю, ни сахару не видели с момента ареста и т. д. С первой же минуты такого ко мне отношения я внутренно успокоился и, пробыв там около 10 минут, обещал сегодня же вытребовать из штаба провиант, уничтожить «выводы» (ибо при отсутствии возможности бежать они даже бессмысленны), и, словом, когда уходил, то чувствовал и понимал установившееся уже дружелюбное и почтительное к себе отношение. Я не ошибся, что, уничтожая «выводы» и оказывая этим доверие по отношению к арестованным, я достигну лучших результатов, чем всякими замками, запорами и прочими ружейными строгостями. Убедившись затем, что провиант, мною вытребованный, ранее следующего дня все равно не придет, я пошел в караульное помещение и узнал у старшего фейерверкера, что в караул взято провизии на 4 дня. Тогда я, совершенно исторгнув «начальническое отношение», стал советоваться с караулом, не уступить ли арестованным свой двухдневный запас, ибо они почти двое суток ничего не ели, а завтра провизия придет и мы получим свое обратно. Послышались самые одобрительные возгласы: «Отдадим, братцы, отдадим, ведь они чай тоже люди и жрать хотят пуще нашего, надо накормить бедных землячков»... и т. д. В финале

добрая половина караула под моим собственным наблюдением варила щи и кашу, резала хлеб и т. п. Я лично, засучив рукава, мешал скалкой в котле щи и пробовал их, а когда было готово, то накормили арестованных, и вся эта история привела прямо в восторг как тех, так и других и раз навсегда устранила (по крайней мере, на моем дежурстве) возможность бедственных столкновений и прочих зол.

Под утро я совершенно спокойно соснул часа на два, а когда был разбужен известием, что пришла барка с провизией и дровами, то разрешил самим арестантам ее разгрузить. Надо было видеть, с каким рвением они таскали и складывали на двор бревна и поленья и по окончании в полном порядке построились и вернулись в каземат... Вот где действительно можно постигнуть и изучить психологию русского мужика, зашитого в военную шкуру... Таким образом я окончательно упрочил уважение к своей персоне и чувствовал себя остальные сутки, наверное, в 100 раз спокойнее моего предшественника шт<абс>-кап<итана> Ш. 30-го, когда подходил буксир со сменой, арестованные уныло и с видимым сожалением прощались взглядами со мной и находились в неизвестности, каков-то будет следующий офицер и не придется ли подохнуть голодной смертью. Я, убедив, насколько было возможно, сменявшего меня офицера в разумности и необходимости продолжения моей тактики, благополучно отплыл.

Вечером я уехал в Петербург и, только очутившись в своей ложе в Мариинском театре, первый раз свободно вздохнул за эту неделю, и тут только, под звуки пролога «Спящей красавицы», я ясно понял, сколько пережил фактов, при которых зависел весь целиком от самых ничтожных и мелких случайностей, которые тысячу раз могли повернуться и все изменить и все уничтожить. Никогда в жизни, ни прежде ни после, я не упивался с таким удовольствием этими знакомыми мелодиями Чайковского, этим светом, знакомой толпой, этими людьми, которые не были ни матросами, ни пехотинцами, ни артиллеристами, ни голодными, несчастными арестованными... Вообще впечатление было такое, какое, вероятно, бывает у людей, заживо похороненных и выкарабкавшихся счастливо из гробов. Некоторые танцовщицы и знакомые спрашивали, что со

мной и не болен ли я, ибо, вероятно, у меня был вид человека, прошедшего без отдыха и пищи через Сахару или что-нибудь вроде этого. Да это и не мудрено, больше половины кронштадтских офицеров так выглядели после этих милых дней. Еще, по крайней мере, с неделю напряжение нервов настолько сохранилось, что я почти каждую ночь по нескольку раз просыпался в холодном поту от воображаемого залпа ружей или трескотни пулеметов. Теперь я вполне оценил «Красный смех» Леонида Андреева и понимаю, что должны чувствовать эти люди там, в Маньчжурии, живя целыми месяцами при подобной обстановке...

Весь ноябрь месяц Кронштадт представлял какую-то миску, переполненную войсками всех родов оружия и массой судейских, производящих дознания и следствия. В собрании, вечно переполненном массой пришельцев, с утра до вечера стоял гам и гвалт этих храбрых и энергичных на словах (когда уже все прошло) не усмирявших усмирителей. Введено военное положение, Беляев, как слышно, получил Высочайшую благодарность и представлен к ордену (за что??!!). На всех физиономиях видно облегчение и удовольствие.

VI

Офицерское застолье. — Обострение болезни. — Военно-клинический госпиталь. — Необходимость лечения на Кавказе. — «Движение бумаг» в военном ведомстве. — Экзаменационный спектакль выпускников Императорского театрального училища. — Отъезд на Кавказ. — Колония Красного Креста. — Нравы в закрытых военно-учебных заведениях

Пятигорск. К<олония> К<расного> К<реста>.
17 июля 1907 года.

Самыми неприятными гостями нашего собрания явились г-да офицеры л<ейб>-гв<ардии> Преображенского полка. Эти господа с самого начала стали держать себя как усмирители и победители (хотя никого не усмиряли и не побеждали) и в силу этого отнюдь не чувствовали каких-либо обязанностей по отношению к собранию и его насто-

ящим хозяевам. Это хамье не считало нужным даже быть вежливыми, и сплошь и рядом в калошах, пальто и фуражке вваливались в столовую и, ни с кем не здороваясь, подходили к стойке пить и закусывать, а потом в этих же костюмах лезли в читальню и, развалившись на диванах, изволили читать «Новое время» и «Московские ведомости»* — так поступали блестящие гвардейцы, люди из высших аристократических семей, кончившие Пажеский корпус и т. д. И простым армейским крепостным артиллеристам приходилось делать им замечания и учить элементарной вежливости. Этот блестящий сброд хамов сидел на наших шеях в течение всего ноября.

Я за этот период времени весьма прилежно посещал петербургские клубы и выигрывал, и проигрывал, и приписывал, и отписывал мелом... Играл почти всегда в компании с М. К. Ральфом и часто засиживался и ночевал в «треугольном салоне» А. М. Медникова. 6 декабря мой кронштадтский сожитель Н. Н. Заркевич был именинник, и мы решили устроить на своей квартире «раут». Н. Н. целый день с утра хлопотал о винах, заливных и пломбирах, а я устранял лишние вещи из квартиры на чердак и устраивал стол. К вечеру явилось около 20 человек офицеров и 3 цирковые танцовщицы, и грянул бой... Это было здоровеннейшее пьянство. Стол был накрыт весьма оригинально: у каждого прибора красовалась целая бутылка «самодержавной», а посреди стола в виде резерва стояла еще четверть. Началось это дело около 10 вечера (до 10 работала рулетка), а кончилось в 9 утра (то есть к 9 часам за вычетом «полегших на месте» остальных «унесли»). В середине ужина начались бесконечные тосты, причем самый красивый тост был бесспорно мой, ибо я влез на стул ногами и, подняв бокал, начал что-то говорить, но на третьем слове поскользнулся и растянулся во весь рост на столе, прикрыв своим бренным телом несколько блюд и угодив мордой в провансаль. После ужина начались «оживленные танцы», во время которых, впрочем, часто падали, и для восстановления равновесия приходилось прибегать к помощи вестовых. Псаломщик, живущий под нами, прислал с жалобой, что у него «обсыпалась с потолка штукатурка и падают картины». К утру наиболее слабые лежали вповалку в остальных

комнатах. Особенно хорош был номер, когда из-под стола раздался сквозь сон вопрос: «А чья у меня во рту шпора?» — оказалось действительно, что поручик М. ухитрился, растянувшись на ковре, угодить шпорой в рот прапорщику К. Около 3 часов дня на другой день совершилось пробуждение и распределение по своим квартирам наших милейших гостей.

К концу декабря я стал себя очень скверно чувствовать. Злосчастная болезнь так разошлась, что я потерял окончательно сон. Ноги болели отчаянно и не давали покоя ни днем ни ночью, но я с невероятным усилием превозмогал себя и продолжал разъезжать по театрам и гостям. На Рождество опять началась нескончаемая канитель с Л. К. — я почти ежедневно сидел там до 3—4 часов ночи... В начале же января больше не вынес и 3-го отправился в СПБ Военно-клинический госпиталь. Утром я приехал, а вечером получил вторичное приглашение явиться в Александринский театр на «бал в фойе». Само собой, что это было невозможно, да и при возможности было бы крайне нелепо, хотя мне и хотелось ехать. Клинический госпиталь и особенно судебно-медицинское его отделение, где я лежал, поражало всякого вновь прибывшего отчаянной грязью и отсутствием всяких гигиенических условий, столь необходимых для тяжелобольных. Форточка не отворялась по месяцам, а «удобства» представляли настоящую помойную яму, к которой даже приблизиться было противно. Кормили нас там так паршиво, что, только сильно проголодавшись, можно было прикасаться к этому «подобию пищи», в большинстве же случаев, когда мне не приносили из дому, приходилось довольствоваться молоком и булкой. Мясо почти всегда было несвежее, сильно лежалое и сухое, как дубленая кожа, а от супов и щей воняло, как из сточной канавы. Я поражался аппетиту и нетребовательности одного штабс-капитана, который, несмотря на частое присутствие в щах инертных веществ и даже существ, вроде тараканов, спокойно выкладывал их из тарелки, а щи съедал. Финалом, после которого я выписался, было извлечение из борща грязной тряпки величиной вершка в три. Выписавшись, я ровно ничего не потерял, ибо и здоровье за 3 недели лежания в госпитале не улучшилось. Стало ясно, что улучшения

можно было ожидать только на минеральных водах на Кавказе, и при уходе из госпиталя профессор Павлов высказался за необходимость поездки на воды. По предложению ассистента Яковлева я записался на амбулаторное лечение и получил таким образом возможность пробыть как бы в отпуску в Петербурге целый месяц.

Этот месяц я прожил дома тихо и довольно скромно. После балетов самый легкий ужин и скоро домой. 2 раза в неделю ездил в госпиталь на перевязки, ездил по большей части вместе с кузиной Т. Р. Казбек, которая ухитрилась при падении с велосипеда сломать руку и теперь ездила в этот же госпиталь на массаж. На обратном пути из госпиталя почти каждый раз заезжал в Экономическое общество офиц<ерского> гвард<ейского> корпуса, где состоял членом и имел кредит на 150 рублей в год, а потому и набирал как нужные, так и ненужные вещи. Позволил я себе несколько разойтись лишь 29 января, ибо это был прощальный бенефис А. Ф. Бекефи, и А. П. Павлова впервые исполняла заглавную роль в «Дочери фараона». Само собой, что я отколотил себе руки, а после бенефиса за общим ужином у Лейнера вместе с бенефициантом солидно надрался, после чего вся наша компания, громко исполняя на губах «Марш Нубийского царя», шествовала по Большой Морской.

Еще в дни лежания в госпитале я подал рапорт о поездке на казенный счет на воды. Медицинское свидетельство о необходимости для меня лечения водами было подписано шестью «светилами науки», генералами от медицины, и поэтому я успокоился и почил на лаврах. Но дни шли, а результаты что-то не выяснялись. Прошел февраль, прошел март, а в Управлении артиллерии не было ни слуху ни духу из Окр<ужного> мед<ицинского> управления, ведающего отправкой офицеров на воды. Наконец в апреле я по совету доктора Е. Н. Иванова съездил в госпиталь, дабы поторопить «движение бумаги», и каково же было мое удивление, когда она оказалась на том же месте, как и 2 $^{1}/_{2}$ месяца назад! Я был еще так неопытен, что не знал общего закона движения бумаг в Военном ведомстве, по которому бумажка, долженствующая пройти 3 или 4 инстанции, неизбежно отдыхает в каждой по 2 месяца (это срочная, а несрочная

иногда и дольше). Тогда, взяв лично свой рапорт и свидетельство, я отвез его в Кронштадт, сдал адъютанту с просьбой отправить как возможно скорее в Окр<ужное> мед<ицинское> упр<авление>. Адъютант обещал, и я опять успокоился, но через месяц (в начале мая) узнал, что бумажка благополучно еще находится в Кронштадте! Тогда, взяв ее вторично, я повез в Петербург и сам представил в Окр<ужное> м<едицинское> у<правление>, но оказалось *поздно,* и я на казенный счет на воды не попал! Таким образом, благодаря адъютанту ш<табс>-к<апитану> Егупову я потерял столько времени, труда, надежд и необходимое до зарезу мне лечение. Оказалось, что господину Егупову, собирающемуся собственной персоной на воды, совершенно не выгодно было давать ход подобным же просьбам других офицеров. Вот тут только я понял, близко соприкасаясь с этим, всю негодность, несправедливость и глупость наших бюрократических бесконечных рапортов, отношений, предписаний и прочей сволочи, цель которой — марание бумаги и масса бесполезного писарского труда, а результат — задержка и просрочка буквально всех дел и заполнение никому не нужных архивов папифаксами «с приложением казенной печати». В конце концов, не имея возможности и средств на поездку и лечение целиком на свой счет, я по совету того же доктора Е. Н. Иванова подал прошение в Главное упр<авление> Красного Креста, и хотя за поздним временем ваканций уже не было, но все же я получил бесплатный проезд туда и обратно и рекомендацию для приема в Колонию Пятигорска с помесячной платой.

9 апреля состоялся экзаменационный спектакль окончивших воспитанниц и воспитанников И<мператорского> т<еатрального> училища, балетного отделения. Я приобрел себе кресло 1-го ряда и, направив свой бинокль Цейса на сцену, стал ожидать появления Л. К. В 1-м ряду восседали все «старейшины», и потому я невольно чувствовал себя как на Олимпе. Сзади меня, во 2-м ряду, сидела А. П. Павлова со всем синклитом своих поклонников. Эти экзаменационные спектакли интересны, между прочим, тем, что публика вся почти исключительно своя, то есть балетоманы, артисты балетной труппы, администрация и родители экзаменующихся. Эти папаши и мамаши молодых танцов-

щиц ужасно волнуются, даже более своих дочерей и сыновей, и ловят на лету слова и замечания «опытных балетоманов», и с замиранием сердца ожидают аплодисментов после вариаций своих чад. Мне весь этот выпуск был хорошо знаком, я знал и родителей и родственников почти всех экзаменующихся и впервые почувствовал себя «человеком со значением», иногда в антрактах в коридорах и полицмейстерской папаши и мамаши спрашивали моего мнения и с трепетом ожидали приговора. Впрочем, откровенное мнение можно было высказывать лишь некоторым, наиболее спокойным из папаш, ибо мамаши, большей частью с бледными лицами и плачущими от волнения голосами, сжимая руки до боли, лишь повторяли: «Но ведь правда же хорошо? Ну да скажите же, что хорошо, ведь вы аплодировали ей после двойных туров, а как она делала антраша-сис и последний аттитюд?..» Приходилось успокаивать, что «все она делала превосходно» и что, по-видимому, это будущая Павлова II или Леньяни!.. Во втором антракте А. И. Клечковская, ужасно взволнованная, просила меня «успокоить Лиду» своим мнением. Я написал на визитной карточке несколько слов: «Прекрасная элевация, идеально чистые заноски, побольше смелости, и тогда ты бесспорно будешь лучшая из всех», — сложил это в конверт и отдал мамаше для передачи в уборную дочери. Это мое мнение было действительно правдиво, и даже вся «безобразовская артель» признавала открыто, что К. — лучшая из всего выпуска, а затем шла Смирнова, а из мужчин — В. Ф. Нижинский.

Но вот кончился «Принц-садовник» и дивертисмент, занавес опустился, и мы хлынули к Крюкову каналу, к школьным колымагам, и через $^1/_4$ часа потянулись стройно по парам «будущие знаменитости» в темно-зеленых салопах и чепцах. Я каким-то чудом ухитрился влезть в карету, успел сказать «несколько теплых слов» и поцеловать руку К. ...и, о Боже, каким уничтожающим взглядом и страшным «ах!..» огорошила меня знаменитая инспектриса Лихошерстова. После этого спектакля состоялся удивительно веселый ужин, который окончился через... 3 дня. Вот тут-то и произошел редкий номер, когда я, Стрекачев, Савицкий и Н. Л. Гавликовский в 4 часа утра, выйдя от Лейнера, на-

правились в знаменитую гостиницу на углу Офицерской и Прачечного переулка и, попив до 6 часов пиво, улеглись вчетвером на одной кровати спать. Мы долго спорили из-за мест на кровати, и в заключение Гавликовский лег к стенке, а я с краю, остальные двое посредине (кровать была необычайной ширины). Утром Гавликовский вспомнил, что у него урок танцев в каком-то училище, и ушел, разместив наши тела на кровати более равномерно. Около одного часу я проснулся и удивился, почему нет... Дениса. Проснувшийся Стрекачев стал утверждать, что ушел вовсе не Денис, а Стрекачев, а Савицкий обозвал нас дураками, которые не могут сообразить, что ушел только Савицкий. В заключение оказалось, что каждый из нас вообразил себя Гавликовским, а отсутствующее 4-е лицо называл своим именем. Впрочем, после нескольких бутылок содовой с лимоном и холодного душа этот алкоголический психоз прекратился. Не знаю почему, нам всем троим захотелось отправиться в фотографию Императорских театров, что мы и сделали. Каждый приобрел себе по карточке (Савицкий — Л. Ц. Пуни, Стрекачев — В. А. Трефиловой, а я — А. П. Павловой). Затем, спустившись лифтом вниз, влезли на сцену и исполнили pas de troi («Ночь» Рубинштейна). Не знаю, чем это кончилось бы, если не явился сторож с выкаченными на лоб от обалдения глазами и не удалил бы нас. Тогда мы отправились завтракать к Кипу и испортили там печку, а мне, пока я играл на рояле, высыпали на голову целую перечницу. Наконец, на 3-й день я попал домой в Павловск вместе с Стрекачевым, где, пытаясь что-то сыграть в 4 руки на рояле, мы заснули.

30 апреля, в день закрытия сезона («Лебединое озеро»), когда А. П. Павлова и В. А. Трефилова были произведены в балерины, было «еще одно последнее сказанье», закончившееся, кажется, поездкой по Морской верхом на извозчичьих лошадях, а затем понемножку сезон затих.

16 мая я получил 4-месячный отпуск и третное жалованье (из которого, впрочем, за массой вычетов получил на руки всего 117 рублей) и исчез из Кронштадта.

21 мая состоялся акт в Театральном училище, на котором я, конечно, присутствовал. Удивительно трогателен традиционный молебен в Казанском соборе, на котором,

как стадо овечек, стоят молодые танцовщицы в белых парадных платьях и белых шляпах, а потом традиционное же катанье в экипажах по Невскому и набережной Невы. После обеда я со всей семьей Клечковских отправился в Павловск на музыку, где состоялся интересный ужин. Были также М. Ф. Кшесинская, К. М. Куличевская и другие артистки, вездесущий и неизбежный Миша Александров и др. Распрощавшись перед отъездом трогательно с М. Ф., я, «сильно вибрируя», пришел домой. 22-го я закупал необходимые для дороги и для Кавказа вещи, а 23-го поехал. Ехать я решил вдруг, совершенно неожиданно, так что почти никто не знал, что я уезжаю. Я позавтракал у Е. А. Х., отправил багаж на вокзал, а сам поехал к К. пробыть там последние часы в Петербурге. Дома ее не оказалось, и я разыскал ее только в конторе Имп<ераторских> театров, где она наносила визиты директору и Вуичу. Проболтав около часу, мы, дав друг другу слово в верности и частой переписке, адски трогательно простились, и я поехал на вокзал. На посланную домой телеграмму успела приехать на вокзал только сестра, которая меня и проводила. Ехал я дальше Москвы первый раз в жизни и потому в ожидании интереса путешествия чувствовал себя хотя и немножко грустно, но в общем приятно. В дороге до Москвы я разговорился с маленьким кадетиком 2-го корпуса, который рассказал мне нынешнее состояние и порядки нашего «alma mater». Почти со всех больших станций вплоть до Кавказа я отправлял письма и открытки Л. К. и домой. В Москве зашел на $^1/_2$ часа к Рыбиным и по традиции в фотографию Фишера, сел в 12 часов на прямой скорый поезд и покатил дальше. Мой интерес к новым местам и впечатлениям довольно скоро прошел, ибо все станции за Москвой оказались грязными и скучными постройками, а дорожные ландшафты удивительно однообразными и скучными. Вскоре я разговорился и затем в течение двух суток до самого Кавказа очень интересно беседовал с ехавшим в одном купе со мной профессором математики Электротехнического института Листопадовым. Этот господин оказался настоящим складом всесторонних знаний и громадного опыта, и притом очень разговорчивый. Между прочим, он мне сообщил массу интересных сведений о только что скончавшемся К. А. Скальковском, которого

лично знал и даже имел общие дела. Я жалею, что не могу записать этих рассказов, которые составили бы целую брошюрку удивительных деяний этого инженера-горнопромышленника-публициста-путешественника-балетомана-моралиста-развратника-химика-музыканта-русского-парижанина и т. д., словом, этого поистине редкого и интересного человека, везде бывшего, все знавшего и чем угодно занимающегося. Скальковский, будучи директором Горного Департамента, строил железные дороги, писал рецензии и книги о балете, проповедовал морали честности, отчаянно брал взятки, сочинил музыку к 2-актной оперетке, распространялся в течение 20-ти лет в «Новом времени» на самые высокополитические темы и бегал за парижскими кокотками... Осенью, прочтя в газете об аукционе вещей покойного Скальковского, я весьма заинтересовался и пошел. Аукцион продолжался 3 дня, распродавалась целая масса художественных произведений, это был аукцион музея. Его обстановка так прекрасно гармонировала с ним самим и столь ясно обрисовывала личность ее владельца, что даже не знавший его человек мог составить себе довольно ясное представление о жизни и деятельности ее хозяина. Здесь рядом с дорогой и редкой коллекцией горных пород продавался тамбурин В. Цукки, и рядом с огромной научной библиотекой стояла серия самых легкомысленных сюжетиков Каррье-Белёза*. В одном альбоме рядом с портретами министров и профессоров находились карточки цирковых наездниц с отчаянными надписями...

Так мило мы проболтали до самой станции Минеральные Воды, когда на горизонте показалась первая гора. Я, проживший безвыездно всю жизнь на севере, вполне естественно ожидал с нетерпением увидеть настоящую гору и, признаться, был сильно разочарован, ибо так называемое Пятигорье оказалось площадкой, на которой раскинуто в живописном беспорядке 10—12 гор, из которых разве единственная Бештау удовлетворила мои ожидания. Это действительно красивая и довольно высокая (5400 ф<утов> гора, которая по мере движения поезда (жел<езная> дорога огибает ее вокруг) принимает новые и новые очертания и цвета. За три дня пути мне порядочно надоел вагон, и я с нетерпением ждал Пятигорска и помню, как назло, лопнул

рычаг тяги в паровозе, и пришлось стоять посреди пути почти 1 $^1/_2$ часа до прибытия другого паровоза. Оказалось, что здесь это обыденная история, спустя же месяц я убедился, что во всей России нет подобной отвратительной железной дороги, как минераловодская ветвь, это поистине нечто джеромовское. Старожилы говорят, что не запомнят случая, когда поезд пришел или ушел вовремя. На протяжении 60-верстного пути этой подлой дороги имеется, к удовольствию пассажиров, свыше 15 станций, полустанков и разъездов, на которых сплошь и рядом приходится стоять по $^1/_2$ часа, а иногда и больше. Но Боже, что за несчастие ехать из Железноводска в Пятигорск или Кисловодск, на большинстве поездов приходится ждать пересадки свыше трех часов (это при длине всего пути в 23 версты!). Покупать расписание и, основываясь на нем, ехать куда-нибудь совершенно бессмысленно и свойственно или новичку, или сумасшедшему, ибо еще никогда и ни один поезд не приходил и не отходил (равно и с конечных пунктов) в положенное ему время. Люди опытные, собираясь, положим, к восьми часам вечера быть в Железноводске, идут в Пятигорске на вокзал к 2—3 часам дня и за минуту до отхода поезда (по расписанию) садятся преспокойно обедать, затем прочитывают добросовестно пару газет, полчасика вздремнут над чашкой кофе и тогда уже спрашивают: «А что, двухчасовой поезд скоро пойдет?» — «Да, — говорят, — около 6-ти выйдет, значит, через полтора часа!» Когда же, наконец, приползает поезд, то начинается такое столпотворение, которое сильно напоминает мне момент открытия дверей в масленичных балаганах Малофеева в «3-е место». Публика с ревом и яростью бросается к вагонам, переполненным уже до невозможности, и, давя отчаянно друг друга, ухитряется все же в висячем или стоячем положении на буферах и ступеньках ехать... Несмотря на колоссально высокие цены, вагоны 1, 2 и 3-го классов совершенно ничем, кроме наружной окраски, не отличаются. Вечером и ночью освещения никакого нет, со всех сторон дует. Словом, я за два года не видал человека, который не возмущался бы порядками этой мерзовой дороги, наживающей с несчастных курсовых больных миллионы.

Первое, чем я был удивлен по выходе с Пятигорского

вокзала, это извозчики. Здесь они именуются «фаэтоны» и прозвище «извозчик» почитают чуть ли не оскорблением. Фаэтоны все пароконные, 4-местные, на резиновых шинах и обиты красным бархатом! За подобную штуку в Питере пришлось бы платить по 5 рублей за час, а здесь 20 копеек любой конец по городу, весьма немаленькому, состоящему сплошь из крутых подъемов и спусков. Итак, я водрузился на фаэтон и благополучно прибыл в гостиницу «Юца», что на Теплосерной улице. Пообедав затем в ресторане «Кавказ», я отправился обозревать «дикие горные ущелья и аулы, ютящиеся, как орлы, под облаками», но, само собой, ничего подобного не нашел и, вернувшись домой, улегся спать; а на другой день, подсчитав свои ресурсы и убедившись, что обладаю капиталом в 2 рубля 70 копеек, отправился на телеграф и вопиял тако: «Вышлите немедленно 50». Отправившись в тот же день в Колонию Красного Креста, я представил прошение и документы и по соблюдении неизбежных формальностей был принят. Получив на следующий день перевод, я расплатился в гостинице и, уплатив 35 рублей в колонию, переехал туда. Колония эта оказалась прекраснейшим учреждением. Это нечто вроде целого имения, стоящего на живописнейшем склоне Машука и состоящего из нескольких дач, построенных наподобие гостиниц.

За 35 рублей в месяц я получаю прекрасную светлую комнату с комфортабельнейшей кроватью, услуги человека, билет для бесплатного посещения всех парков, читален, курзалов, пользование врача-специалиста, лечение, ванны, чай, молоко, обед в 3 блюда, горячий ужин и 6-местный фаэтон для поездки в ванны! Словом, чего хочешь, того просишь. И все это в самых широких пределах, без каких бы то ни было ограничений. В самой колонии прекрасный цветочный и фруктовый сад, библиотека и т. д.

Со следующего дня я начал самую регулярную и правильную жизнь: вставал в 7 часов, пил молоко, садился на линейку, ехал в цветник, принимал ванну, гулял около часа, прочитывая газету под звуки музыки симфонического оркестра под управлением Келлера, в 1 час обедал, немножко спал, принимал массаж, опять гулял. Вечером слушал музыку или был в театре, ужинал или читал часа два и писал письма и около 11—12 ложился спать. Недели через две мне

подобная жизнь с непривычки начинала сильно наскучивать. Главным образом я скучал от отсутствия компании и одиночества. Тщетно я рыскал и искал кого-либо из знакомых петербуржцев, никого не находил, а если и попадались, то или малоинтересные для меня люди, или почти что незнакомые. Однажды, возвращаясь из ванны и мрачно шествуя по главной аллее цветника, я несказанно был обрадован встречей с артистом Импер<аторской> балетной труппы Г. П. Богдановым, который, как оказалось, явился, окончив артистическое турне с частью труппы, сюда на службу при оперной труппе и для дирижирования танцами на балах. Мы моментально поехали в кафе «Провал» и незаметно провели время за бутылкой кахетинского и милой беседой о столь близких и дорогих для меня делах и новостях в балете. С этого дня вплоть до отъезда мы ежедневно встречались, постоянно вместе торчали на вечерах, концертах и балах, на всех группах и прослыли за «двух Аяксов»*.

Вскоре появилась здесь (в Железноводске) из знакомых еще С. И. Калиновская, некоторые из балетоманов Мариинского театра, и жизнь моя окрасилась некоторым разнообразием, но все же я продолжал бы до конца пребывания здесь вести полурастительную жизнь, да и Кавказ не оставил бы и сотой доли тех впечатлений и воспоминаний, если бы у меня не произошел здесь крупный роман, который чуть-чуть не перевернул всю мою жизнь вверх тормашками...

Увлечений амурного свойства у меня было довольно много, о чем нетрудно судить и по этим запискам, в которые я не включил еще десятки мимолетных увлечений, продолжавшихся по 1—2 месяца. Но, разбираясь сам в себе, в своем характере, привычках, наклонностях и установившихся взглядах на жизнь, я всегда наталкивался на весьма странное и оригинальное несоответствие дел с убеждением. Дело в том, что, «что есть любовь», я уяснил себе еще на 14-м году своей жизни. Всякому известно, что самая развращающая среда — это среда товарищей в закрытом учебном заведении, но я могу еще добавить, что особенно ярко это выделяется в закрытых военно-учебных заведениях. А потому нечего удивляться, что по окончании корпуса я кроме среднего образования в науках вынес еще «высшее» образование в смысле знания (как в теории, так

и на практике) пьянства, кутежей и самого крайнего разврата во всех его видах и разновидностях. В последних двух классах корпуса культивированье этой стороны жизни доходило до того, что были категории кадет, среди которых считалось особым шиком иметь какую-либо из легких венерических болезней. Обладатель таковой окружался даже каким-то ореолом и относился к здоровым товарищам с особенно циничным превосходством, как пожилой и опытный человек к глупым щенкам!.. Положительно дело доходило до зависти. К счастью, я к этой категории еще не принадлежал. Начальство, понятно, смотрело иначе, но тоже довольно оригинально: за наличие венерической болезни сбавлялось 2 балла за поведение и лишали отпуска на месяц, причем расследование и изыскание причин подобных фактов происходило в классе в присутствии всех кадет, где обвиняемый должен был рассказывать офицеру-воспитателю все подробности случая, при котором судьба его так щедро наградила... В училище дело было поставлено более нормально, то есть взысканий абсолютно никаких не накладывали, а даже освобождали от строевых занятий и довольно сносно лечили в специально отведенном для этого «нижнем лазарете», и лишь время от времени начальник училища приходил в столовую во время обеда, когда все училище в сборе, и просил г-д юнкеров «потише проводить отпускные дни, ибо «нижний лазарет» в течение круглого года переполнен до невозможности!..» В училище, таким образом, разврат царствовал еще шире и принимал уже методическую окраску. Явилась даже компания юнкеров, которая почти что с ведома начальства устроила «адресную книгу безопасных проституток». Книга находилась у швейцара училища, и в ней к услугам юнкеров были адреса «этих дам» с пометками национальности, масти, фигуры и гонорара! Были среди юнкеров и экземпляры, не прибегавшие к «книге» ввиду того, что имели постоянных содержанок, а некоторые даже и целую семью в виде гражданской жены и детей... Из числа излюбленных книг среди юнкеров ходили из рук в руки целые массы плодов «гигиенической литературы», научных брошюр и романов, освещавших самые разнообразные виды половой жизни от римских императоров и до наших дней. Само собой, что все это в сумме дава-

ло солидную опытность этой стороны жизни и вместе с тем годами развивало в молодых людях узкий и строго определенный взгляд на женщин вообще и на функции их жизни и отношения к мужчине.

Странность же во мне самом, о которой я выше говорил, заключается в том, что, несмотря на всю развращенность и таковой же узкий взгляд на подавляющее большинство женщин, почти все мои увлечения имели как раз противуположный вид. Как это ни странно, но я постоянно как бы имел два различных влечения к женщинам, и определить, которое из них более действительно, несмотря на самый добросовестный самоанализ, — не мог и не могу. Таким образом, приходится вопреки собственному убеждению разделять любовь на физическую и платоническую. С некоторых пор вопрос этот о взаимном отношении и связи этих двух как бы разнородных чувств стал для меня доминирующим в сфере моей повседневной мозговой работы. Я старался поймать в себе какую-либо связь или общность в этих двух чувствах и положительно не мог!

VII

Размышления о любви физической и платонической. — Пробуждение любовного чувства к юной хористке. — Восхождение на Бештау. — Бал на Минеральных Водах. — Поездка к водопаду Юца. — Счастливые мгновения. — «Музыкальные» воспоминания. — Отъезд возлюбленной. — Последние развлечения на Минеральных Водах

Пятигорск, июль 1907 года.

Осмысливая самым искренним образом отошедший в века род любви, состоящий из серенад, распеваемых с гитарой под балконом, и вздохов, я на деле сам распевал серенады (словесные), вздыхал, мечтал о чем-то (чего, вероятно, и сам не мог бы объяснить) и отнюдь больше ничего не желал, даже больше того: я боялся, чтобы чувство это не приняло другой окраски... Апогеем подобной любви было проявление встречного чувства со стороны данной «ее», причем я никогда не входил в критический разбор ее чувст-

ва, а довольствовался подобной платонической взаимностью, и в финале мы расходились каждый по своей дорожке, затем через некоторый промежуток времени (от 1 до 10 месяцев) это изглаживалось из памяти и начиналось подобное же новое...

Ведя, обыкновенно, довольно разгульный образ жизни и близкое знакомство почти со всем demimond'ом 2-го разряда С.-Петербурга, я в периоды «платонических увлечений» все это бросал разом и становился удивительно примерным мальчиком. Таким образом, жизнь моя, с точки зрения отношения к прекрасному полу, велась как бы двумя периодами, причем второй являлся реакцией в отношении первого. Что касается вкуса моего, то в смысле первого периода он на протяжении последних 5—6 лет всячески изменялся, и идеалом являлись в разное время то молоденькие блондинки «в телесах», то сухопарые брюнетки бальзаковского возраста. Подобная изменчивость вкуса, и особая, замеченная мною в себе ее последовательность, судя по объемистому научному исследованию Крафта-Эбинга*, является показателем верха развращенности, включительно до так называемой «половой психопатии». Что же касается вкусов 2-го периода, то они весьма долго держались на одном уровне. Это, по большей части, являлась довольно интересная (но не более) блондинка, приблизительно моих же лет, обязательно начитанная, неглупая и обладающая каким-либо из талантов в сфере театра и музыки.

Будучи от природы довольно брезгливым и хотя <бы> наружно чистоплотным, это входило и в круг моих требований от женщины, и отсутствие подобной черты могло бы изменить даже нарождающееся чувство. Отсутствие же знаний и начитанности при наличии ума побуждали меня всегда к «развиванию» беседами и книгами, что составляло для меня почти всегда добрую половину сути увлечения.

В бытность мою на Кавказе летом 1906 года у меня завязался роман более серьезный и оставивший довольно глубокие впечатления на мою последующую жизнь и целый рой бесспорно лучших воспоминаний своей молодости. Увы, к сожалению, я в 24 года должен по весьма многим причинам считать свою молодость как нечто уже прошедшее, по крайней мере ту молодость, как ее понимает большинство.

Итак, я, как это принято называть, «влюбился».

Я вошел в театр Лермонтовской галереи в начале июня во время первого акта оперы «Русалка», дабы посмотреть, как Богданов станцует трепака, и, не садясь в кресло, стал в конце зрительного зала в проходе. Действие уже шло, и потому в зале была полутьма. В проходе постоянно торчала публика, и потому я вовсе не обратил сначала внимания на стоящих рядом, но минуту спустя начал рассматривать стоящую вблизи барышню. Это была светлая блондинка среднего роста, тоненькая и стройная, как пальма, замечательно хорошо сложенная и весьма скромно одетая в голубое платье directoire* и белой соломенной шляпе. Сцена уже потеряла для меня всякий интерес, и я ничего не видел и не чувствовал, кроме музыки Даргомыжского и какой-то непонятной силы притяжения к этой незнакомой особе. Рассматривая ее тонко очерченный задумчивый профиль, я как-то совмещал его с звуками этой музыки, и получалась какая-то странная и красивая иллюзия. Когда упал занавес и зал осветился, то я невольно встретился с ней взглядами и рассмотрел пару прелестных, темно-серых глаз с глубоким, как море, и меланхолическим взглядом. Во время антракта она вышла в сад, я пошел за ней и сразу же обратил внимание на удивительную, особого рода грацию походки и движений, грацию, развиваемую сценой и особенно отличающую танцовщицу. Сделав два круга по полной публикой главной аллее цветника, она вошла за сцену и исчезла за дверью одной из уборных... Итак, значит, я был прав, решив, что она имеет какую-то связь с театром, хотя и не видел ее никогда на сцене, бывая почти ежедневно в театре. В этот вечер я, несмотря на долгие поиски, вторично ее уже не нашел и, сказав вслух «ну и не надо, наплевать», пошел с Богдановым ужинать. Черты ее профиля и этот чудный взгляд не вылезали у меня из головы несколько дней, но все же я отнюдь не предполагал в этом начала романа.

Несколько дней спустя, сидя во 2-м ряду кресел, я слушал «Евгения Онегина»; шла 4-я картина (бал у Лариных). Каково же было мое удивление, когда при первых аккордах мазурки из-за кулис вылетели 4 пары и в первой паре с Богдановым — «она».

Я знал хорошо, что из числа балетных артистов на груп-

пах были только Г. П. Богданов, М. Ф. Тистрова и И. И. Чекрыгин, а в танцах в несколько пар они разбавлялись наиболее подходящими экземплярами из хора и драматической труппы. Это еще более заинтриговало меня относительно ее профессии, тем более что мазурку эту она танцевала как бы на положении солистки относительно других танцевавших; и проделала все фигуры отнюдь не хуже любой солистки балета и вместе с Богдановым сорвала хорошие аплодисменты (в которых, конечно, и я принял «живейшее участие»). После мазурки я моментально бросился на сцену и, ухватившись за Богданова, начал с лихорадочной поспешностью расспрашивать, кто да откуда взялась особа, с которой он танцевал, на что получил самый апатичный ответ: «А черт ее знает, кто она и откуда взялась, сейчас же только режиссер уговорил ее танцевать и познакомил со мной...»

На этот раз я уследил-таки, когда она по окончании оперы вышла из театра в компании 2-х хористок и нескольких музыкантов оркестра. Я с Богдановым шел сзади них и видел, что они свернули в один из маленьких переулков Теплосерной улицы. В течение следующей недели я несколько раз встречал ее около театра и один раз в магазине, где она покупала красное вино. Мы несколько раз смотрели друг на друга в упор — по-видимому, она заметила, что я хожу постоянно сзади как тень.

Наконец, 17 июня, в этот памятный для меня день, Богданов уговорил меня поехать с ним за компанию в Железноводск, где опять шла «Русалка» и он должен был танцевать. Я сначала не хотел было ехать, но потом надумал. В Железноводске, шатаясь за кулисами и по уборным, я обратил внимание на сложенную в одной из уборных солидную кучу провизии, водки, вина и пр. Оказалось, что компания артистов и музыкантов собралась по окончании оперы подняться на вершину Бештау и, предполагая пробыть в этой экскурсии всю ночь, приготовила себе сие пропитание. В следующем антракте Богданов заявил мне, что собирается веселая компания более 20 человек и что приглашают и его и меня. Я сказал, что я еще с ума не сошел, чтобы в эту адскую темень карабкаться на такую страшную высоту, и наотрез отказался. Но, соблазненные видом вина

и закусок, мы с ним порешили купить себе тоже и отправиться по приезде в Пятигорск на какую-нибудь местность «поприродистее» и там посидеть до восхода солнца. А посему во время последнего акта оперы я отправился в торговую часть курорта и приобрел вина, сыру, фруктов и прочего. Возвращаясь обратно, я подле самого входа на сцену чуть-чуть не наткнулся в темноте на что-то белое, что по рассмотрении оказалось моей блондинкой. В это время опера уже кончилась и переодевшиеся артисты выходили со сцены и собирались в кучку с веселыми перекликиваниями друг друга по именам и прозвищам за невозможностью рассмотреть в темноте лица.

Вышел Богданов, и мы сели и закурили в ожидании, пока компания бештауцев снимется с якоря. «Так мы не пойдем с ними?» — «Конечно, нет... послушай, а узнай-ка, пожалуйста, что вот эта барышня в белом тоже идет?» Я слышал, как Богданов подошел, поздоровался и спросил ее, собирается ли и она, а она ответила: «Да, сестра идет и меня уговорила». В этот момент мне показалось, что нет ничего прелестнее, как в такую дивную ночь подняться именно на Бештау, и я, подойдя к Богданову, начал ему описывать все прелести восхода солнца и вида на снеговую цепь и заявил, что, пожалуй, не пойти ли и нам... Он расхохотался и вместо ответа схватил меня под руку и, подтащив к ней, познакомил меня с ней, ее сестрой и еще несколькими хористками и музыкантами. Через 55 минут мы всей компанией в числе двадцати шести душ двинулись, растянувшись тройками и парами, за двумя музыкантами, шедшими впереди и знавшими дороги подъема. Сначала я шел в кучке с ней, ее сестрой и еще несколькими, но версты через две мы отделились и шествовали вдвоем под руку. Я чувствовал себя на 27-м небе и не отходил уже от нее ни на шаг в течение всей экскурсии, то есть до 8 часов утра. В середине подъема, в ресторанчике «Орлиная скала», мы сели за отдельный столик, пили вино и нарзан и болтали вовсю. Далее шли почти все уже попарно со свечами, с самодельными абажурами от ветра и сильно растянувшись. Роскошная южная звездная ночь, одуряющий запах диких роз и красиво разбросанные огоньки свеч по склону красивейшей горы Северного Кавказа... Право, более под-

ходящей обстановки для того, чтобы влюбиться, трудно даже представить!..

В весьма короткое время из разговора я убедился, что имею дело с девушкой весьма неглупой, начитанной, музыкальной (она окончила гимназию и в данный момент уже два года училась в консерватории по классу пения и служила в хоре Императорской Русской оперы в Петербурге). На Кавказе сестра ее (тоже хористка Мар<иинского> театра) служила летом в здешней оперной труппе, она же сама приехала только отдохнуть и посмотреть Кавказ. Около 3-х часов мы были уже на вершине и, расположившись в крошечном домике, громко именующемся гостиницей и кафе «Бештау», пили вино и закусывали, держа колбасу и огурцы в руках и запивая вином из горлышка бутылки. Комично было разочарование одного альтиста, который, притащив на себе наверх целую четверть водки, узнал, что в оном «кафе» водка продается в запечатанной посуде по казенной цене! Вся эта экскурсия была удивительно веселая: комические кунштюки*, хохот и пение не прекращались ни на минуту. В 4-м часу начался восход солнца, и мы увидели поистине неописуемую картину. Красный шар солнца вылез с востока почти моментально, и раскрылась грандиозная панорама, на 200 верст вокруг видимая простым глазом. Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск казались маленькими кучками какого-то белого мусора. За Кисловодском высилась белая громада Эльбруса, а влево от него, как на ладони, вся цепь снегового хребта и на левом фланге окутанный легким туманом Казбек. Около часа стояли мы неподвижно и молча, очарованные этой невиданной картиной, и долго еще не хотелось опускаться вниз. В пятом часу утра мы начали спускаться (что оказалось гораздо труднее, чем подниматься), но все же около 8-ми часов благополучно дошли до железноводского вокзала.

Я все время был в таком приподнятом настроении, что даже не чувствовал усталости, а даже, наоборот, готов был бы хоть еще раз подниматься, но, конечно, обязательно при тех же условиях... Уже вернувшись домой, я, лежа в кровати, все еще мечтал и долго не мог заснуть и тут толь-

* Kunststück — проделка *(нем.)*.

ко сообразил, что судя по всем признакам, очевидно, врезался по уши в А. С. Т. Ее имя (Августа) особенно мне нравилось.

Со следующего дня мы начали ежедневно встречаться. Обыкновенно, после ванны я отправлялся в Непроездной переулок, перепрыгивал по камням через ручей и являлся к ним. Они жили вчетвером, жили удивительно весело, просто и симпатично. По большей части я вместе с ними пил кофе, потом трое из них шли в театр на репетицию, а мы с А. С. Т. отправлялись гулять или на Горячую гору, или в Горячеводскую долину, или в Казенный сад. Она превзошла все мои ожидания и мечты, это оказалась положительно недюжинного ума девушка с оригинальными самобытными взглядами при чудном, ровном характере, прекрасно воспитанная и в высшей степени порядочная. Мы часами говорили о литературе, музыке, религии, философии и т. д. Каждый высказывал свои взгляды, нередко спорили с ожесточением о весьма высоких вопросах, и в большинстве случаев я все-таки логическими выводами доказывал свою правоту и брал таким образом верх в спорах. Хотя случалось и наоборот, и тогда каждый из нас оставался при своем мнении.

Сплошь и рядом в этих разговорах мы не замечали, как бежало время и наступал вечер, тогда возвращались домой, просто, по-дружески прощались, и я уходил. О любви и чувствах не было сказано ни слова, и только однажды она сказала, что обручена с артистом оркестра Имп<ераторской> Русск<ой> оперы, неким А., что он у них в доме «свой человек» уже 4 года, знает ее с детства и, по-видимому, не может и представить для себя другой жены... «Ну, а Вы его любите?» — задал я вполне естественный вопрос. — «Как Вам сказать, да, пожалуй...» Над этим разговором я довольно долго раздумывал, ибо, приняв во внимание ее 19 лет, бойкость натуры, в подобных обстоятельствах мое положение «третьего» могло принять не особенно хорошее место.

Зная прекрасно из жизни и личной практики, что женщину побеждает не красота, не положение, даже не ум мужчины, а всего лишь умение его держать себя и говорить с женщиной, или, выражая одним словом, тактика, я при-

нял довольно отдаленную позицию и стал весьма обдуманно и осторожно вести разведки и постепенно переходить к наступлению. Это было ужасно трудно. Слово и дело вообще-то всегда расходятся почти у всех, а в подобных случаях еще труднее маскировать себя, и вместо того чтобы, прощаясь, спокойно, холодно поцеловать руку и уходить, начинаешь целовать по двадцать раз каждый палец, плетя какую-то чушь о том, что завтра, вероятно, дождя не будет... Да вообще нет ничего труднее, как скрывать свое настроение или тем более чувство: каждая улыбка, тон голоса, малейшие нюансы выдают с головы до ног. Само собой, что если бы я с самого начала встретил холодный отпор, то скрыть себя было бы легче. Но отпора не было... хотя и противуположного тоже не было. Очевидно, самолюбие удерживало это равновесие. И у подавляющего большинства женщин это равновесие выдерживается дольше, чем у мужчины, в силу разницы природной и душевной.

В течение каких-нибудь 10—12 дней мы стали вполне близкими друзьями и весьма откровенно говорили о себе все, как хорошее, так и дурное. Не знаю, в силу какого психического толчка я все время в рассказах о своей жизни старался очернить себя, как только возможно, и все скверные стороны своей жизни и черты характера выставлял наружу и особенно подчеркивал. Подобная же откровенность с ее стороны не имела, конечно, того оттенка, ибо все скверные, по ее мнению, ее стороны на самом деле вовсе не оказались заслуживающими порицания, а лично мне даже положительно нравились. Да и могли ли быть нехорошие черты в этом прелестном, чистом полуженщине-полуребенке?

Но в конце концов вся моя тактика должна же была вылиться в какое-либо объяснение... Это и случилось совсем неожиданно. В один из прекрасных дней конца июня мы долго бродили по дорожкам запущенной и глухой части Казенного сада. Около 10 часов вечера, когда наступила полнейшая тьма, мы вспомнили, что хотели ехать на бал в Лермонтовскую галерею, и, поспешно выйдя из сада, сели на извозчика и поехали домой, и пока она переодевалась и причесывалась, я успел съездить домой к себе и одеть новый китель и захватить перчатки и пальто. Когда я вошел,

то застал ее сидящей перед зеркалом с опущенными руками и в глубокой задумчивости. «Ну, что же Вы?» — «Да вот никак не могу сегодня сделать себя мало-мальски интересной для бала и не знаю, ехать ли!» Дальше нить моих воспоминаний на несколько минут обрывается; что было в эти несколько минут, я положительно не могу сказать, помню только, что потом пальто мое упало с моих плеч на пол, она стояла пораженная и с удивлением смотрела на меня широко открытыми глазами, а я безумно целовал ее руки и говорил что-то... да, то, что я и не думал никогда, что могу так глубоко и серьезно увлечься... что первый раз встретил такое полное совмещение всех своих идеалов в одном существе и т. д. Она была страшно взволнована, и мне же пришлось ее успокаивать. Через $^1/_2$ часа мы поехали все-таки на бал, заехали по дороге за живыми цветами и довольно спокойно вошли в зал. Жорж Богданов летал по зале с развивающимися фалдами фрака и орал по-французски фигуры танцев. Через $^1/_4$ часа мы уже плавно кружились в вальсе и вихрем летали в мазурке. Около часу ночи вернулись оперные из Ессентуков и тоже явились танцевать. В 3 часа кончился бал, и мы все отправились под предводительством шатавшегося от усталости и сменившего за вечер 7 воротничков Богданова в знаменитый ресторан Гукасова ужинать. Это был на редкость веселый ужин, и я первый раз на Кавказе позволил себе выпить за драгоценное здоровье А. С. Т. солидную рюмку коньяку. Около 5 часов утра мы проводили дам домой, распрощались, она сказала, что я вел себя паинькой, поцеловала меня в лоб, и мы разошлись.

На днях после этого мы организовали поездку верхами к водопаду Юца. Около 1 часу дня я с Богдановым привели 6 оседланных лошадей, 3 с дамскими и 3 с мужскими седлами, и попарно отправились в путь. А. С. Т. ко всему вдобавок оказалась прекрасной амазонкой и с места взяла такой лихой галоп, что я едва поспевал за ней на своей гнедой кабардинке. Удивительно комичен был Богданов в своей соломенной шляпе и длинных брюках, поднимавшихся до самого седла. Около 3-х часов мы, проехавши 10 верст, прибыли на Юцу и расположились завтракать в кафе под звуки персидского «сазандари»*. На обратном пути каваль-

када наша сильно растянулась. Я и Вава (так звали ее уменьшенным именем) умышленно отстали, а когда ехавшие впереди скрылись за горами, то повернули на север и пустились голова в голову карьером по степи. Я никогда в жизни не забуду эту бешеную скачку. В низу долины мы наткнулись на довольно широкий ручей, и я невольно задержал поводья, она же моментально и легко взяла этот своего рода стипль-чез* и как ни в чем не бывало продолжала галопировать. Я как артиллерист и ездок по специальности положительно был восхищен этим номером, а как человек после этой поездки окончательно потерял голову. Уже вечером мы явились домой и до поздней ночи беседовали на скамеечке около ворот. Когда разговор невольно повернул в сторону чувств, то она выпалила довольно странную фразу: «Да, я способна впоследствии Вас полюбить, потом... когда Вы будете вполне паинькой, а не наполовину, как сейчас...» С этих пор «стать вполне паинькой» сделалось основной задачей моей жизни.

На другой день мы долго сидели в Казенном саду, и она высказалась, что если я мог полюбить ее, находя в ней свой идеал, то она далеко не видит во мне своего идеала и насчитала целую кипу исправлений и преобразований, необходимых для меня, дабы достичь этой марки. Требования были весьма солидного свойства, как-то: бросить военную службу, серьезно заняться теорией композиции, абсолютно бросить картежную и пьяную жизнь, восстановить нормальным режимом здоровье и т. д. Само собой, что вполне серьезно высказанное и даже потребованное от меня желание такой массы добра для меня же еще более подняло ее в моем мнении, и я со слезами на глазах целовал ее и клялся моей любовью выполнить все это в самом непродолжительном времени.

О Боже! Я, кажется, и через 25 лет буду помнить эту скамеечку в Казенном саду и этот чудный тихий вечер!..

Право, это был самый лучший и самый счастливый момент в моей жизни, и я никогда не поверю в возможность забыть его, так же как и в возможность повторения его когда-нибудь. Да, это была высшая точка, апогей кривой, выражающей счастье моей жизни.

Следующие за этим 3 дня до нашей разлуки (увы, она



Анна Павлова в костюмерной.



Мариинский театр.

Александринский театр.

Т. П. Карсавина — артистка балета Мариинского театра.





А. П. Павлова.
1900-е годы.



Анна Павлова на репетиции.

Сцена Мариинского театра.



Программа благотворительного спектакля на сцене Мариинского театра.

Программа спектакля Александринского театра.



Н. М. Безобразов — балетный критик, один из влиятельнейших петербургских балетоманов.



И. Ф. Кшесинский — артист балета, педагог, брат балерины Матильды Кшесинской.

М. Ф. Кшесинская. *1900-е годы*. На фото дарственная надпись: «В память 4-го февраля 1904 г. и 6-го февраля в Москве. Сердечно благодарная М. Кшесинская. Д. И. Лешкову».





В. А. Трефилова. С 1894 года — артистка балета Мариинского театра.



Вечерний Невский проспект. Время театра.



Т. П. Карсавина — артистка балета.
В 1902—1918 годах — в Мариинском театре.

Артисты балета, сестра и брат Л. Г. и Г. Г. Кякшты.







М. М. Фокин — балетмейстер.



А. Ф. Бекефи — артист балета.

М. М. Петипа
и С. Г. Легат.
1900-е годы.



Программа спектакля
11 января 1911 года
с участием членов
Императорской
Фамилии.

ПРОГРАММА

СПЕКТАКЛЯ

ЯНВАРЯ 1911 г.

МЕДВѢДЬ СОСВАТАЛЪ

ЖЕНА НА ПРОКАТЪ



Анна Павлова.
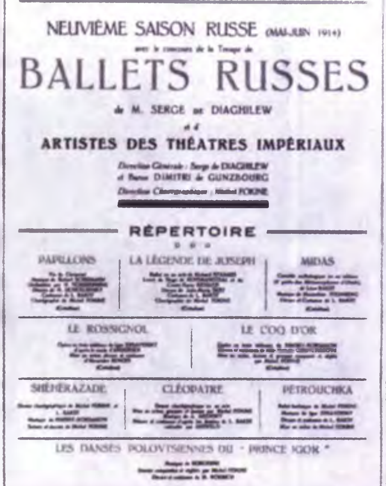
Р. Е. Дриго,
главный дирижер
оркестра балета
Мариинского театра.
Шарж
Н. и С. Легатов.





М. А. Вольф-Израэль,
артист оркестра
и второй капельмейстер
Мариинского театра.
Шарж
Н. и С. Легатов.

С. П. Дягилев
и программа
девятых Русских
сезонов в Париже.



THÉATRE NATIONAL DE L'OPÉRA

NEUVIÈME SAISON RUSSE (MAI-JUIN 1914)

BALLETS RUSSES

de M. SERGE DE DIAGHILEW

ARTISTES DES THÉATRES IMPÉRIAUX

et Baron DIMITRI de GUNZBOURG

RÉPERTOIRE

PAPILLONS | LA LÉGENDE DE JOSEPH | MIDAS

LE ROSSIGNOL | LE COQ D'OR

SHÉHÉRAZADE | CLÉOPATRE | PÉTROUCHKA

LES DANSES POLOVTSIENNES DU "PRINCE IGOR"

А. А. Бахрушин.
1920-е годы.





В. Н. Давыдов.
На фото
дарственная надпись:
«Моему соседу
и сослуживцу
Д. И. Лешкову
на добрую память,
душевно желая всего
лучшего — Дедушка
русской сцены
В. Давыдов.
Петроград.
13-го окт. 1923 г.».



АКАДЕМИИ НАУК

Литературно-театральный музей имени Алексея Бахрушина.

ПРАВЛЕНИЕ.

УДОСТОВѢРЕНІЕ

Настоящее удостовѣреніе выдано Денису Ивановичу ЛЯШКОВУ въ томъ, что онъ уполномоченъ Музеемъ разыскивать и пріобрѣтать предметы, имѣющіе отношеніе къ исторіи театра, музыки и литературы для пополненія означеннаго Музея, въ чемъ Правленіе Музея проситъ всѣхъ лицъ оказывать ему возможное содѣйствіе.

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНІЯ:

СТАРШІЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ:

Удостоверение Д. И. Лешкова, выданное Литературно-театральным музеем им. А. Бахрушина.

Кабинет А. А. Бахрушина в Литературно-театральном музее.

так скоро наступила) я был положительно каким-то полусумасшедшим и считал себя безумно счастливым человеком. Право, я не в состоянии даже описать, что я думал, делал и говорил эти дни. Я только ясно понял и чувствовал, что она сдерживается с усилием на словах, а на деле, видимо, также любит меня и так же счастлива, как и я. 30-го мы, кажется, были той же компанией в Кисловодске, обедали где-то в ресторане, сидели в беседке на какой-то горе; кажется, был с этой горы очень красивый вид на окрестности, на обратном пути застряли почему-то в Ессентуках, а там (это я почему-то лучше помню) я и Вава сидели в беседке садового ресторана и пили кахетинское вино, а потом на скамеечке, наверху горы близ театра, откуда доносились звуки «Гейши». Она говорила, что получила перевод и письмо из дому и должна ехать 1-го или 2 июля, тем более что около 15-го начинаются оперные репетиции, а нужно побыть еще дома, на даче. Я не допускал даже возможности разлуки и твердо решил ехать с ней вместе.

Я помню, как она удивлялась несообразности такого с моей стороны увлечения с рассказами моими о своей прежней жизни и подтрунивала, как это я мог так низко, низко пасть, променяв блестящих балерин на скромную и малозаметную хористку, впрочем она сама оказалась большой поклонницей балета и вполне понимала мое им увлечение и уверяла меня, что нравится мне, вероятно, только благодаря большому сходству с А. П. Павловой. Действительно, это сходство было столь велико, что, по ее же рассказам, во время оперы «Руслан и Людмила», когда она надевала черный парик, к ней сплошь и рядом подходил помощник балетмейстера и начинал разговор о купюрах в лезгинках, принимая ее за А. П. Когда она сказала, что за последние 2 года не пропустила почти ни одного балета, я прямо был поражен: как это я мог ее не заметить, очевидно, постоянно встречаясь в театре!

Эти последние дни я положительно наяву и во сне жил только ею, думал только о ней, забывал есть, пить, даже курить, и если ночью просыпался, то не мог уже уснуть, напряженно думая и ожидая блаженного наступления утра, когда увижу ее, буду дышать воздухом, окружающим ее, и

слышать ее голос, эту симфонию, эту лучшую для меня музыку.

Как странно я устроен! Кажется, я уже писал в этих мемуарах, что жизнь моя так тесно связана с музыкой, что почти каждый выдающийся момент моей жизни остается у меня в голове воспоминанием не словесным и не картинно-зрительным, а *исключительно музыкальным*. Всякую известную уже мне вокальную и инструментальную музыку я могу слушать как бы двояко: 1) как музыку и 2) как обрывки картин и рассказов из моей собственной жизни в разных ее периодах. Будучи вполне в спокойном состоянии и думая или размышляя о вопросах чисто жизненных или научных, я слагаю в голове логические словесные мысли, но стоит мне несколько взволноваться и думать о поэзии, любви или о своей собственной жизни, как словесные мысли заменяются исключительно музыкальными, которые являются для меня даже более близкими и понятными, чем мысли, выраженные образными представлениями и словами. Точно так же и воспоминания о каких-либо моментах своей жизни являются в моей голове сначала в форме музыкальной мысли, а потом уже в больших подробностях в виде образов и слов. Даже для восстановления в памяти какого-либо эпизода я ищу мысленно сначала его музыкальный синоним. Установить же, когда в подобных мыслях музыкою являются мысли собственной композиции и когда чужие, весьма трудно. Когда я слышал впервые 6-ю симфонию Чайковского, то она произвела на меня такое глубокое впечатление, что я целый месяц находился под ее влиянием, а потому эпизоды жизни из этого месяца чаще всего выражаются в моем мыслительном аппарате мелодиями этой симфонии. Впрочем, далеко не всегда так. Иногда наиболее высокие и поэтические воспоминания выражаются в форме явившегося ни к селу ни к городу обрывка какого-нибудь паскудного шарманочного вальса или польки... И фактической жизненной связи между этим эпизодом и паскудной полькой, по-видимому, не было...

Все же в громадном большинстве случаев мыслями *переживаемого* момента жизни являются формы собственной композиции, сплошь и рядом имеющие (вероятно, под

влиянием массы слышанной музыки) вид теоретически определенных произведений, *всегда оркестровых*. Так, например, воспоминание о памятной ночи 26 октября в Кронштадте представляет нечто близкое к симфонической поэме, а вечер в Казенном саду в Пятигорске — andante оперного дуэта или ансамбля. К сожалению, мысли эти так неуловимы, особенно при желании их уловить с целью прикрепления к пяти линейкам нотной бумаги, что, несмотря на опыты, мне это не удавалось; хотя я не теряю надежды, что это происходит только в силу отсутствия знаний и практики. Мне кажется, имей я обширные теоретические знания и опыт, я мог бы записать много, если и не гениальных, то все же для кого-нибудь да интересных музыкальных мыслей, фраз и сочинений.

Большинство мыслей о А. С. Т. и воспоминаний об этих чудных днях у меня запечатлелось формами собственной композиции, некоторые же моменты почему-то тесно связались с 3-й и 6-й картиной «Пиковой дамы» Чайковского, хотя за это время я, кажется, нигде и ничего из «Пиковой дамы» не слышал. Мотивов же из «Руслана» и «Кармен», которые она любила и часто напевала, я даже не могу вспомнить, хотя и знаю прекрасно обе эти оперы...

Подобные выводы и сопоставления наводили неоднократно меня на мысли о безусловной ненормальности всей моей психики. Я не знаю, что это: болезнь или просто безопасная странность.

1 июля, накануне отъезда, мы вдвоем пошли в Казенный сад и просидели там весь вечер до поздней ночи. Она после долгих просьб и логичных доводов уговорила меня не поднимать всеобщего внимания и не компрометировать ее совместным отъездом и уговорила меня остаться здесь до предположенного мною ранее срока, то есть 10 августа, обещая мне часто писать и вместе с тем подготовить в Петербурге свою полную свободу от А. и достичь возможности постоянных встреч. Это был последний из этих золотых дней...

2-го, днем, она вместе с одной барышней уехала. Большая компания провожала на вокзале, а я доехал даже до Минеральных Вод и там, несмотря на присутствие даже знакомых, при всем честном народе обнял и расцеловал ее.

Поезд скрылся, и все оборвалось... Когда я вернулся в Пятигорск и вошел на Горячую гору, то чуть не разревелся как ребенок.

В течение следующей недели я ходил мрачный как туча и, по общему мнению окружающих, сильно переменился за несколько дней. Началась адская тоска, прерываемая минутными светлыми отблесками в виде лаконических открыток из Ростова, Воронежа, Козлова и, наконец, Москвы, писанных в дороге, карандашом. Богданов и вся компания изрядно надо мной подтрунивали, припевая паскудную малярскую песенку «Нигде милого не вижу» и так далее в таком же роде.

Первое более или менее длинное письмо я получил дней 10 спустя из Гатчины, второе из Петербурга, которые перечитывал по 20 раз и чуть не выучивал наизусть. Сам я отсылал чуть не ежедневно целые стопки исписанной почтовой бумаги с причитаниями о беспросветной тоске и светлыми надеждами и планами на будущее. Чтобы перебить эту адскую скуку и мрачное настроение, я начал целыми днями работать над решением задач по простым хоралам и сложным модуляциям. Работа эта требовала громадного мозгового напряжения, и таким образом только, просидев над ней 4—5 часов, я падал на кровать и засыпал как камень. Несколько времени спустя я начал понемногу входить в прежнюю колею жизни, и хотя и ездил вместе с Богдановым по театрам и вечерам, но совершенно апатично и безо всякого удовольствия, только для компании.

Возвращаясь с одного из таких вечеров из Железноводска, не помню при каких обстоятельствах, я познакомился и разговорился с капельмейстером казачьего духового оркестра Г. И. Ихильчиком. Это оказался замечательно симпатичный человек с громадными музыкально-теоретическими знаниями, и настолько заинтересовался моими способностями и любовью к музыке, что взялся безвозмездно заниматься со мной. Это оказался тип неудачника (чему, впрочем, много способствовала национальность еврея). Он кончил тифлисскую музыкальную школу, занимался в Варшавской консерватории, потом в Петербурге у пр<офессора> Кленовского и других. Будучи чистейшим фанатиком музыки, перечитал буквально все теоретичес-

кие сочинения, написал сам великолепный и высоко ценимый в музыкальных кружках учебник инструментовки и все-таки застрял в провинциальной дыре.

Метода его преподавания оказалась совершенно для меня новой и неслыханной. Он так толково разъяснял все крайне путанные в учебниках места, что в течение каких-нибудь 3—4 дней мы покончили с элементарной теорией и перешли к гармонии, а через 3 недели я уже основательно познал 1-ю и 2-ю гармонию и довольно сносно решал трудные задачи по модуляции. Мое настроение после отъезда А. С. Т. как нельзя лучше подошло к этим занятиям, и Ихильчик только поражался моим просьбам о задании как можно больше самых замысловатых модуляций и успешным результатам.

Таким образом, одна из главных особенностей этого моего последнего сердечного увлечения и основная причина наилучших о нем воспоминаний та, что все моменты и фазисы его повели только к хорошему и доброму для меня.

На курортах конец июля и начало августа ознаменовались целой плеядой балов с премиями за красоту, танцы и пр. (этот способ обирания публики был применяем г-ном Брагиным впервые и вошел в большую моду). Так называемое «жюри» для присуждения призов составлялось, обыкновенно, из дирижера танцев и еще нескольких человек, в число которых постоянно входил и я (впрочем, некоторая часть публики, зная, что я большой любитель и знаток балета, имею более положительное понятие о красоте и грации в танцах, считала мое суждение более правильным). На одном из подобных вечеров (в Железноводске) вышел целый скандал. В течение 3-х часов бала составлялось это злосчастное жюри, а я мрачно сидел в ложе за столом конфетти и серпантина и болтал с какой-то довольно миловидной особой, которая и танцевала сравнительно недурно. В конце вечера наше жюри (состоящее из меня, Богданова и каких-то трех дам и трех господ, удивительных идиотов без тени вкуса и эстетики) долго не могло найти «царицы бала». Тогда я подговорил Богданова и двоих из этих ослов дать согласное со мной мнение и большинством 5-ти против 3-х голосов вкатил обе премии

(и за красоту, и за грацию) этой барышне. На другой день в «Пятигорском листке» какой-то туземный «лытыратор» на двух газетных столбцах расписал о том, что какой-то артиллерийский офицер крайне несправедливо, пользуясь своим влиянием на «жюри», присудил два главных приза, золотой жетон и мраморные часы. В Ессентуках повторилось почти то же самое, я опять, полагаясь лишь на свой собственный вкус, присудил одной барышне (только потому, что она имела некоторое отдаленное сходство с А. С. Т.) два первых приза...

С начала августа в театрах почти через день начали давать электробиографические представления*, на которых я пересмотрел и знал наизусть около 1000 картин.

Между 3 и 10 августом я и Богданов несколько раз ездили в Кисловодск и брали ванны Нарзана. Я и не подозревал, что это такое удовольствие. Действительно, получается впечатление, что садишься в шампанское, которое пенится и шипит. Только покрывается сплошь мелкими пузырьками углекислого газа и на ощупь представляется совершенно как бархат. По выходе из ванны ощущаешь удивительную свежесть и чувствуешь себя героем, способным по меньшей мере завоевать всю Европу. В смысле же вытрезвления — положительно лучшего средства нет на всем свете. После одного из железноводских балов, когда при возвращении пришлось сидеть на станции Бештау 2 $^{1}/_{2}$ часа в ожидании поезда, мы с Богдановым и Ихильчиком изрядно выпили (впрочем, я водки все-таки не пил, а удовольствовался кахетинским вином, которого, впрочем, выпил один 2 $^{1}/_{2}$ бутылки), а потому, когда, наконец, подошел поезд, то мы, чувствуя в ногах головокружение и в желудке землетрясение, решили ехать не домой, а прямо в Кисловодск. Судя по всему, мы солидно надрались и едва на ногах стояли, но стоило влезть в нарзанную ванну, как все как рукой сняло. По выходе из ванного здания мы выглядели как новорожденные. Сон совершенно прошел, и мы, позавтракав в курзале, сыграли на бильярде и прошлись по парку. Наконец 10 августа Богданов получил от антрепренера деньги, и мы, взяв на прощание по ванне Нарзана и закупив фруктов и разной дряни, торжественно покинули Минеральные Воды и изволили проследовать в Москву.

VIII

Дорога в Петербург. — Занятный попутчик. — Продолжение любовного романа. — Размышления о женитьбе. — Двойственность положения. — Авантюрность натуры Л. А. Клечковской

Пятигорск. 9 авг<уста> 1907 года.

Последние 10—12 дней на курортах я прожил в комнате у Г. П. Богданова, ибо в конце июля я разругался с администрацией Колонии Красного Креста и, собрав свои вещи, переехал во Въездной переулок. Дома мы только спали да обедали, остальное время почти никогда не бывали. За эти дни я столько съел всяких фруктов, сколько, вероятно, съел их за всю остальную жизнь. Целый день в этой комнате все, имеющее горизонтальную поверхность, было завалено арбузами, дынями и персиками. Перед отъездом мы решили сделать своим матерям сюрприз и привезти пуд какой-нибудь ягоды для варенья. Навели справки, узнали, что лучше всего в дороге сохраняются ренклоды*, и взяли их целый пуд, упаковали (кажется, хорошо), уложили на верхнюю сетку в вагоне и поехали. На ст<анции> Мин<еральные> Воды у нас из вещей выкрали мешок с 6-ю дынями. Далее Богданов выронил в окно котелок и ехал до Москвы в какой-то отчаянного вида серой шляпе. В Ростове мы достали какой-то ящик из-под сухарей, купили колоду карт и вплоть до Москвы резались в гусарский винт и «66».

Пермь. 14 ноября 1907 года.

13 авг<уста> мы приехали в Москву. Сдавши весь свой багаж и ренклоды на хранение на вокзале, отправились в город. Богданов купил себе серую шляпу, и мы, пообедав, отправились в театр и сад «Омон»*, где любовались действительно великолепным дивертисментом на открытой сцене. На другой день для разнообразия посетили «Эрмитаж», а на третий двинулись в Петербург. Я не знаю почему, но у меня вошло в традицию — когда и куда бы я ни ехал через Москву, непременно застрянуть там на 2—3 дня. Даже и в этот проезд, летя в мечтах как можно скорее в Петербург,

где имелся в данную минуту столь естественный магнит, я все же как бы под влиянием какого-то непонятного закона проторчал 2 дня в Москве.

На Николаевском вокзале мы совершенно случайно и счастливо попали в донельзя переполненном поезде в отдельное купе, занятое одним каким-то иностранцем, не говорящим ни звука по-русски. Очутившись таким образом втроем, мы заняли четвертое место вещами, развалились со всеми удобствами, как бары, и твердо решили никого больше не впускать. Однако уже после отхода поезда кто-то начал энергично и весьма настойчиво стучать в дверь нашего купе и, наконец, видя тщетность своих стремлений, прибег к помощи кондукторского ключа и открыл дверь. В купе ввалилась огромная и громоздкая фигура полного бритого мужчины, который спросил, на каком основании мы заперлись втроем. Я ответил, что это купе принадлежит лежащему наверху господину, а потому предлагаю вести переговоры именно с ним. Толстый обратился с вопросом, может ли занять здесь 4-е место, на что в ответ последовало какое-то мычание. Тогда, сообразив, что имеет дело с иностранцем, толстый начал последовательно предлагать тот же вопрос на немецком, французском, английском, итальянском и еще, кажется, на 5-ти языках, что меня сразу крайне заинтересовало. Обретя, наконец, национальность лежащей наверху личности, толстый разменялся с нею несколькими взаимными любезностями и водворился в нашем купе. В это время зажгли газ, и все наши физиономии осветились достаточно для взаимного наблюдения, а главное для возможности читать, чем я и воспользовался, уткнувшись в излюбленную «Петербургскую газету». Прочитав две-три статьи, я стал чувствовать то известное неудобство, которое ощущается, когда кто-нибудь посторонний смотрит на тебя в упор, в чем и убедился, отложив газету. Толстый господин весьма внимательно меня рассматривал. Я закурил и стал также глядеть на него. Это продолжалось минут 20 с перерывами. Вдруг весьма неожиданно толстый господин извинился и весьма учтиво заметил: «Скажите, пожалуйста, Вы, вероятно, очень музыкальны?» Я положительно обалдел от такого неожиданного вопроса-комплимента и ответил что-то вроде того, что я действи-

тельно люблю музыку. «Нет, Вы не только любите ее, но и занимаетесь ею специально, вероятно, изучаете теорию музыки, впрочем, это, вероятно, у Вас в семье наследственно, ваша мать также весьма музыкальна». Я решил, что «господин любит поболтать», и решил односложными ответами вполне это ему предоставить. Однако дальше последовало следующее: «Скажите, Ваш отец, вероятно, был военный, но исполнял службу чисто гражданскую?.. Вы родились где-нибудь на севере, вернее всего в Финляндии?.. Поступили на военную службу против желания, что обусловилось воспитанием с малых лет в военном заведении?..»

Я с каждой минутой обалдевал в геометрической прогрессии и беспомощно озирался на Жоржа, который, развесив уши, также, по-видимому, решил, что имеет дело с Шерлоком Холмсом. Тогда, как бы давая мне отдохнуть, толстяк обратился к Жоржу и заявил ему, что он артист, но не драматический и не оперный, а потому просит не отказать ему сообщить свою профессию. Жорж с испугом пролепетал, что он служит в балетной труппе. Тогда толстяк заявил нам обоим, что мы едем с Кавказа, оба не дураки выпить, рассказал мне почти безошибочно всю мою жизнь, чем я бывал болен, в какое время приблизительно потерял отца и т. д. Я с ним разговорился, выразил удивление его колдовству и спросил его, не хиромант ли он, на что он счел долгом открыть свое инкогнито, заявив, что он заслуженный профессор Харьковского университета по кафедре психологии и бывший член Государственной Думы П. Оршанский. Я с удовольствием проболтал с ним до 3-х часов ночи. Это оказался, по-видимому, громадного ума человек, известный своими научными трудами в области психологических наблюдений и определений наследственности психики. Видя, как я заинтересовался его специальностью, он был так любезен, что предложил мне просмотреть некоторые из новейших его брошюр о наследственности таланта, которые он вез в Петербург для прочтения на публичных лекциях в Соляном городке и в университете. Я с большим интересом штудировал эти книжки вплоть до приезда в Петербург. Прощаясь с нами, он очень просил меня прислать ему мою фотографическую карточку для помещения ее, как он говорил, в одном из своих иллюстрированных

трудов, уверяя, что у меня удивительно «музыкальная» линия височной чашки черепа. Я обещал прислать, чего, к сожалению, до сих пор не исполнил.

Таким образом, мне за одну поездку удалось два раза встретиться в вагоне случайно с весьма интересными людьми и не без пользы проболтать с ними многие часы.

По приезде в Петербург я бросился прямо с Николаевского вокзала в Мариинский театр и пришел в дикий восторг, завидя издали зеленые «оперные» кареты (как это не подходит к балетоману!..). Мне пришлось прождать до окончания репетиции около полутора часов, в течение которых я носился как тигр в клетке в артистическом подъезде, в котором первый раз в жизни ожидал не танцовщицу... Наконец репетиция окончилась, вышла А. С. Т., и мы пошли вокруг театра на Офицерскую. Я только теперь вспоминаю, что даже не взглянул мимоходом на висящий репертуар и даже не поинтересовался узнать, что идет в балетное открытие...

Мы встретились тепло, мило, и я чувствовал себя на седьмом небе. Удивительно, как влюбленному человеку буквально все нравится в его «предмете». Она, одетая в простое скромное темное пальто и черную с пером фетровую шляпу, казалась мне каким-то божеством прелести и изящества. Я осыпал всю дорогу ее руки поцелуями и нес какой-то невероятный сумбур. Она с удовольствием это слушала и говорила о своей жизни, о репетициях, о новом хормейстере Черепнине и т. д. Пройдя всю Офицерскую и свернув налево, мы дошли до ее дома, куда она меня также привлекла и познакомила с отцом, матерью и целой сворой сестренок и братишек. Мы пообедали и целый вечер сидели в полутемной гостиной на диване, где она поведала мне всю сложность положения ее между А. М. и мною. Мы долго обсуждали эту тему, в заключение ни к чему не придя.

Я уехал от них к последнему поезду в Павловск и чувствовал себя счастливым. А. С. Т. взяла с меня слово, что я не буду возбуждать всеобщее внимание ежедневным исчезновением из Павловска, что также может повести к сплетням в опере, и я решил ездить в Петербург раза 2—3 в неделю, но на другой день я убедился, что это невозможно, и прикатил опять к концу репетиции. На этот раз мы сели на извозчика

и целых 3 часа ездили по Каменноостровскому и по каким-то островам, где-то выходили и гуляли пешком, кажется, на Стрелке. Темой разговора было главным образом письмо А. М., в котором тот писал, что если история с «офицером» будет продолжаться, то он ухлопает этого офицера и потом себя. А. С. Т., знающая А. М. много лет, утверждала, что это отнюдь не шутки и что этот человек способен и на большее. Что касается меня, то я в нормальном состоянии, быть может, и нашел бы логический исход защитить себя и даже, вероятно, инстинктивно опасался бы, но в описываемые часы находился в состоянии какого-то угара и плевал на всякую опасность с пятого этажа, и на другой день действительно поступал как бы наперекор всему.

По окончании репетиции А. С. Т. вышла вместе с А. М., где познакомила меня с ним. Мы пожали друг другу руки, и я с места в карьер заявил А. С. Т., что моя лошадь ждет нас, и, усевшись с ней, демонстративно отправился кататься по набережной. Она ехала бледная и молчала все время, видимо, перед этим был крупный разговор с А. М. С этого момента я стал замечать в ее отношениях ко мне какую-то осторожность и колебания. Весь вечер мы опять были с глазу на глаз, и я убедился, что в ней происходит тяжелая борьба на почве странного чувства привычки и жалости к А. М. и неуверенности в серьезности моего чувства. Мы долго взвешивали и рассуждали о способе выхода из этого тяжелого положения. Она разнервничалась, дошла чуть не до истерики, а я стоял на коленях около нее, целовал ее и успокаивал и в конце концов заявил, что, по моему мнению, единственный для нас исход — это возможно скорее обвенчаться.

Когда я от нее вышел и сколько времени бродил по каким-то улицам, положительно не помню. Знаю только, что у меня гвоздем в голове засела мысль разобраться в самом себе и выяснить самому себе честно и искренно действительность своего чувства к этой девушке и возможность провести намеченный план в жизнь. Я вспоминал всю свою жизнь, свои прежние увлечения, и, само собой (как всегда в таких случаях бывает), все они казались мне ерундой в сравнении с настоящим, и я решил, что если уж это чувство несерьезно, то серьезнее, во всяком случае у меня, никогда не будет.

Для меня, человека ужасно развращенного и испытавшего в этой области для своих лет слишком многое, не может существовать той иллюзии единства любви, которая бывает у натур цельных и неиспорченных, смотря же на дело с точки зрения сравнительного метода, я и теперь, то есть уже много времени спустя, готов признать, что это описываемое здесь чувство было, бесспорно, по крайней мере в *период первых 24-х лет моей жизни,* самое полное и серьезное.

В этот памятный вечер я машинально доплел<ся> до Царскосельского вокзала, сел в первый попавшийся вагон и, приехав в Павловск, долго еще бродил в парке по берегу каких-то прудов и думал, теперь уже более спокойно, и о том, насколько действительна возможность нашего брака, и само собой наткнулся на ту же проклятую, окружающую, как заколдованный круг, стену — недостаток средств.

Да, я тогда понял, как люди под влиянием подобных мыслей делаются убежденными социалистами.

Брак подпоручика с хористкой! Что может быть более несуразного и противного моим же собственным взглядам на брак вообще и брак без средств в частности. Я помню, как я в споре со своим сослуживцем Н. Н. З. разбил его на всех пунктах в его уверенности, что если он женится хотя и без средств на любимой женщине, то будет счастлив.

В минуты жизни спокойные, когда создающиеся взгляды на жизнь есть философский продукт холодного разума, я составил себе формулу, на основании которой закон делает крупную ошибку, не приговаривая к смертной казни людей, вступающих в брак, не имея средств, с интеллигентными, из хороших семей девушками. Я видел воочию, к чему приводили в самое короткое время браки молодых офицеров. Убивать жизнь молодой женщины и плодить кучи себе подобных, не имея возможности их кормить и воспитывать, — это по меньшей мере тождественно самому крайнему уголовному преступлению. Во-первых, преступным эгоизмом является воспользоваться любовью к себе девушки и увезти ее из города и света в такую дыру, как любой из наших армейских гарнизонов. Когда офицер женится на дочери своего какого-нибудь полковника, которая родилась и всю жизнь прожила в такой дыре, это еще отчасти допустимо, но вывозить из столицы девушку — крайнее

свинство. Далее: девушка в своей семье жила при достаточных средствах, получила образование, вращалась в большом кругу знакомств, привыкла быть прилично и даже по моде одетой, бывала на вечерах, в театрах (уже не говоря о том, если сама артистка), и вместо всего этого представить прозябание в отчаянном захолустье в нищенском тряпье и среди кучи детей и дурака-денщика. Через 3 года после такого брака из 100 случаев 95 представляют следующую картину. Муж целыми днями не вылезает из собрания, где тянет «горькую» и проигрывает последние штаны в «макашку», а жена в вечных хлопотах, «учетах копейки» и постоянной тревоге за мужа, одета как последняя прачка, в заколдованном кругу детей, денщика и нищеты... Нет, уже само чувство любви, если оно действительно и немножечко больше, чем простой животный инстинкт, не позволит никогда сделать шага в эту пропасть...

Я счел бы возможным для себя брак с любимой женщиной *только в том случае,* если бы мог предоставить ей жизнь в *условиях лучших,* чем она жила в своей семье, и во всяком случае быть всегда хорошо одетой и ни в чем себе не отказывать, а в случае появления детей дать им воспитание и образование лучшее, чем сам имеешь. Только такой брак, за вычетом, конечно, посторонних и непредвиденных обстоятельств, и может быть мало-мальски счастлив.

Итак, значит, о браке с этой точки зрения (плюс еще некоторые довольно веские соображения) нечего было и думать. «Тянуть канитель» в данном случае было бы недостойно и себя, и ее. На какие-либо серьезные отношения вне брака она никогда не пошла бы. Следовательно, долженствующая наступить развязка была очевидна и неизбежна.

При следующей же встрече мы с одного взгляда поняли друг друга и поняли, что мы оба пережили за эти дни и к каким бесповоротным результатам пришли... Все же объяснить все это друг другу мы не могли, да и не хотели, вернее, это было бы слишком трудно. Оставалось постепенно заглушить отношения и найти какой-нибудь видимый, показной толчок к размолвке, что при нашем напряженном состоянии и страшно обострившемся самолюбии оказалось нетрудным. Так, на этих же днях, просидев целый вечер у нее вместе с А. М. (что одно уже привело меня в со-

стояние злобы), когда мы вместе уходили, она, провожая нас на лестнице, вдруг безо всякой видимой причины вырвала у меня свою руку и, не попрощавшись, исчезла. Этого уже оказалось достаточно, чтобы порвать ту натянутую нить, на которой висела вся тяжесть. Следующие после этого дни я испытывал какое-то странное чувство, состоящее из смеси любви, ненависти, равнодушия, ревности и злобы. И тут, точно нарочно, я, идя по двору Театрального училища, куда ходил искать Богданова, сталкиваюсь с Л. А. К<лечковской>. Мы довольно долго смотрели друг на друга удивленно и молча и, наконец, здороваемся. «Ну, как Вы поживаете, как провели время на Кавказе?» — «Ничего, merci, а Вы как?» — «Merci. А Вы куда идете, может быть, не заняты, так зайдите, поболтаем». — «Нет, merci, сегодня занят, в другой раз...» И я с радостью повернулся и ушел в другую сторону. Тут мне мелькнула мысль воспользоваться этой встречей и возобновить с Л. наружно отношения, дабы навести этим кого следует на ложный путь, развлечь несколько себя, а главное, отвлечь как окружающих, так и себя от действительности последних дней. Как ни казалось мне это сначала противным, я все-таки на это решился. В большой дозе этому способствовало желание сохранить за собой в балетных кругах и среди «салона в 4-м ярусе» прежнее первенствующее положение, которое теперь, с превращением ее из воспитанницы в артистку, было особенно интересно. А главная причина этого контрфорса* была та, что очень уж я зол был на себя, и на судьбу, и на А. С. Т.

Через день я явился в Александринский театр, купил кресло и уселся смотреть какую-то «Перчатку» или «Воспитатель Флаксман». Во время 1-го антракта я встретил Богданова и он затащил меня к себе в ложу, находящуюся как раз vis-à-vis* ложи Л., которая сидела окруженная тремя офицерами и болтала с ними, очевидно не заметив еще меня. Тухнет люстра, начинается 2-й акт и вдруг рядом, в соседней ложе от меня, разделенная лишь барьером, появляется А. С. Т. Я никак этого не ожидал и был так поражен, что в течение 10 минут не мог собрать мыслей. Она села в

---

* Напротив *(фр.)*.

самой глубине ложи, бледная, чем-то расстроенная, и, видимо, совершенно не интересовалась пьесой, ибо в течение целого акта ни разу не взглянула на сцену и, сидя неподвижно, как статуя, не сводила глаз с какой-то точки в пространстве. Я смотрел на нее в упор в течение целого часа и ни разу не встретился с ней взглядом. Судя по всему, она тоже чувствовала себя эти дни не лучше моего, словом, мы мучили таким образом друг друга, сами не зная для чего, но изменить этой тактики не могли и не хотели. В эту минуту, сидя в полутемной ложе и глядя на нее, я готов был пожертвовать всем для этой девушки и готов бы был, кажется, отдать полжизни, чтобы только быть единственным и самым близким к ней человеком. Но кончился акт, и она, вероятно сказав, что ей нездоровится, уехала домой. Я видел, как она быстро оделась и в сопровождении А. М. уехала. Тут, не знаю почему, меня вдруг опять обуяли какие-то противуположные мысли и чувства, и я, сам не знаю почему, поднялся в бельэтаж и быстрым шагом вошел в ложу Л., где начал сразу разыгрывать в высшей степени весело настроенного и довольного собою человека, что мне тогда навряд ли удавалось. В середине 3-го акта мы тихонько вышли из ложи, поднялись наверх и сидели у нее в будуаре... до 4-х часов ночи. Сначала я показал ей письмо, которое для нее приготовил, но почему-то не послал и в котором три дня тому назад писал, что между нами все должно быть кончено, ибо я не желаю ее обманывать (!!!). Она спокойно прочла это письмо, сложила его, возвратила мне и заявила, что «все это пустяки, и ты по-прежнему меня любишь» (а? какова штучка?!!). Меня сначала поразила такая нелепая самоуверенность, но потом заинтересовали ее мотивы, и мы на этой почве проболтали до 4-х часов утра. В заключение я с ней расцеловался и ушел... Убей меня Бог, если я сам мог тогда, да и теперь, отдать себе отчет в этих поступках. Положительно мною руководила какая-то посторонняя и удивительно несуразная сила.

В этот сентябрь 1906 года, весь погруженный в мысли о А. С. Т. и каждую минуту сознавая всю ложь своего положения в отношении Л., я, как это ни странно, дошел до наибольшей близости к этой последней и даже до крайних пределов наших отношений... В этот период времени Л., вы-

ражаясь языком артиллериста, «открыла по мне убийственный огонь» и пользовалась всеми средствами, находящимися в распоряжении женщины, желающей во что бы то ни стало отдаться... Искусство ее в этой области прямо поразило меня. Не знаю, чему это приписать, крайней ли испорченности моей или какому-то необыкновенному состоянию сердечного столбняка, но я, не имея ровно никакого чувства к этой женщине, обладал ею как чем-то должным, разыгрывая при этом весьма спокойно увлеченного любовника... Какие мысли и чувства наполняли тогда мое внутреннее «я», положительно не могу сказать. Это был какой-то сумбур, в котором ни я сам и никто никогда не разберется.

Что касается Л. А. К., то ей стоит посвятить несколько строк в этих воспоминаниях, ибо подобные экземпляры весьма редки и даже в литературе еще не тронуты. Эта женщина основным принципом своей жизни имела стяжание вокруг себя поклонников и любовников, без ограничения их как в качестве, так и в количестве. Доискаться корня подобной ненормальности для девушки в 18 лет весьма трудно. Отчасти это можно объяснить наследственностью от мамаши, известной своими многочисленными авантюрами как в России, так и за границей; отчасти же проблесками половой психопатии, опять-таки наследованной от папаши, также известного в молодости забулдыги, пьяницы и развратника. Прекрасное влияние Театрального училища и целой библиотеки самых отчаянных бульварных романов дополнили остальное и вылепили эту «цельную натуру». Еще будучи 16-летней девочкой, она была уже пропитана насквозь ложью во всем и везде. С этого возраста она уже начала эту странную и бесцельную игру, которую продолжает и в настоящую минуту. Когда за ней ухаживали четверо молодых людей, она старалась каждому показать, что предпочитает именно его, причем для доказательств не стеснялась в средствах, то есть с каждым по отдельности, будучи tête-à-tête, говорила на «ты», обнималась и целовалась, говоря про остальных троих, что это дураки, над которыми она издевается. Я понял эту комбинацию почти сразу же, как попал в число «ее друзей», и во избежание быть в глазах других таким же дураком, начал тоже «контригру». Подобные отношения с перерывами и переменами

длились все же около 3-х лет, причем последний год я, несмотря на все ее хитрости и самые рискованные обманы, вошел в круг ее тактики и сделался как бы посторонним наблюдателем этой интересной комедии. Интереснее всего то, что положительно нет возможности объяснить цель, ради которой она вела одновременно эти шесть довольно серьезных романов. О желании подцепить жениха побогаче не может быть и речи, ибо из нас шестерых наибольшим и фактическим успехом пользовались как раз те, которые были бы для нее самой неудачной партией в материальном смысле. О каком-либо чувстве или симпатии с ее стороны также трудно говорить, ибо невозможно себе представить женщину, любящую одновременно шестерых. В течение зимы 1906 года с четырьмя из нас она обручилась (!), с двумя сговорилась бежать и в заключение пятерым отдалась!!! При этом следует добавить, что это очень неглупая, развитая и начитанная женщина. К своей балетной карьере она относилась с пренебрежением и недоверием и не раз говорила и писала мне, что ее приводит в отчаянье профессия, при которой приходится фигурировать полуоголенной (!!!). Я, конечно, успокаивал ее, говоря, что на балет следует смотреть главным образом как на высокое искусство и что порядочная девушка и с характером сумеет себя сберечь не только на сцене, но и в самом последнем притоне. Мамаша ее не раз выражала надежду, что я возьму на себя роль ее охранителя в театре от нескромных авансов «этих господ, которые ходят в балет, чтобы любоваться молодым голым телом»... Черта с два! Тут сам Цербер с целым жандармским эскадроном не охранил бы этой невинной скромности. Тем не менее я первые 3—4 спектакля был неразлучно с ней и, само собой, так добросовестно «охранял» ее, что сам же явился первым нарушителем...

На одном из спектаклей, в котором она была не занята, мы приехали вместе в театр, и, несмотря на все старания, она не могла найти себе места. Не имея другого выхода из подобного положения, мне пришлось ввести ее в свою ложу и неизбежно познакомить ее со своими абонентами. В числе последних находился А. М. М<едников>, и вот тут-то и началась новая, «седьмая», комедия, впоследствии так нашумевшая в балетных кругах, да и в городе. Я, так хоро-

шо изучивший Л., с места в карьер усмотрел с двух взглядов возникновение «нового дела» и от души пожалел А. М., который при подобной громадной опытности и большого выбора средств Л. неминуемо должен был влезть в самую глупую и даже грустную историю. После балета мы с Л. вдвоем ужинали в кабинете у Лейнера, где я сильно смутил ее, высказав свой взгляд на ее предстоящую «игру». Считая А. М. хорошим своим приятелем и искренне желая ему добра, я пытался было в течение нескольких следующих дней воспрепятствовать их сближению, но это, к сожалению, по глупости и доверчивости А. М., не удалось, а еще через неделю уже было бы поздно. В этот период времени я совершенно перестал бывать у Л., ибо совершенно не имел в виду ссориться из-за нее с А. М. Само собой, что он сыграл буквально ту же роль, что и каждый ее «друг», и я почти безошибочно определил, когда этот роман закончится, то есть через 1 $^1/_2$ месяца, что и подтвердилось.

IX

Любовные интриги. — Новые порядки в Кронштадте. — Служебные курьезы. — Артиллерийский бал. — Ужин у Контана. — Рождество 1906 года. — «Опасный» стол в ресторане «Вена»

Пермь. 17-XI 1907 года.

Итак, в «салоне 4-го яруса» ближайшими «друзьями» Л. в конце сентября 1906 года были: я, кавалерийский юнкер К., артиллерист Д., измайловец К., моряк Т., студент С. и А. М. М. Кроме меня, наиболее значительную роль играл кавалерист К. В описываемый день я привез ее днем с репетиции «Лебединого озера» из Мариинского театра. Мы прокатились по Морской и Невскому и приехали домой обедать. Там уже сидел явившийся в отпуск из училища К. (вследствие отсутствия его родных, он временно ходил в отпуск в семью Л.). Во время обеда я заметил у К. весьма нервное настроение, он ничего не ел и о чем-то мрачно думал. Само собой, что и для меня, и для Л. были понятны мрачные мысли К. После обеда Л. пошла переодеться, что-

бы идти в училище на репетицию «курантов» для балета «Кот в сапогах», куда и просила меня проводить ее. Я проводил ее, вернулся и сел за рояль бренчать. К., ходивший мрачно взад и вперед по гостиной, внезапно куда-то исчез. Около 9 часов явились юнкер Д., потом А. М., мы сидели в гостиной и болтали. В 10 часов я встал, чтобы пойти в училище за Л., как она просила. Д. и А. М. спустились вниз, в театр, смотреть пьесу. Около ворот училища я встретил Л., шедшую вместе с подругой танцовщицей Лукашевич. Мы втроем вошли в театр. Л. просила нас пройти в гостиную, а сама пошла в контору к отцу. Только что я успел раздеться, как навстречу мне кинулась горничная (знаменитая Полина, поверенная всех тайн Л.) и с криком «ужасное несчастье» увлекла меня через всю квартиру в кабинет полковника. Там я нашел лежащего без сознания К. и громадную лужу крови около кресла. Беспомощно висящая его левая рука была в 4-х местах глубоко порезана бритвой; на столе валялся револьвер с двумя патронами, оба стрелянные, по-видимому давшие осечку. Рядом с револьвером лежало письмо, адресованное Л. Я смутился, но смущение это продолжалось всего несколько секунд. Чересчур декоративно-трагическая обстановка этого экс-покушения на самоубийство наводила на улыбку. Я быстро спустился в театр по направлению к конторе, дабы разыскать Л. На полпути я ее встретил. Ожидая каждый день подобного происшествия, она, видимо, была подготовлена. «Ну, что Мира... я так и знала, я была убеждена, что он сегодня это выкинет...» Она довольно хладнокровно вошла в кабинет, изобразила, видимо, с большим усилием, на своем лице испуг и отчаянье, взяла письмо и стала читать. В это время подошли А. М. и Д., горничная привела дежурного врача, который констатировал легкий и неопасный для жизни порез, а бесчувствие от потери крови. Мы общими усилиями уложили К. на носилки и потащили через весь театр по фойе в перевязочную. Счастье, что не было антракта, но все же несколько лиц (как оказалось потом, сыщики, присутствовавшие в театре по случаю царского дня) видели нашу процессию. Я был без шашки и в запачканном кровью сюртуке, что, вероятно, и навело какого-нибудь досужего хроникера на мысль о происшедшей якобы дуэли.

Как бы там ни было, но история все-таки была не из приятных и даже на нас, посторонних, подействовала. С бедной Лукашевич чуть не сделалась истерика, а горничная выла, как сука на луну. Я пошел в будуар к Л., чтобы успокоить ее, вхожу, открываю дверь и вижу ее весело хохочущей. Она не может удержать хохота, протягивает мне письмо К.: «Прочти, что этот дурак написал... он думает, что заставит меня такими идиотскими поступками разлюбить тебя... нет, никогда», — при этом она довольно выразительно доказала «свою любовь». Подобная сцена в присутствии подруги ее, для меня посторонней, порядочно меня ошеломила. Это был, кажется, единственный случай, когда она пренебрегла присущей ей осторожностью. Спустя $^1/_2$ часа мы все сидели уже в гостиной, пили чай и мирно болтали о происшедшем, причем Л. весь вечер была в каком-то особенно веселом настроении. Так как везти К. в училище было невозможно, то он остался здесь. Его уложили в комнате мамаши, уехавший в Крым, а я оставался при нем в течение 3-х суток. Когда я заявил Л., что считаю необходимым для исчерпания инцидента объясниться с К., она умоляла меня чуть не на коленях не говорить с ним ни одного слова о ней. Очевидно, она поняла всю опасность своего положения в случае подобного объяснения, ибо тогда выяснилось бы слишком многое...

Надо отдать справедливость, что для женщины нужно много ума, искусства и изворотливости, чтобы ухитриться пятерых любовников ввести в заблуждение относительно роли каждого. Тут мало способности, нужен талант. Что я давно уже не нахожусь в заблуждении, а, наоборот, состою в курсе всех ее дел, это она знала уже давно (вероятно, потому она и дорожила так мною), но в этот вечер она поняла, что мне ничего не стоит погубить все ее планы и в виде должной кары предать ее на суд всех ее «друзей». Ничего в мире она так не боялась, как быть разгаданной всеми, а единственным человеком, который мог в любую минуту доставить ей это удовольствие, был я. Я хотел было одним ударом прикончить всю эту недостойную комедию, но она так искренно умоляла меня не делать этого, что мне ее жалко стало и я предоставил ей продолжать околпачивать наивных дураков до тех пор, пока сама не попадется.

На другой день в «Петербургском листке»* появилась вздорная статья о состоявшейся якобы между мною и К. дуэли на почве ревности с его стороны. По этой статье выходило, что мы дрались из-за Л. на шашках и я нанес 3 удара К., перерезав вены и артерии левой руки. К сожалению, этот вздор попал на следующий день в виде перепечаток еще в 3 газеты, и пошел благовест...

Вот как нетрудно иногда попасть в герои дня!!!

В Кронштадте в сентябре 1906 года вакантное место командира нашей артиллерии заместил некто полковник А. А. Маниковский*. Будучи еще очень молодым и на пути большой карьеры, этот полковник оказался из типа так наз<ываемых> «подтягивателей». Приехав к нам из Либавы и найдя столь распущенную часть, он ничтоже сумняшеся пустил с места в карьер такие репрессии, что все офицерство пришло в ужас. Само собой, что подтянуть и привести в надлежащий вид 6000 солдат и 120 офицеров таким способом оказалось не так-то легко. Такая тактика вызвала только всеобщее озлобление и целую сеть обходов новых правил. Так, когда прикрыта была «макашка», офицеры стали собираться друг у друга на квартирах для игры, что давало еще более худшие результаты. Запрещение частых отпусков в Петербург вызвало целую кучу рапортов о болезни и т. д. Командир сей стал ежедневно обходить казармы в 8 часов утра и отсутствующих офицеров записывать в книжечку, потом учредил лекции о практических стрельбах, которые сам читал по 2 раза в неделю в собрании и на которых половина присутствующих буквально засыпала. Словом, день ото дня требования увеличивались и служба становилась прямо невозможной. Потом он начал переводить офицеров безо всякой видимой причины «для пользы службы» из одной роты в другую и рассортировал почти всех в новые роты. Так и я, пробыв более двух лет в 1-й роте, вдруг был переведен в 19-ю. Моим новым командиром оказался капитан В. В. Лукьянов, который сам постоянно то «болел», то удирал в Петербург, благодаря чему мне приходилось торчать безвыездно в Кронштадте, ибо я был единственным младшим офицером в роте и оставался за командира. Обыкновенно в субботу он спрашивал меня, что я думаю насчет воскресенья. Я отвечаю, что думаю

быть при роте, и спрашиваю в свою очередь, как он — «я тоже буду при роте». В воскресенье же вечером мы сталкиваемся в фойе Мариинского театра (он тоже хаживал в балет) и, смущенные, делали вид, что не видели друг друга. Впрочем, бывали случаи и почище.

У нас существует масса всяких совершенно не нужных караулов и дежурств, причем на некоторых отдаленных батареях дежурства недельные. Само собой, что высидеть неделю где-нибудь на Ижорской батарее или на Финской — это форменная каторга, ибо хуже всякого одиночного заключения. Контроля караулов на этих батареях ввиду их отдаленности также никакого не производится, а потому офицеры искони веков удирали в Питер. Финская батарея находится в полуверсте от Сестрорецкого курорта и является особенно удобной в смысле «дежурств на ней». Наивное начальство поражалось, с каким рвением офицерство едет дежурить на эти батареи, меняется, стараясь попасть в это недельное заточение, и часто даже само просится. Новый адъютант ш<табс>-к<апитан> Самусьев прекурьезно рассказывал, как он был удивлен однажды, идя по Пассажу в Петербурге: «Иду я по Пассажу, вдруг вижу, идет впереди под руку с девицей дежурный по Финской батарее, я долго думал, как бы себе это объяснить, и хотел уже подойти спросить его, как вдруг вижу, стоит около театральной кассы и покупает себе билет дежурный по Ижорским батареям... Спустя 5 минут захожу в магазин, а там сидит и слушает граммофон дежурный по караулам!..»

Однажды во время «дежурства» моего на Финской батарее тоже вышел курьез. Мой командир, кап<итан> Лукьянов, обедал у танцовщицы Л. П. Бараш и между прочим рассказывал ей про свою роту и про меня. «Как же, как же, я знаю Дениса Иваныча, он такой милый, вчера он был у меня...» Лукьянов остолбенел: «Вот как, вы говорите, он у Вас был?» Тогда сообразив, что, может быть, подвела меня, она хотела загладить свой промах: «Да вы не думайте, что он все только по танцовщицам разъезжает, он и служит аккуратно, я знаю, что он каждый день ездит туда, на свою батарею...» Хорошо еще, что Лукьянов сам в это время находился «в утеке», а то бы непременно поднял историю!

6 ноября был бал в Морском корпусе. Я раньше еще обе-

щал ехать туда с танцовщицей А. П. Домерщиковой. Вечером я заехал к ней, довольно терпеливо ждал, пока парикмахер строил у нее на голове Хеопсову пирамиду, и, наконец, мы поехали. Бал оказался весьма многолюдным. С трудом прошли мы бесконечную анфиладу разукрашенных и декорированных зал. Около двух часов ночи мы начали искать всех «своих» и, наконец, образовали в одной из зал свой кружок. Здесь были исключительно танцовщицы и балетоманы. В 5-м часу утра, порядочно утомленные, мы двинулись домой и простояли, как сейчас помню, битый час в ожидании наводки Николаевского моста.

На следующий день 7 ноября я и Савицкий, завтракая в собрании, надумали блестящую мысль: привезти на предстоящий наш артиллерийский бал 8 ноября нескольких танцовщиц. После долгих размышлений решено было пригласить А. П. Павлову, Л. Ц. Пуни, Л. П. Бараш и А. П. Домерщикову. На следующий день мы отправились в Петербург приглашать, но, как оказалось, А. П. Павлова была вечером занята в каком-то благотворительном спектакле, а Л. Ц. Пуни была не совсем здорова и не могла ехать. Что же касается Бараш и Домерщиковой, то они согласились, если, впрочем, Бараш успеет оттанцевать в «Руслане» лезгинку. Так как Савицкий должен был вечером ехать на дежурство, то я и Стрекачев взялись доставить до Кронштадта наших дам. Вечером Стрекачев отправился на Чернышев переулок за А. П. Домерщиковой, а я поехал в Мариинский театр за Л. П. Бараш. «Руслана», как назло, тянули бесконечно долго, и я весьма основательно опасался, что мы опоздаем на поезд. 3 раза посылал я курьера на сцену поторопить Л. П. Бараш, которая, наконец, оделась и вышла. К счастью, попался прекрасный извозчик, который летел сломя шею на Балтийский вокзал, где уже ожидали нас Домерщикова и Стрекачев. Мы приобрели отдельное купе I класса и поехали в Ораниенбаум, где пересели на пароход. В каюте пили вино и порядком балагурили.

Кстати, следует заметить, что Кронштадт наш, несмотря на 20-верстное расстояние от столицы, в сущности глухая провинция. Особенно сильно это заметно на так называемом «офицерском обществе». Многие из артиллерийских офицеров женаты на местных купчихах и дочерях попов и

морских чиновников, всю жизнь безвыездно проживших на богоспасаемом Котлине и не нюхавших столичной светской жизни. Вследствие войны и беспорядков балов в собрании не было около 4-х лет, и потому этот предстоящий бал был для туземных дам и девиц праздником, к которому они, по-видимому, готовились целый месяц, следствием чего получились отчаянно безвкусные лиловые и зеленые платья с желтой или синей гарнитурой и с напяленными куда попало кружевами и бантами. Что же касается нашего офицерства, то оно на подобных вечерах делилось не на танцующих и нетанцующих, а на пьющих и непьющих, причем пьющие (т. е. вся лучшая часть молодежи) пили, а остальным, т. е. непьющим, ничего не оставалось, как танцевать и занимать «своих дам».

Так было и в этот знаменательный вечер. Бал начался часов в девять. Расфуфыренные дамы и девицы сидели как павы вокруг залы. На почетных местах сидел комендант с комендантшей, а в зале вяло кружились 3—4 пары «обязательных кавалеров» с дочерьми батальонных командиров. Внизу же в буфете почти вся молодежь выпивала и закусывала в ожидании появления более интересных дам. Бал тянулся весьма вяло. И вот в подобной обстановке приехали мы. О нашем прибытии было сообщено «внизу», получилось действие электрической искры, вся молодежь встретила нас восторженными аплодисментами, и, как только мы вошли в зал, вечер сразу переменился. В буфете никого не осталось, ибо все «пожелали танцевать». Само собой, что появление двух хорошеньких, прелестно одетых артисток моментально привлекло к нам все офицерство, и «обескавалеренные» туземные дамы были не особенно приятно поражены. Дирижировать танцами начал князь Церетелли. Началась мазурка, в которой кавалеры стояли гуськом в ожидании очереди танцевать с артистками. Двое из офицеров Л. и Ш. слетали в цветочный магазин и ухитрились ночью, через черный ход, достать два роскошных букета живых роз, которые и были вручены во время котильона Л. П. Бараш и А. П. Домерщиковой. Протанцевав около часу, я предложил своим дамам ужинать, мы спустились вниз, и, как по волшебству, в зале остались почти исключительно пожилые и нетанцующие офицеры, внизу же обра-

зовался громадный стол, центр которого заняли Бараш, Домерщикова, я, Стрекачев, Крашевский, Бараков и пр. Ужин был удивительно веселый, с многочисленными тостами за процветание балета и за здоровье наших милых дам. Полчаса спустя и все остальные спустились вниз, ибо, по-видимому, там танцы не клеились. За ужином шампанское, что называется, рекой текло и молодежь вся солидно подвыпила, не отстал от них и я. Наши громкие разговоры и тосты дали первый повод злословию полковых папенек и маменек, натурально недовольных невниманием офицерства к их дщерям и женам. Зависть столь полному комплекту кавалеров у наших дам вылилась также и в злобе на несправедливое якобы награждение цветами. Между тем некоторые из сидящих за нашим столом упросили Л. П. Бараш станцевать с князем Церетелли лезгинку. Так как оркестр был уже отпущен, то я сел за рояль в библиотечном зале и играл, а они танцевали. Я играл всевозможные танцы, и в конце концов кончили бальным кекуоком. Тут командир, как бы ждавший случая придраться, просил прекратить танцы и вызвал Церетелли и меня на объяснение. Я ответил, что играл кекуок, лишь исполняя просьбу всех присутствующих и дирижера танцев. Разговор же с Церетелли кончился тем, что последний сказал командиру какую-то обидную дерзость, и... таким образом кончился пир наш бедою! Во время ухода и одевания я из-за какого-то пустяка повздорил с А. П. Домерщиковой и отправился в дежурную комнату спать, все же остальные, сопутствуемые целым кортежем офицерства, отправились на пароход.

Через 3 дня при моем появлении в балете как Бараш, так и Домерщикова, вполне естественно недовольная моим поведением, были на меня в большой претензии. С трудом удалось помириться и восстановить прежние отношения. Для окончательной сгладки скверного впечатления решено было устроить хороший ужин у Контана*. По окончании спектакля Е. В. Бараков поехал заказать кабинет получше, Стрекач остался ждать Л. П. Бараш, а я был командирован на Чернышев переулок, дабы привезти для Домерщиковой шелковую кофточку, без которой она почему-то не могла ехать. По доставке мною этой кофточки она переоделась на сцене в уборной, а ту кофту, которую сняла, завернула в па-

кет и отдала мне на сохранение. Через $^1/_2$ часа мы все сидели у Контан, слушали через открытое в зал окно оркестр и пили за здоровье наших дам... Так как компания наша была интимная, т. е., что называется, «только свои», то мы порядочно шалили и балагурили. Этот симпатичный ужин закончился, кажется, общим матчишем* под звуки «Румын Жоржески», а затем мы поехали подышать чистым воздухом по Дворцовой набережной. Ехали на одиночках «попарно». По дороге я, кажется, уверял Л. П. Бараш, что она «единственная» женщина, способная возбудить во мне серьезное чувство... Впрочем, мы оба в это же время весело хохотали и придумывали всевозможные каверзы...

Приехав поздно (т. е., вернее, рано) домой, я вспомнил, что пакет с кофтой Домерщиковой оставил на камине в кабинете у Контана. Днем на другой день я заехал к Стрекачу и мы поехали выручать кофточку. Добыв ее, мы заехали «на минутку» в «Вену» и, проиграв там на бильярде добрых два часа, забыли про кофточку и поехали в оперетку. На третий день кофточка подобным же образом переехала к Лейнеру, на четвертый застряла у Доменика*, и, наконец, чуть ли не неделю спустя управляющий у Кюба любезно протянул мне злосчастный пакет, когда я уже выходил, и кофточка попала таким образом к своей хозяйке...

Был конец декабря, и мы, т. е. завсегдатаи дома на Чернышевом переулке, решили сделать елку. Я и Стрекач отправились к Александру и набрали целую корзину всякой требухи вроде бонбоньерок, дождей, свеч и прочей ерунды, а Бараков отправился на Николаевскую за елкой. В сочельник мы, прихватив пару бутылок шампанского и фруктов, явились украшать елку. Когда почти всю ее убрали, то Стрекач, как самый длинный, взялся укрепить на вершине звезду и при этом с поразительной ловкостью, оступившись со стола, въехал своей персоной в елку, повалив и ее, и себя. С большим трудом удалось восстановить прежний порядок.

Эта зима 1906 года вообще и Рождество особенно были каким-то сплошным угаром балов, вечеров, спектаклей и ежедневных кутежей. Положительно в Петербурге не осталось ни единого хорошего ресторана, в котором наша компания не побывала бы. Особенно памятна целая серия ве-

ликосветских маскарадов в Мариинском театре, на которых я, Стрекач, Бараков, Яриллов, Денисьев, Трофимов, Выходцев и прочие считали своей обязанностью постоянно бывать. Один из этих вечеров под названием «Как в Париже» был что-то сверхъестественно невероятное. Во время балетного дивертисмента я и Стрекач вылезли на сцену вместе с Трефиловой. Потом участвовали в живых картинах, изображая «Бурлаков на Волге», пили водку в уборной с Жоржем Педдером и Кусовым, выпили все в общей сложности 16 бут<ылок> шампанского и попали в конце концов к Кюба в половине шестого утра. Трофимов разъезжал по всем хорошим кабакам, творя грандиозные «экривэ»*. Все-таки изо всех ресторанов мы чаще всего бывали в «Вене», причем стали замечать, что в одном из зал находится магический круглый стол, за который стоит только сесть, непременно напьешься и выкинешь какой-нибудь небывалый номер. Убедившись в действительной силе этого стола, мы стали его избегать и назвали «опасный стол». Это напомнило мне одного нашего офицера, который рассказывал, что купил однажды сапоги, обладавшие подобной же магической силой. Стоило только их надеть, чтобы потерять всякую надежду попасть домой раньше утра!.. В других сапогах он хотя и бывал в ресторанах, но не напивался и всегда вовремя был дома. Разозлившись на эти сапоги, названный офицер подарил их своему денщику... и о ужас!.. Не бравший в рот вина денщик начал пить запоем, адски буянил и каждую ночь являлся домой пьяным.

Придя однажды часов в 5 дня в «Вену» обедать, я и Стрекач не нашли ни одного свободного столика. В это время метрдотель доложил, что сию минуту одна компания уходит и освободится стол. Действительно вскоре освободился стол, но... как раз «опасный». Мы долго не решались, что предпринять, но наконец, решив, что нельзя обращать внимания на ерунду, сели. Решив скромно пообедать, мы тем не менее незаметно подвыпили и, не знаю почему, так раскутились, что попали еще к Пертцу, а оттуда не более не менее как... в Москву, т. е., попросту говоря, сели на 8-часовой скорый поезд и отбыли в Москву на бенефис Е. В. Гельцер. Приехав, мы традиционно позавтракали у Тестова, отправились слоняться по Москве, нанесли в На-

циональной гостинице визит М. Ф. Кшесинской, вечером достали ложу 2-го яруса на бенефис и уехали на другой день в Петербург лишь благодаря нашему бывшему офицеру князю Церетелли, встретив его совершенно случайно на Арбате в шикарных собственных санях. Он потащил нас к себе, познакомил с женой, угостил роскошным обедом и проводил в своей карете до вокзала. На вокзале, выпив кофе с ликером, мы ухитрились в переполненном курьерском поезде раздобыть пару мест <в> международном спальном вагоне 1-го класса вместе с Б. Политковским. До самого Клина и даже дальше вся многочисленная компания петербургских балетоманов соединилась в вагоне, занятом М. Кшесинской, Седовой, Безобразовым и супругами Лихачевыми, и устроили походный ужин. М. Ф. сама резала и приготовляла бутерброды, поросенка с хреном и прочее. Пили прямо из горлышка пиво и вино, а я и Седова чистили ножи и мыли посуду. Как экспромт это был превеселый ужин со многими кипроко. Ночью мы наподобие Холмсов и Пинкертонов рыскали из купе в купе, разыскивая спрятанную В. В. Абазой бутылку 150-рублевого коньяку, подаренную ему московским мимопером — ресторатором Карзинкиным. Не найдя полуторастарублевого коньяку, мы удовольствовались в Твери десятирублевым, который торжественно и распили.

Вот чем кончается иногда скромное желание пообедать за «опасным» столом в «Вене».

Часть третья

Театр и жизнь на изломе эпох



I

Карточная игра. — Вновь служебные курьезы. — Балетные нравы. — А. П. Павлова и В. А. Трефилова. — Благотворительный спектакль в пользу вдов и сирот погибшего миноносца «Стерегущий». — Ужин у Лейнера. — Трагическая смерть С. Легата. — На Кавказе летом 1906 года. — Музыкальный сезон в Кисловодске. — Поездка в Тифлис

Для того чтобы бывать 6—7 раз в месяц в балете (помимо оперы, драмы и концертов) — необходимо было иметь всегда самый свежий сюртук (новый от портного или только что отутюженный), непоблекшие эполеты, рейтузы, безукоризненные лакированные сапоги с серебряными савельевскими шпорами*, свежую портупею и легкую шашку. Необходимо было очень ловко освобождаться, а иногда и удирать со службы из окаянного Кронштадта, в снежную вьюгу для переезда по морю иметь николаевскую бобровую шинель* и т. д.; а чтобы делать цветочные подношения и ужинать после балета в артистической компании и вовремя попадать на батарею, конечно, нужны были немалые деньги.

Сам по себе абонемент, т. е. место в ложе, обходилось 100—120 рублей за сезон, но одежда, цветы и ужины — во много раз больше... А жалованье подпоручика было 55 рублей. Ну да еще настреляешь за дежурства на фортах рублей 35—40. Итого в лучшем случае около 100, а нужно было 300—400. И нам давали их... карты. Везло нам просто феноменально, иногда фантастически. В своем собрании макао не прекращалось почти 24 часа в сутки и можно было смело, в любое время дня и ночи, застать хотя бы один действующий стол. Хотя большинство наших офицеров были женаты на местных богатых купчихах и крупных кронштадтских домовладелицах, все же своя семейная игра не могла быть очень крупна, и единоличные выигрыши редко превышали 600—700 рублей. О таких выигрышах или про-

игрышах на другой день было известно чуть не всему городу. В местном Коммерческом собрании игра была покрупнее, но наше офицерство редко там бывало.

На игру в своем собрании мы смотрели лишь как на затравку и, взяв 100—150 рублей, что было и незаметно на двоих, предпочитали ехать в Питер, в Железнодорожный, а позже в Купеческий клуб, где и показывали фокусы. Играли мы в большинстве случаев сообща, пополам, довольно осторожно; очень редко сами садились метать банк, имели выдержку и силу воли, взяв нужную сумму, дальше не играть. Сами зарывались очень редко и, проиграв сравнительно немного, оставались у разбитого корыта, но, повторяю, это было очень редко. Тогда мы закладывали свои ценные вещи и лишнее платье, выкручивались, отыгрывались и снова шли по счастливой тропинке. Точно сама судьба покровительствовала нашему увлечению балетом!.. Раз Савицкий в Железнодорожном, заложив банк в 40 рублей, открыл подряд 5 д'амблэ и снял 1300 рублей. (Тогда, помню, мы заказали своему Соловьеву бобровые шубы.) Другой раз, весной, уже в ростепель, я выехал из Кронштадта в 3 $^1/_2$ часа с 10-ю рублями, под самым Ораниенбаумом провалился в полынью, но успел вскочить на сиденье кибитки. Чухны выпростали лошадь, и я приехал в Ораниенбаум до пояса в воде. Но шла «Жизель» с Анной Павловой и нельзя было не попасть...

Сердобольный жандарм дал мне свои синие рейтузы, сапоги и белье, оставив мое сушиться. Я выпил пару больших рюмок рома с кофе, сел в I класс, заснул, после ванны, до Питера, куда приехал в 6 часов, прямо в клуб, с 7-ю рублями. Это была уже дерзость. Однако в течение 40 минут я из 7-ми сделал 80, успел по телефону заказать в «Fleur de Nice»* изящную корзиночку, пообедал у Лейнера и в 8 часов был в своей ложе. В этот вечер произошел курьезный случай. Самарский офицер Сережа С. припер в ложу треногу с астрономической раздвижной трубой и установил ее. Публика, натурально, обратила внимание, многие смеялись, однако дело дошло до коменданта театра, полковника Леера, который пришел к нам узнать, в чем дело. Сережа спокойно ответил: «Я улавливаю звезды балетного небосклона». — «Это очень хорошо, а все-таки трубу свою уберите во

избежание неприятной беседы с дежурным плац-адъютантом». Трубу пришлось убрать, и опыт астрономии не удался.

После балета мы ужинали с А. П. Павловой у Кюба, проводили ее домой на такси и поехали опять в клуб, где взяли уже около 400, вовремя бросили игру и остались в «запасной комнате» ночевать, а утром с первым поездом проехали в Ораниенбаум, где я переоделся в свое высохшее платье, и в 9 часов мы были в своих батареях. Везло нам и не только в картах. Офицеры знали о нашем увлечении (многих и мы туда же увлекли), добродушно злорадствовали, когда было ясно, что мы неизбежно должны были не попасть в театр. Раз мы за какой-то фортель влипли оба на 7 суток на гауптвахту. Офицеры потирали руки, приговаривая: «Ну вот, теперь ни Лешков, ни Савицкий не попадут ни в воскресенье, ни в среду в свой балет». Но в этот день в Москве Каляев ухлопал Сергея Александровича*, и на казенные театры наложен был траур на 2 недели!.. Другой раз я попал в караул, в рунды*, в воскресенье. Я объехал все форты днем на катере и приказал фельдфебелям вечером на телефонные запросы отвечать, что я только что был и уехал на другой форт. Так оно, как я потом узнал, и было. Телефоны были плохие, дозваниваться надо было по часу, и комендантский штаб-офицер так и не уловил меня, как летучего голландца, а я решил проверить еще несуществующий караул в Ораниенбауме. Шкипер был преданный нам старик и ужасно любил изображения царя на желтых кружочках. Он терпеливо ждал меня в Ораниенбауме, не на военной, а на коммерческой пристани, пока я прорундовал «Корсара»*. (Явно подсудное дело.) Савицкий пришел в ужас, когда я появился в ложе. Но на этот раз без всякого клуба (запас был). И я на последнем поезде, поужинав уже в Ораниенбауме, приехал ночью на форт «Константин», где хорошо выспался и утром сменился.

Так продолжалась наша развеселая жизнь до 1907 года, когда я вышел в отставку, и далее с перерывами до 1915 года, когда война уже была в разгаре. Само собой, что при таких условиях нас в балете считали за богатых рантье, что отчасти было и хорошо, ибо иначе нам не удалось бы проникнуть в самую гущу актерской среды и изучить ее. Строго говоря, балетная семья с ее нравственными устоями и

внутренним бытом мало чем отличается от быта оперной труппы или драматической. Та же адская погоня и зависть к лишнему хлопку, то же соревнование и смертельная ненависть к счастливой сопернице, будь то большой успех ее на сцене или новый богатый поклонник. Лишь образовательный уровень в балете несколько ниже, чем в драме, и потому все эти страсти выражаются в более наивной и грубоватой форме. Здесь нет драматического, с отравленным кончиком, тонкого стилета, но зато пол авансцены часто оказывался натертым теплым вареным картофелем. (Падение неизбежно.) Зато здесь на одной из репетиций «Талисмана», где мужчины заканчивают воинственный танец, втыкая свои копья остриями в пол, один артист «нечаянно» воткнул свое копье не в пол, а в ступню Елены Корнальбы, проткнув ее насквозь. Было целое следствие, сохранившееся в архиве, но «злого умысла» доказать не удалось, а бедная Корнальба вместо дебюта пролежала месяц в кровати...

А нравы здесь были вот какие: 30 апреля 1906 года одновременно были произведены в балерины А. П. Павлова и В. А. Трефилова, но обе они были в разном роде. Павлова была подлинная трагическая актриса, которая своей мимикой достигала потрясающего драматизма. Она была высокая, тонкая, худенькая брюнетка, была прекрасной классической танцовщицей и обладала редкой элевацией (воздушностью). Когда она делала прыжок, то казалось, что это нечто неземное, как это старые театралы видели 70 лет тому назад у М. Тальони. Павлова была очень низкого происхождения. Отец ее был городовым, позже писцом в полиции, а мать прачкой. (Злые языки говорили, что это подлинная дочь фараона.) Но девочка выросла с незаурядным природным умом и была самолюбивой артисткой, прекрасно понимая свой талант. Лучшие ее роли были, где сильная драматическая игра или бесплотный дух. Это были «Жизель», «Наяда и рыбак», «Баядерка», «Дочь фараона», «Пахита» и «Армида», а позже неповторимая Вереника в «Египетских ночах».

В. А. Трефилова была полной противоположностью. Вся terre-a-terre*, живая, бойкая, миловидная, необыкно-

* Земная *(фр.)*.

венно изящная, прекрасная партерная классичка, но без тени мимики. Она была прелестна в «Коппелии», «Тщетной предосторожности», «Грациэлле», «Спящей красавице» и особенно в прелестном балетике Байера с костюмами Бакста «Фея кукол». Казалось бы, им нечего делить; даже поклонники у каждой были свои, и весьма солидные. Однако вражда между ними была свирепая. Я бывал у обеих и прямо изумлялся тому яду, который они изливали друг на друга. Хотя успех они имели почти одинаковый и каждая имела свой огромный круг публики и ярых, преданных поклонников. Но партии «павловистов» и «трефилитиков» также воевали между собой чуть не до рукоприкладства и частых протоколов. Казалось, что если бы они встретились на нейтральной почве, то вцепились бы друг другу в шевелюры.

Однажды я с Павловой поехал в фотографию Фишера, помещавшуюся на 5-м этаже Мариинского же театра, где Павлова должна была сняться в десятке ролей. Только мы успели подняться на лифте вверх, как из фотографии выходила Трефилова. Они бросились друг другу в самые нежные объятия: «Аничка», «Верочка», — и посыпались восторженные поцелуи. Я буквально остолбенел. И когда наконец они расстались со слезами радости на глазах и Павлова пошла сниматься, то я спустился двумя этажами ниже и буквально отпивался в буфете моэтом от такого реприманда*. Павлова снималась, т. е., вернее, переодевалась, часа 2 $^{1}/_{2}$, и когда мы поехали обратно на Свечной, то она спокойно заявила: «Как я рада, что встретила сегодня эту милую Веру!» Я только искоса на нее поглядел и не нашелся ничего ответить.

Часто бывали и смешанные спектакли всех трупп, главным образом устраиваемые Русским театральным о<бщест>вом в пользу своего «Убежища»*. Но в 1905 году мне довелось быть на таком спектакле, на каком ни прежде, ни позже я никогда уже не был. Это был спектакль в пользу вдов и сирот погибшего миноносца «Стерегущий», и программа его хранится у меня до сих пор. Присутствовали царь, царица, все великие князья и дипломатический корпус. Ложи 1-го яруса стоили по 250 рублей. Весь театр был продан, и попасть было невозможно, но когда увидела

меня и Н. В. Савицкого Н. А. Бакеркина в коридоре, с растерянными лицами, то сразу поняла, в чем дело, и повела нас в свою ложу 1-го яруса, где она сидела вдвоем с каким-то конным гвардейским артиллеристом. Само собой, мы в первом же антракте притащили огромную коробку конфет от Иванова* и таким образом присутствовали на этом замечательном спектакле. Шли «Корневильские колокола» в таком составе: Серполетта — Кузнецова-Бенуа, Монетта — Липковская, герцог Корневиль — Собинов, Гаспар — Ф. И. Шаляпин, а оркестром дирижировал Э. Ф. Направник. Говорить об исполнителях просто не приходится. После оперетты шел одноактный водевиль в исполнении лучших сил балета, а далее разнохарактерный дивертисмент. Первым номером шел галоп в исполнении М. Г. Савиной и В. П. Далматова, а далее последовало pas de deux в исполнении В. В. Стрельской и К. А. Варламова. Стрельская появилась в балетных тюниках и вышла на носочках. Но когда появился «дядя Костя» в виде Зефира в голубом трико с крылышками за спиной и сделал первое jete*, то императрица зажала рот платком и вышла из ложи. В публике с дамами делались обмороки и стоял такой гомерический хохот, какого я не слыхал еще в стенах Мариинского театра. Николай II буквально валился от хохота с кресла, и когда они дотанцевали до конца, то в театре просто стон стоял. Потом исполнил лихого трепака И. В. Ершов, а Давыдов и Васильева исполнили входивший тогда в моду негрский кекуок. Да, это был спектакль шиворот-навыворот, но все эти первоклассные артисты показали себя так, что этот спектакль не может выпариться из моей памяти до сих пор.

Однако балерины далеко не каждый раз ездили с нами ужинать в рестораны, а страшно усталые после спектакля ехали домой и валились в кровать. Мы же стали ездить после каждого спектакля к излюбленному Лейнеру, где у нас был свой стол, который по воскресеньям и средам никому не отдавался. В эти дни к 11 часам на белоснежной скатерти стояли уже 2 больших графина водки в ведерках со льдом, масло, икра, провесной балык, 5 десятков устриц и неизбежный «монастырский» салат. Компания наша обычно со-

---

* Балетный прыжок с ноги на ногу *(фр.)*.

стояла из меня, Савицкого, студента В., дальневосточного прапорщика, крупного коммерсанта А. С. С., вице-директора страхового о<бщест>ва «Жизнь» Ф. Ф. Л. и кого-нибудь из наших абонентов. Часто бывал и товарищ управляющего Гос<ударственным> коннозаводством, граф Ростовцев, а из артистов были неизменно: старик Бекефи, оба брата Легаты, И. Ф. Кшесинский, Георгий Кякшт и кто-нибудь из «начинающей молодежи» — часто М. М. Фокин.

Мы весело закусывали, обмениваясь мыслями о сегодняшнем спектакле, заказывали себе горячее (я почти неизменно борщок и слоеные пирожки с мозгами и котлеты «марешаль» или «варвара», действительный шедевр поварского искусства). Шампанского почти никогда не пили, но выстраивали 8—10 автоматических спиртовых кофейников, строго проверяли одинаковость уровня кофе и спирта, зажигали их одновременно и устраивали тотализатор. Ставки не могли превышать трех рублей и быть менее одного рубля. Когда над одним из кофейников показывался легкий парок — это называлось «вышел на прямую». Первый закипевший и перевернувшийся на коромысле кофейник считался пришедшим к финишу. Ставившие на него обирали все ставки и заказывали ликер по своему вкусу. В 3 часа Лейнер закрывался, и мы с Савицким ехали в клуб, где играли, всегда удачно, до 5 $^{1}/_{2}$, и в 6, когда уже из Новой Деревни отходили первые «кукушки», спали до Лисьего Носа, где садились на паршивый ледорез «Звезда», и в 8—8 $^{1}/_{2}$ были уже в Кронштадте.

Когда мы высыпались — я и сам не понимаю, ибо в 1 $^{1}/_{2}$ часа уже завтракали в собрании, где тоже очень хорошо и изысканно кормили.

У Лейнера бывали и неприятные инциденты, когда являлась Мария Мариусовна Петипа, здоровалась с нами лишь царским кивком, брала за руку Сергея Легата и грубо уводила его, точно он сидел в публичном доме с девками. С. Легат был красавец мужчина в полном смысле слова, первоклассный танцовщик и артист, незаурядный скрипач и очень талантливый художник-акварелист, выставлявший свои жанры с успехом на весенних выставках и оставивший по себе широкую память изданием совместно с братом альбома «Русский балет в карикатурах». Это был живой, инте-

ресный собеседник, жизнерадостный, но безвольный человек. М. М. Петипа женила его на себе, когда ему было 27, а ей 50 лет, когда она уже испытала все розы жизни. Очень красивая в молодости, блестящая характерная танцовщица, М. М. прожила бурную молодость, имела десяток любовников, до градоначальника Грессера включительно, а к старости держала Сергея Легата под своим «характерным» башмаком, а он подчинялся безропотно, как овца, но не выдержал и осенью этого памятного 1905 года, запершись в кабинете, перерезал себе горло бритвой с такой силой, что голова держалась лишь на позвонках. Дверь взломали и нашли его в луже крови мертвым. Эта жуткая трагедия облетела в какой-нибудь час весь город. Похороны его были торжественны и многолюдны и живо напомнили мне, как я 10-летним мальчиком, изорвав свое платье, пробился все-таки в Казанском соборе до гроба Петра Ильича Чайковского, поцеловал его ледяную руку и 3 часа двигался в процессии, голова которой въезжала в Александро-Невскую лавру, а хвост был еще у Казанского собора. Вспомнил я и похороны Антона Григорьевича Рубинштейна из Троицкого собора также в Лавру.

Да, не стало нашего милого Сергея Легата. Это так на нас подействовало, что у Лейнера нам было тяжело смотреть на его пустое кресло и мы перекочевали к соседнему итальянцу Альберу*, где ели ослиную колбасу в $^{1}/_{2}$ аршина диаметром и «лозанну милянезе», запивая это итальянскими крепчайшими ликерами.

В самом начале 1905 года случился в Кронштадте веселый эпизод. Был мороз в 18°, мы с Савицким приехали с утренней стрельбы промерзшие, так что я не мог расстегнуть пальто и снять башлык. Мы подошли к стойке и потребовали по большой рюмке водки. «Ваше б<лагороди>е, так что водки нет», — ответил буфетчик. «Ну, давай коньяку». — «И коньяку нет». — «Да почему же?» — «Так что приехали новые господа прапорщики, что на Дальний Восток, и изволили завтракать...» — «Да сколько же вы запасаете на день водки?» — «$^{3}/_{4}$ ведра»*. — «А сколько же прапорщиков?» — «12 человек!» Это даже и нас, видавших виды, изумило. «Да вот послали еще уже за 1 $^{1}/_{2}$ ведрами, потому что будут обедать». Нам пришлось удовольствоваться каким-то парши-

вым доппель-кюммелем и съесть по бифштексу. Надо посмотреть на этих прапорщиков-живоглотов! Это оказались 12 молодцев, начиная с юного возраста и до 50 лет, как инженер-технолог Хвостов. Были люди самых различных профессий. Тут был уже упомянутый мною коммерсант А. С. Стрекачев — сразу попавший в балет, в одну из наших лож, был полудикий казак Шавринов, трактирщик Митя Бровкин, какой-то Костя Ершов, бывший помощник начальника станции Гриша Перийский, пожилой уже Николин, который был вечно пьян и представлялся при знакомстве: «Николин, день такой есть!» Эта ватага формировалась у нас 2 месяца. На Масленице мы вдвоем со Стрекачевым ели блины, и нам подали в собрании счет за 86 рюмок водки... Я не помню, как очутился с перевязанной разбитой головой в своей постели и пролежал целые сутки.

Мы продолжали посещать балет, я хранил и переплетал все программы и по ним могу насчитать, что к 1923 году я просмотрел «Спящую красавицу» 210 раз, «Конька-Горбунка» — 184 и т. д.

Трогателен был уход прапорщиков, когда перед фронтом, невзирая на все высшее начальство, явились все девицы кронштадтских публичных домов 1-го ранга с живыми цветами!..

Эти 4 батареи попали прямо через Харбин во Владивосток, пороху не понюхали и вернулись после Портсмутского мира на прекрасных германских пароходах через Шанхай, Сингапур, Суэц и Бриндизи в Одессу, откуда Стрекачев посылал матери категорические телеграммы: «Стреляюсь. Немедленно 600. Покойный сын Александр».

Весной 1906 года на меня напали такие ужасные припадки суставного ревматизма (расплата за грехи молодости), что меня отправили, само собой по закрытии сезона, на казенный счет на Кавказские Минеральные Воды. Я приехал туда калекой, которого возили в кресле, но, по счастью, попал в руки знаменитого профессора Гейслера. В Колонии Красного Креста прекрасно содержали; я 2 месяца не видел ни водки, ни вина, пил массу чудного молока и какао и после 40-ка ужасных горячих грязевых ванн, доходивших до 42°, когда одновременно поили малиной и закутывали в ватные одеяла, я оставил в Железноводске добрых

2 ведра пота, но в первых числах августа, после 20 ванн нарзана, исхудавший, как скелет, я ел за троих и дирижировал в Ессентуках танцами на 2-х балах. Кисловодск я застал в самом лучшем сезоне, но крошечный номер в 4-м этаже гостиницы стоил 10 рублей в сутки; сахарный песок 75 копеек фунт, а ветчина 2 рубля. Обед в 3 блюда в курзале стоил 4 рубля, но зато я попал на редкий концерт, в котором кресло 1 ряда стоило 25 рублей. Я сидел в 10-м ряду и прослушал тогда свежую 5-ю симфонию Глазунова под управлением автора, 1-й его скрипичный концерт в исполнении феноменального скрипача Цимбалиста. Последнее отделение состояло из Иосифа Гофмана, Федора Шаляпина, Дмитрия Смирнова и божественной колоратуры Олимпии Баронат, этой невероятно полной женщины, про которую местные остряки говорили: «Ну и певица — кругом обойдешь, паспорту срок выйдет». Еще в одном концерте повеяло могилой, когда появились старушка Патти, Зембрих, Баттистини... Загладил все молодой блестящий Карузо. Такие концерты могли быть только в Кисловодске, этом земном раю, куда стекались в сезон все богатейшие люди России и многие иностранцы.

В это же лето я был свидетелем того, как в Ессентуках талантливый скрипач М. А. Вольф-Израэль, один из тех 100 человек, на руках которых скончался бедный П. И. Чайковский, преподнес в свой бенефис Патетическую симфонию при оркестре в 18 человек. Впрочем, было еще пианино. Это был скверный фокус, которого не следовало повторять, но неустрашимый Миша исполнил еще и «Франческу».

На курорте я встретил товарища по училищу подпоручика А. Шапкина*. Он служил у отца, который командовал дивизионом во Владикавказе и посылал сына в командировку и за покупками в Тифлис. Он соблазнял меня ехать вместе. Мне и на Кавказе везло: я накануне в большом кабаке у Питоева снял в лото 450 рублей, и мы с Сашей поехали. Хотя уже функционировали автомобили, но были очень дороги, и мы во Владикавказе сели по старинке в почтовую карету с рожком. По Военно-Грузинской дороге мы перевалили Мцхет — родину моих дядей, видели величественный Казбек с белой снеговой шапкой, знаменитую

висячую скалу «Пронеси, Господи», и нас пронесло благополучно до Тифлиса. Я испытал все тифлисские удовольствия. Шлялся по десяткам духанов, поедая шашлыки и запивая их «кахури хвино».

«Катался» на конке по Головинской ул., слышал национальный оркестр «Сазандари», видел подлинную лезгинку и узундару. Пока Шапкин покупал свои седла и бурки, я попал как раз на открытие сезона в Тифлисской опере. Оркестр и хор оказались слабенькими, артисты посредственные, кроме наших же питерских и московских гастролеров. Я прослушал «Фауста» и «Кармен», и, ввиду тяжелого и крупного багажа у Шапкина, <мы> вернулись железнодорожным путем через Баку, Дербент, Петровск. Я вернулся в Кисловодск, где получил свои бумаги, и на прямом экспрессе беспересадочно в чудном международном спальном купе вернулся в Петербург.

II

Уроки гармонии и котрапункта у Ихильчика. — Музыкальный Павловск. — Постановки М. М. Фокина. — А. Л. Волынский. — Журфиксы В. А. Трефиловой. — «Игорное» несчастье банковского клерка. — Выход в отставку. — Спектакли Александринского театра. — Гастроли Московского Художественного театра. — Постановочные эффекты и промахи. — Вторичное пребывание на Кавказских Минеральных Водах. — На московских гастролях А. П. Павловой, М. М. Фокина и В. А. Трефиловой. — «Чистенькое» дело по изданию «Истории русско-японской войны». — Авантюрное распространение «Истории» в российских губерниях. — Начало работы в «Ежегоднике императорских театров». — Театральный сезон 1908/09 года. — Высшие достижения русского оперного и балетного искусства. — Революционная «переоценка ценностей»

Соседом моим от Минеральных Вод оказался аккуратный, чистенький, кругленький, седенький старичок лет 60. Поезд мчался сломя голову по выжженной жаркой степи на

Ростов. Мы почти сразу разговорились. Он долго рассматривал мои жилки на висках, линии на ладони руки, заставил меня написать в своей записной книжке пару фраз и — рассказал мне чуть не всю мою жизнь! Что родился я где-то на севере, вероятно в Финляндии, что отец мой был полувоенным, полуученым, что потерял я его, будучи ребенком, и плохо помню, что я наследовал по женской линии большую музыкальность, что я пережил много болезней в детстве, наконец, что я люблю выпить и счастливо играю, вероятно в карты, увлекаюсь театром и даже именно не то цирком, не то балетом. Последнее обобщение мне не очень понравилось, однако я охотно уступил старику свое нижнее место, ибо наверху было прекрасно читать и спать. Он оказался профессором Харьковского университета Листопадовым* и уверил меня, что он совсем не хиромант и не звездочет, а заключения свои вывел чисто научным методом, по психологии и графологии.

Хотя при поезде и должен был быть вагон-ресторан, но его прицепляли только в Лозовой, а по Владикавказской линии приходилось столоваться на редких больших станциях: Глубокая, Зверево, Лихая, Миллерово. Помню, как в Таганроге поезд по расписанию должен был стоять $^1/_2$ часа, но перрон оказался длиной в $^1/_2$ версты, и мы только успели дойти до буфета, как объявили 2-й звонок кисловодскому экспрессу, и мы, схватив по жареной курице, бежали как сумасшедшие обратно и едва успели вскочить в последний вагон уже на ходу. Мы с проклятием покинули этот городишко, где кончил свои дни горемыка Александр I, и, добравшись до Лозовой, более за курами не бегали, а таганрогских, при участии моей дорожной фляги с ромом, съели, как голодающие индусы. Мы с Листопадовым много беседовали, он сообщил мне интереснейшие казусы из своей ученой жизни. Он ехал в Москву по делам, где мы и расстались, обещав друг другу обмениваться изредка письмами.

На Кавказе, во время курса, я от нечего делать брал уроки гармонии и контрапункта у некоего Ихильчика, образованнейшего музыканта с консерваторским образованием, но догнивающего на курортах в качестве капельмейстера пластунского батальона. Я чуть не попался в сети его хоро-

шенькой племянницы, но вовремя ретировался и вез теперь в Петербург составленный нами совместно «Учебник инструментовки для духовых оркестров»*. Ихильчик был прекрасный теоретик, но совершенно безграмотен в русском языке. Теоретическая часть и нотные клише принадлежали ему, а литературное изложение было все мое. Отделение Юргенсона в Петербурге немедленно же приняло наш учебник в печать, издало его в Москве, в своей громадной нотопечатне. Оно разошлось с изумительной быстротой, и через год уже потребовалось 2-е издание. Ихильчик выслал мне целую дополнительную главу о саксофонах, я проредактировал ее, написал предисловие и завернул 2-е издание в 3000 экземпляров. Как это ни странно, а в России была такая уйма военных оркестров и совсем не было подобных руководств. Этот учебник в течение 3-х лет давал нам неплохой доход, главным образом благодаря благородству и честности Бориса Петровича Юргенсона, который при цене <книги> в 2 рубля 50 копеек взимал с нас лишь 18%. Это был, кажется, первый мой коммерческий заработок не на зеленом поле.

Я застал еще в Павловске конец сезона и наслаждался пьяными Галкиным* и Вержбиловичем, скрипачом Смиттом, двумя концертами парижского Эдуарда Колонна. Приехал еще из Брюсселя замечательный виолончелист Э. Жакобс, который извлекал из своего инструмента подлинные звуки глубокого патетизма и отчаянья. <Великая> княгиня Елизавета Маврикиевна*, сама очень музыкальная, пригласила как-то Жакобса в свою ложу и задала ему вопрос: откуда столько неизжитого горя в его прекрасной игре, — и он поведал ей трагедию своей жизни. Будучи уже профессором Брюссельской консерватории и в средних летах, он женился на сироте, красавице 18-ти лет, которую безумно любил. Но жизнь его не склеилась. Над письменным столом в его кабинете висел дивный поясной портрет его жены в натуральную величину, и вот, возвратясь с одного из концертов, он вместо портрета нашел висевшей в петле свою обожаемую жену. Да, такая трагедия могла дать элегические стоны в его игре...

Галкин не дирижировал иначе, как после бутылки крепкой мадеры, а почтенный А. В. Вержбилович «пускал сле-

зу» лишь после обильного возлияния коньяку. Балакирев и Мусоргский были горькими пьяницами, да и А. К. Глазунов любил изрядно выпить, особенно сухое шампанское со свежими огурцами. Уже в первые годы революции, когда ни водкой, ни вином нигде и не пахло, А. К. Глазунову, ввиду его особых заслуг, советская власть через Кубуч* отпускала 4 литра чистого спирта в месяц. А. К. в театре добродушно говорил, что это все равно что слону дать один подсолнушек! Это напомнило мне один курьезный эпизод еще в 1904 году. В оркестре Мариинского театра был один хотя и рядовой оркестрант, но чудный виолончелист Логановский. Трезвый, он положительно ничем не выделялся от своих семи товарищей, но, пьяный, давал такой тон в своих solo, что у публики навертывались слезы. И вот в прощальный бенефис Кшесинской, где шла 2-я картина «Лебединого озера» со знаменитым дуэтом Ауэра и Логановского, Кшесинской сообщили, что Логановский трезв, как стеклышко монокля. Кшесинская вызвала к себе в уборную Р. Дриго и умоляла его, ради ее бенефиса, дать Логановскому нужную дозу коньяку. Дриго, сам трезвенник, преследовавший пьянство в оркестре и нещадно штрафовавший музыкантов, был в крайнем затруднении, но мольба самой Кшесинской была слишком реальна, и Дриго послал оркестрового курьера в буфет за бутылкой мартеля и плиткой шоколада. Когда Логановского привели в маленькую дирижерскую, то он попятился от Дриго как от черта. И бедному маэстро, такому врагу пьянства, пришлось уламывать Логановского, как ребенка, выпить за здоровье бенефициантки. Логановский взъерошил свою громадную шевелюру, посмотрел на Дриго и мрачно выпил один за другим 3 чайных стакана, закусывая их крошечными кусочками шоколада... и играл в этот вечер как бог. Случай этот рассказал мне впоследствии сам Дриго, с которым я, несмотря на большую разницу в летах, дружески сошелся и был в течение 7-ми лет, по его отъезде в Италию, его полномочным представителем в России.

Сезон 1906/07 годов был особенно удачным в балете и также удачным в клубах. В эту зиму заблистала звезда молодого М. М. Фокина. Его изумительные постановки «Ацис и Галатея» (в школе)*, «Евника» и «Павильон Арми-

ды» открыли новую эру в балете, а «Шопениана» и «Египетские ночи» показали уже могучего художника, нашедшего новое русло для обмелевшей реки хореографии. Это была лучшая пора первого, робкого еще экспрессионизма, никого не шокировавшего, лишь позже вылившегося в «Мир искусства», породивший уже безобразные формы «0,01» и «Ослиный хвост»* — предвестники кубизма, футуризма и других тяжких психических болезней искусства. Фокин и в позднюю эпоху своего творчества не пошел дальше Анисфельда, на котором чутко, но решительно остановился.

Такие гибкие артисты, как А. Павлова, Т. Карсавина, П. А. Гердт* и В. Ф. Нижинский, давали в руки Фокина мягкую, эластичную глину, из которой он лепил свои яркие образы Петрония, Евники, Актеи, Армиды, Вереники, Арсинои, раба Армиды, маркиза де С., Амуна, Клеопатры и Марка Антония. Трескучий провал легатовских «Кота в сапогах» и «Аленького цветочка»* довольно недвусмысленно показал тупик «классики без стиля», и, сохранив, конечно, лучшие шедевры Петипа и Льва Иванова, Фокин — первый и единственный автор, который нашел новый и верный выход на девственное, не вспаханное еще поле.

Публика лишь в ничтожном меньшинстве брюзжала, но старцы вымирали, а действительно культурная часть публики и молодежь горячо приняли Фокина, и один лишь ныне покойный Флексер-Волынский изрыгал свою ядовитую слюну в дурацком наборе бессмысленных слов своих фельетонов.

Дело же это произошло вот как. М. Ф. Кшесинская, хотя официально и покинула сцену в 1904 году, но de facto выступала в качестве разовой гастролерши по 10—12 раз в сезон. Хотя Фокин, высоко ценивший ее талант, и предоставил ей роль Евники на премьере, но Кшесинская этим выступлением ограничилась, ибо очень хорошо понимала, что в новом репертуаре ей делать нечего. И вот для разумной защиты принципов старой классики потребовался человек, хотя бы и не с театральным, но с литературным именем, и в большом редакторском кабинете Проппера*, где в уголке, за маленьким столиком под низко опущенной лампой сидел упоминаемый мною маленький Дрейден, кото-

рый уже был городским хроникером, — он слышал такой диалог: «Итак, Вы будете писать о преимуществах старых классических балетов и изыскивать ахиллесову пяту у Фокина, но это осторожно, ибо у него много друзей». — «Да, но я же никогда не бывал в балете и не имею о нем понятия...» — «Да, но Вы и Савонаролу лично не знали*, а вон какую книгу завернули. Вот Вам кресло 4-го ряда, идите, привыкайте и пишите, а о материальной стороне помимо построчных договоритесь непосредственно с М. Ф.». Этот литературный подлец начал ковырять свои цереброспинальные статьи и душить Фокина, что, впрочем, ему плохо удавалось. Два года спустя П. Н. Владимиров, ставший своим человеком в доме М. Кшесинской, сам лично мне рассказывал, как он, поднявшись в будуар М. Ф., видел Волынского, отступавшего задом через зеркальный тамбур, а М. Ф. кричала: «Мне надоело за Вашу белиберду платить по 300 рублей в месяц. Вы не поняли своей простой задачи и лезете в разбор дела, в котором свиного пупа не понимаете. Если Вы будете продолжать Ваш дурацкий, вызывающий хохот набор слов — то уже за счет Проппера».

Вот кто такой был Волынский, продажная сволочь русской балетной критики. Он исчез на 4 года в Одессу и, вернувшись уже после революции, расцвел махровым цветом на столбцах «Жизни искусства», где и вообще все писали непонятным «блатным» языком. Полемика моя с этим прохвостом вся напечатана в «Театре и спорте» за 1920/21 год*.

В этот сезон 1906/07 года мы стали часто бывать на журфиксах В. А. Трефиловой. В ее квартире на Мастерской около Екатерининского канала было как-то замечательно уютно и свободно. Каждый делал что хотел. В гостиной до ужина был чайный стол с тортами и ромом, я сидел за роялем, молодежь иногда танцевала. В. А. покровительствовала нескольким юным танцовщицам, которых «пристраивала» весьма удачно тут же. В ее гостиной устроился брак Лидии Кякшт с семеновским офицером А. Рагозиным. Она выдала замуж и Веру Петипа за фарсового артиста С. В столовой до ужина разложено было зеленое сукно, и на конце <стола> стояла входившая тогда в моду рулетка. Сукно было разграфлено на rouge, noire, дюжины и пр. Шарик обычно пускала сама В. А. или Николай Легат, а ставки собирал

лопаточкой Медалинский или Женя Пресняков. Помимо нас бывало много молодежи: студенты А. Медников, Ральф, Мурашко, жирный боров Крузе, Виленкин, Кауфманн, сын министра Ермолов и необычайно глупый кавалерист князь Кантакузин, граф Сперанский. Тут изредка бывал и старик издатель «Петербургской газеты» Худеков, спортсмен Петрококино. Рулетка не была очень крупной, Вера Александровна доставала «николайдоры»* из какого-то вязаного бабушкиного чулка, чем всех очень смешила. Однако я раз все-таки снял на зеро 160 рублей и чуть не сорвал банк. Ровно в 12 часов рулетка прекращалась и накрывался стол для ужина, всегда вкусного и пьяного. Как-то в один из вторников В. А. сказала Н. Легату, что я могу по слуху на рояле сыграть по заданию любое место из любого балета. Легат, хотя и знал меня давно по ужинам у Лейнера, не поверил, и вот было заключено формальное пари в присутствии всех гостей, записанное на бумагу по пунктам. Я обязан был сыграть 10 любых заданных Легатом мест из репертуарных балетов, прошедших за последние 10—16 лет, за исключением лишь «Кота в сапогах», прошедшего лишь один раз. Ставка была: $^1/_2$ дюжины шампанского, сотня устриц и большая коробка в 5 фунтов шоколада для В. А.

Ассистентами были скрипач Ланге и Е. Е. Мурашко, сам знавший наизусть все балеты. Был 2-й час ночи, и нужно было торопиться. Я сыграл все 10 заданий Легата, весьма ехидных, так, например: уход со сцены охотников в «Лебедином озере», то место сна Дон Кихота, где появляется паутина и паук, танец воспитанниц из последнего акта «Раймонды», аллегро Града из «Времен года» Глазунова, появление призрака Дроссельмейера во время битвы мышей и пряничных солдатиков и пр. Пари было выиграно, и бедному Легату пришлось в половине второго ночи в снежную вьюгу будить старшего приказчика от Смурова и привезти проигрыш. В память этого случая он нарисовал на моей визитной карточке лишь несколькими штрихами мой профиль, но так талантливо, что ни одна фотография не схватывала так моей пьяной рожи с хохлом. Рисунок этот хранится у меня до сих пор.

В эту зиму я был свидетелем эпопеи несчастного В. Семичева. Этот маленький банковский клерк, в скромном се-

реньком пиджачке, выиграл в Купеческом клубе в какие-нибудь 1 1/2 месяца 240 000 рублей. Он обыграл, и весьма чувствительно, таких тузов, как В. И. Соловьев (сам выигравший некогда в карты «Северную гостиницу» и ресторан Палкина), Рябушинский, Баранов и муж Л. Б. Яворской, князь Барятинский. Баранов приезжал в клуб с фибровым глобтроттером с деньгами, который держал за его креслом лакей. Коннозаводчик Лазарев ставил в банк 10 000-е чеки, а Семичев ежедневно уносил в салфетке громадную кучу кредиток и золота. Когда приезжал Семичев и давал ответ, открывал подряд по 12-ти девяток и ухлопывал страшные комплекты, то на других столах игра замирала и вокруг собиралась сотенная толпа. Семичев, бледный, как Германн в «Пиковой даме», трясущимися холодными руками собирал свои тысячи. С ним стали ездить в клуб его 2 брата, которые сидели позади него. Говорят, что он поставил себе целью 1/4 миллиона, но не доиграл всего 10 000, когда фортуна повернулась к нему задом. Он все до копейки оставил на тех же столах и застрелился в уборной. Эта поучительная история подействовала на нас потрясающе, и мы, взяв на понте 500—600 рублей, уезжали поскорее из клуба.

В этот сезон я, от нечего делать, ухаживал за молоденькой, кончившей в этом году училище Л. А. К. Отец ее был комендантом Александринского театра. У них была постоянная ложа в бельэтаже с правой стороны, ближняя к сцене. Там мы с ней встречались почти ежедневно (кроме балетных дней), и я пересмотрел массу драматических «образцовых» спектаклей с участием всех «столпов» Александринского театра. Я ухитрился получить двухмесячное, потом продленное еще на столько же, так называемое амбулаторное лечение при Военно-медицинской академии, куда ездил 3 раза в неделю по 1/2 часа на электризацию ног, и жил в Петербурге, совершенно наплевав на окаянный Кронштадт. Там уже был новый начальник артиллерии, пролаза и выскочка, некий полковник Маниковский, политический авантюрист, бывший впоследствии при правительстве прохвоста Керенского военным министром (так ему и надо!..). Этот Маниковский сам втихомолку пил у себя на квартире, а ходил вокруг собрания, подглядывал в окна и заносил в свою записную книжку фамилии офицеров,

пивших у стойки. Однажды он привязался к герою Дальнего Востока, кавалеру двух Георгиев и Золотого оружия, подполковнику Соломонову, который самого черта не боялся. Маниковский сделал ему как-то замечание: «Очень уж Вы здорово пьете, Соломонов». На что последний ответил: «Да, но это ведь у меня полосами: то пью, то совсем не пью. Вот теперь полоса питья — 29-й год продолжается, а вообще, отстаньте от меня к черту!» В Кронштадт я ездил только за жалованьем, и сценка эта произошла как раз при мне, ибо я стоял с Соломоновым и пил с ним.

Весной истекал срок моей обязательной службы за училище, и я уже подал о выходе в отставку. Маниковский пытался еще меня и Савицкого назначать в особые экспедиции для присутствия при повешенье на Лисьем Носу экспроприаторов, ограбивших на 700 000 почту на Екатерининском канале и <осужденных> за грабеж в Дворянском поземельном банке. Я от такого удовольствия просто отказался (Савицкий вовремя заболел). Маниковский хотел предать меня суду, но вынужден был ограничиться лишь арестованием меня при Петербургском комендантском управлении на 30 суток. Был Великий пост, балеты не шли, и я 30 суток резался с арестованными в винт по сотой, ел скверные обеды из трактира Карамышева и пил водку, т. е. спирт, доставляемый мне из дому за полной аптечной упаковкой в виде лекарства. Но второй день Пасхи меня выпустили, и я, не дожидаясь высочайшего приказа, вторично облачился в штатское, на этот раз несколько лучшее, по заказу у хорошего портного. Появление мое в театрах произвело разочарование среди танцовщиц: «фу, штрафирка, отврат».

В Александринском театре, благодаря ложе К., я пересмотрел массу спектаклей. Это был период лучшего расцвета нашей драматической сцены. Первачей я еще и раньше близко знал по суфлерству в Павловском и Ораниенбаумском театрах, но в этот сезон я пересмотрел раз по 5—6 «Фимку» Трахтенберга с бесподобной, нестареющей М. Г. Савиной, «Жанину» с редко удачным Штроманом — Дарским и вызывавшим еще улыбки недоумения в публике Р. Б. Аполлонским, «Звезду» Германа Бара, где В. А. Мичурина за 4 акта ухитрялась менять 18 сногсшибательных ту-

алетов, «Воспитателя Флаксмана», «Вечернюю зарю» и «Старого Гейдельберга» с Ю. М. Юрьевым, «Горе от ума» и «Ревизора» в идеальном составе, просто концертное исполнение «Горячего сердца» и «Доходного места», «Грозу» и «Лес» Островского и неизбежный ряд нудных Ибсенов и Гауптманов с В. Ф. Комиссаржевской и Н. Ходотовым*.

Зато весной, после Пасхи, смотрел ряд прекрасных гастролей в Михайловском театре московских «художников» К. С. Станиславского, показавших классическое исполнение «Вишневого сада», «Трех сестер», «Дяди Вани», «На дне» Горького, «Доктора Штокмана» и «Одиноких».

Вот театр, где сценический реализм возведен в принцип, где не может быть ляпсусов, резавших глаз или ухо. Эти сверчки за печью, громыхающий за сценой паровоз, отдаленные гудки и свистки или два безжизненных отсохших пальца у Штокмана на протяжении 4-х актов — это совсем не пустяки. Быть может, это дойдет лишь до десятка зрителей во всем театре, но зато дойдет крепко... Вот у них перед постановкой «Власти тьмы» вся труппа прожила летом 2 месяца в Тульской губернии, в деревне, с типов которой якобы Толстой писал свою пьесу. Учились, как пеленают детей, как белят холст, как плетут лапти и вытаскивают ухватами из печи горшки. А ведь александринцы или казенные москвичи этого никогда бы не сделали. Я был просто изумлен, как они в последнем акте «Трех сестер» при уходе батареи добились слухового эффекта цоканья копыт по мостовой и характерного, в своем роде единственного, треньканья хоботовых колец орудий на шкворне передка. Может быть, во всем театре было 5 артиллеристов, но мы глубоко оценили такую деталь. Потом я узнал, что этот эффект устроил им артиллерийский капитан Михайлов, который сам со своими помощниками-бутафорами это изображал. Художественность исполнения от этого никак не страдала, а это был тонкий гарнир к ней.

Это не то что на Нижегородской ярмарке еще в антрепризу П. М. Медведева, <когда> шла пьеса «Завоевание Казани» (1553 г.) и воины Грозного (певчие местного батальона), в латах и шлемах, сидя у костров под стенами Казани, ахнули: «Дело было под Полтавой, дело славное, друзья». Может быть, и здесь лишь 10—15 человек из всего те-

атра добродушно хохотали, но лучше бы не было в серьезном театре такого балагана.

В Калуге, после пожара, начали спектакли в не отстроенном еще театре, так к уборным 2-го этажа не было еще общей лестницы, а была передвижная, вроде пожарной, переставлявшаяся на блочных колесиках от двери к двери. Шла какая-то переводная трескучая драма, где героиня заканчивала монолог словами: «Вот, наконец, я слышу топот коня и охотничий рожок. Это граф, да, это мой милый граф... Вот он подходит». А за стеной раздался громогласный пьяный голос: «Да черта с два придет твой граф, когда сволочи лестницу убрали!..»

Я сам был свидетелем в Александринском театре, уже в революцию, как при возобновлении «Идеального мужа» Оскара Уайльда, у которого точно указана дата: «начало 90-х годов», Ю. М. Юрьев, игравший министра иностранных дел Англии сэра Роберта Чильтерна, развалившись на канапе в своем кабинете, читал «Ленинградскую правду». Я бросился в антракте на сцену к Н. В. Петрову с воплем: «Что у Вас читает Юрий Михайлович?» — «А что, милый, что — газету». — «Да ведь он «Правду» читает». — «Ну, кто на это обратит внимание». — «Да что Вы, — говорю, — еще как...» Я сбегал в контору и принес им из информационного отдела номер «Times'a», который и вручил Юрьеву, а «Правду» от греха забрал для более соответственного употребления.

Опять скажут — чушь. Нет, это не чушь на так называемой «образцовой сцене».

Уже в 1926 году, при возобновлении в Мариинском театре «Пиковой дамы» с декорациями и костюмами по эскизам Александра Бенуа — великого знатока стилей и исторической архитектуры, — вдруг я узрел в сцене Зимней канавки водосточные трубы с кадками на Эрмитажном театре. По окончании генеральной репетиции я пошел на сцену в режиссерское управление и там застал еще А. Н. Бенуа. «Вот, — говорю, — Александр Николаевич, маленькая ошибка вышла». — «Какая?» — «Да трубы», — говорю. «Какие трубы?» — «Да железные, круглые, водосточные. В екатерининскую эпоху их не было, и они впервые появились лишь в середине царствования Александра I». — «А какие же были, mon cher ami?» — «Деревян-

ные, — говорю, — дощатые, квадратного сечения и без всяких кадок, да и то лишь на дворцах и лучших домах». На другой день трубы были просто замазаны Шилдкнехтом, исполнителем декораций. Это опять пустяк, но я-то наверное знал, что говорил, ибо читал в архиве именной указ 1811 года о том, что «изобретенные ныне мастером строительской дворцовой команды таким-то железные для стока дождевой воды трубы устроить на здании Большого театра». Это, конечно, опять пустяк, но не для Бенуа. Впрочем, о революционных постановочных фокусах, дошедших до жуткого идиотизма, — в своем месте.

Тотчас по закрытии сезона я решил вторично проехаться на «тот погибельный Кавказ», но весьма кружным путем.

Дело в том, что Управление Красного Креста, принимая во внимание свидетельство профессора Гейслера о необходимости для меня повторного курса грязевых ванн и нарзана, предоставило мне, как уже вышедшему в отставку, 50% казенных расходов, т. е. проезд с плацкартой по II кл<ассу> туда и обратно, бесплатное лечение, но содержание в колониях с уплатой 50% действительной стоимости, то есть 37 рублей 50 копеек в месяц. Само собой, это было даром и только дурак не согласился бы. За эти 37 рублей 50 копеек я имел большую светлую комнату на двоих, с прекрасными кроватями и слугой на 2 комнаты. Утром кофе со сливками и 2 яйца, горячий сытный завтрак, обед в 4 блюда и легкий ужин, экипаж (вроде певческого dos-a-dos*), отходивший аккуратно каждые 2 часа от колонии до курзала и обратно — словом, все удобства.

Но так как Ширяев и Кякшт везли труппу балета в 22 человека в Одессу, Кишинев и Николаев, то железнодорожную литеру я «уговорил» краснокрестовского экзекутора — за 10 рублей — выписать мне не на Минерашки, а на Одессу, что по расстоянию было то же самое, и вместе с труппой утрепался в Одессу, где было 6 спектаклей с Т. Карсавиной и Лидией Кякшт. Савицкий, влюбленный в танцовщицу Л. Пуни, ехал тоже с нами. Поездка эта была чрезвычайно веселой и пьяной. Денег мы весной взяли в клубах порядочно и ехали, мало в чем себе отказывая. Я просмотрел в

* Спиной к спине *(фр.)*.

Одессе по 2 раза «Лебединое озеро», «Пахиту», «Коппелию» и «Тщетную предосторожность», в Кишинев уже не поехал, а сел на самолетовский комфортабельный пароход, т. е., вернее, после прощального ужина меня на пароход снесли и погрузили, как тюк, в каюту. Я проспал до Ялты, где вылез погулять; была еще остановка в Феодосии, где я купался и обедал, а далее пароход прошел прямо в Новороссийск, откуда через Екатеринодар и Тихорецкую я попал на свой курорт. В это лето я пробыл на Кавказских водах всего 2 месяца, в течение которых не пил, поднабрался сил, взял в игорном доме у Гукасова 360 рублей на дорогу и вернулся обратно, застряв, впрочем, на неделю в Москве, где в «Эрмитаже» были сначала 3 гастроли А. Павловой и М. Фокина, а потом 4 спектакля В. А. Трефиловой, в одном из коих, за неимением в оркестре арфы, я сыграл за кулисами вариацию из «Конька-Горбунка», за что получил от антрепренера 10 рублей!.. Я стоял в одном отеле с В. А. Трефиловой (Павлова с Фокиным из Москвы прямо проехали в Стокгольм на ряд гастролей), мы вместе завтракали и много катались по Москве и ее окрестностям. Были и в Шереметевском театре в Кускове, но он на меня особого впечатления не произвел, были в Филях, в той, теперь уже каменной, избе, где был военный совет 1812 года. После гастролей В. А. Трефилова уехала в Милан к Беретта «учиться», а я вернулся в Петербург, причем привез матери в презент с Кавказа для варения пуд ренклодов в виде квашни с червями. Фрукты, оказывается, надо перевозить умеючи, не застревая с балеринами в Москве. Ренклоды дошли бы только в холодильнике и прямым сообщением. Это напомнило мне рассказ, якобы факт, как в донской степи в тропическую жару пассажиры изнывали на 200-верстных перегонах между редкими большими станциями. Некий купец, уже и так полуголый, завопил: «Ей богу, кажется, целковый дал бы за стакан холодной воды». Какой-то юркий еврейчик вскочил и заявил: «Так в чем дело? Давайте полтора, и я сейчас принесу», — и действительно притащил через несколько минут холодную воду со льдом. Купец выпил, крякнул, и другие пассажиры последовали его примеру. После десятого стакана коммерсант повысил цену до 2-х рублей, а после 30-го заявил, что больше нельзя, пото-

му что «папенька протюхнет». Он брал воду со льдом из большого бака, в котором стоял металлический гроб его отца, которого он вез хоронить на родину.

В Павловске я встретил товарища по училищу, также вышедшего в отставку, поручика С. П. Денисьева, и он затянул меня в такое «дело», о котором положительно нельзя не рассказать. Это будет последнее отступление в сторону личной жизни, хотя и связанное с сотней провинциальных театров.

Вот какие в те годы делались в России непостижимые дела: за полгода перед тем в «Кафе де Пари» под Пассажем оказались за одним столиком бывший кучер новгородского помещика М. Е. Б. и расстриженный дьякон В. В. Ф. Они разговорились, друг другу понравились и порешили основать «чистенькое» дело, а именно издание истории русско-японской войны по запискам самих участников. Капитала у них вдвоем оказалось 50 рублей, но это их нисколько не смутило. Они заказали квитанционные книги, сняли в долг под редакцию и контору квартиру на Пушкинской, у самого Невского, завинтили 4 публикации о приеме подписки на несуществующее еще издание, а главное, отделив ничтожные 10% с валового дохода в пользу Комитета попечения о вдовах и сиротах этой войны, состоящего под покровительством великой княгини Ольги Александровны — сестры царя, они получили от этой умницы такую бумагу, которая давала им право на истребование открытых листов по всей империи на право производства свободной подписки. Дело у них, по-видимому, сразу двинулось. Ольга Александровна дала им «на обзаведение» 500 рублей, и мы застали уже контору редакции с телефоном и пишущей машинкой, с хорошенькой блондинкой; сидели, вероятно для декорации, какие-то офицеры с костылями и печальные «вдовы». Однако телефон звонил, Мартын с серьезным лицом принимал какие-то заказы. Писал «историю» за всех участников сразу один подполковник, но, надо отдать справедливость, писал толково. Многочисленные иллюстрации были прямо хороши. Вышел из печати 1-й том* (всех должно было быть 6) на хорошей слоновой бумаге, приблизительно в 18 печатных листов, в ярко-красной коленкоровой обложке с изображением схватки орла и дракона. Это

был уже образец, который можно было показывать. Дьякона Ф. здесь не было — он уже ведал отделением в Москве, потом в Киеве. Я так его никогда и не видел. Условия нам были предложены такие: ехать в любые, не использованные еще губернии, собирать подписку, получать авансы и взимать в свою пользу не более не менее как 25% с вала. На выезд редакция давала аванс по 100 рублей. Условия были такие, что только дурак не согласился бы. Мы получили по нотариальной копии комитетской бумаги формальные доверенности редакции, образцы и солидные квитанционные книжки, пронумерованные, пропечатанные и прошнурованные. Начали мы с севера, избрав Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую губернии. Мы решили ехать вместе и работать сообща. Приехали через Москву в Ярославль, остановились в лучшей гостинице Кокуева, против Пушкинского театра, на месте которого некогда был сарай братьев Волковых. Мы надели сюртуки и отправились к губернатору д<ействительному> с<татскому> с<оветнику> Римскому-Корсакову. Этот добродушный старик принял «чиновников особых поручений» из Петербурга с распростертыми объятиями, приказал своему правлению немедленно выдать нам открытые листы с бесплатными почтовыми по всей губернии и просил быть непременно к обеду.

Дело в том, что издания наши были четырех образцов: обыкновенное вышеописанное стоило 100 рублей, такое же на веленевой бумаге и в сафьяновых обложках — 200, на меловой бумаге в свиной тисненой коже — 300 рублей и, наконец, в серебряных крышках, с приложением портрета наследника в натуральную величину в раме красного дерева — 500 рублей. Господи! Я только здесь узнал, какой еще в России был непочатый край дураков и квасных патриотов...

За обедом у губернатора был губернский предводитель дворянства князь И. А. Куракин. Это были наши 2 первых подписчика, по 200 рублей уплативших полностью. 25% мы оставляли себе, а остальное переводили в редакцию, откуда немедленно и высылались первые тома. Губернатор дал нам список богатейших купцов и фабрикантов города. Библиотеки местного полка, кадетского корпуса, лицея и гимназий, по его словам, обязаны были подписаться, а полицеймейстера он обещал прислать к нам в гостиницу на

другой день к 12 часам дня. После раннего губернаторского обеда мы в этот день успели сделать еще десяток подписок, причем осмотрели у богатого купца Голушкина его замечательный порнографический кабинет. Вечером мы были в Пушкинском театре, смотрели «Последнюю жертву» Островского, очень неплохо для Ярославля. Ужинали в ресторане «Столбы» на берегу Волги, где ели замечательные ярославские воздушные пироги с визигой и сигом, основательно нагрузились с радости и попали в гостиницу пьяные в 3 часа ночи.

Никогда не забуду своего пробуждения. За тонкой стеной раздавалось мяуканье, лай, хрюканье, гортанные птичьи крики, кукареку и пр. Я решил, что попал в Ноев ковчег, и с трудом дотянулся до кнопки звонка. Вошел коридорный Ноева ковчега и сообщил мне, что в соседнем номере господин А. Дуров со своими зверюшками. Я потребовал холодной содовой с лимоном, а потом кофе, в 11 $^1/_2$ мы, наконец, встали, перед самым приездом полицеймейстера. Это оказался лихой полковник С., уже настроенный губернским правлением. Он сразу заявил нам, что, конечно, к таким тузам, как Вахрушевы, Пастуховы, Дунаевы и Морозовы, нам «из почета» надлежит ехать самим, но что касается рядовых богатых торговцев и... многочисленных публичных домов, то мы можем не беспокоиться и что это сделают участковые пристава. Он взял у нас один образец, сотню квитанций и действительно, как по мановению волшебной палочки, через 2 дня привез нам кучу денег — квитанций ему еще не хватило. Он посоветовал нам «ударить» по богатым городским и окрестным монастырям. Мы разделились: Денисьев взял купечество, а я монастыри. Это была любопытная поездка. Жирные викарии, настоятели и игуменьи угощали меня монастырскими наливками и без отказа подписывались. Во второй день мы были в цирке, где смотрели своего соседа Дурова, с которым познакомились. За своего пеликана, изображавшего уморительно местных властей, Дуров вылетел из Ярославля в 24 часа, впрочем, это была его обычная участь — 1—2 дня в городе и вон. Мне очень понравился ресторан «Столбы», существующий, как оказалось, около 300 лет. Название же свое он приобрел от места — набережной Волги, где

еще в эпоху Грозного каждую весну <проходили> смотрины невест. Разряженные девушки стояли «столбами», а мимо проходили парни и выбирали «товар». Кормили в «Столбах» хотя и дорого, но очень хорошо. Там был настоящий старинный русский стол, вроде московского Тестова, а громадный орган здорово исполнял глинкинский финал из «Жизни за царя» и «Венгерскую рапсодию» Листа. Мы застали еще тут матерых купцов в длинных поддевках и московских фуражках. Бумажники они вынимали из голенища, но кутили широко и толково.

В какую-нибудь неделю мы собрали с Ярославля жатву в 22 тысячи, отправили в редакцию крупную сумму (большинство подписчиков платило всё вперед), высоко подняли в Питере свое реноме и отправились «чистить» уезды.

Вот тут я убедился, что гоголевский Хлестаков да и Чичиков перед нами просто мальчишки и щенки. Приехав на пароходе «Петр Чайковский», с великолепным его портретом и роялем в общей большой, но пустой в этот сезон столовой, я не спал большую часть ночи и, что на меня мало похоже, — был просто очарован видом Волги, залитой луной. Мы приехали в Рыбинск, «стукнули» по крупнейшим хлебникам — Жирнову, Блинову, Востроухову и Зернову, собрали хорошую жатву, но вышел скандал, и пришлось уезжать. Дело в том, что в ресторане Бархатовых, где мы ужинали, я нечаянно бросил горящую спичку в кадку искусственной пальмы, которая в 2 минуты вся запылала, и приехала пожарная команда. Из-за такой пьяной глупости пришлось покидать лишь наполовину обработанный город. Однако Рыбинский, Романовский, Угличский, Борисоглебский и Ростовский уезды дали нам столько же, что и Ярославль. Мы разъезжали на ямщицкой тройке с бубенцами, а извещенные телеграммами исправники встречали нас в парадной форме. Сами мы ездили только по богатому купечеству и черному духовенству, а остальную подписку производили по распоряжению исправников пристава или даже просто хожалые. В «цикорном» Ростове я смотрел в местном театре «Жидовку-выхрестку» и... балетный дивертисмент, после которого на другое утро я нашел у себя несколько седых волос в голове...

Обработав Ярославскую губернию, мы сели за Волгой

на узкоколейную железную дорогу и прибыли в Вологду, крупный торговый речной пункт, но невероятно дикий и скучный. Там повторилась полностью история Ярославской губернии, но Вологодская была колоссальной по территории и малозаселенной. Уезды были в 500 верстах друг от друга, и жатва наша здесь оказалась намного меньше. Однако, проехав на Котлас и 72 версты на лошадях до Великого Устюга, мы в одном этом городке взяли около 8000 благодаря обилию монастырей.

Театров и в помине не было. Заехав еще в Сольвычегодск, мы проехали в Архангельск, переполненный тогда немцами, которые оказались нисколько не умнее русских и за милую душу, по примеру своего губернатора фон Шиллинга*, подписывались на это удивительное издание. Однако сезон уже начался, и, обобрав честно 3 губернии, мы спешно вернулись в Петербург, пропустив лишь 2 спектакля, но это стоило, ибо я переслал в Учетно-ссудный банк, несмотря на широкую жизнь, 6000 рублей на свой текущий, а впоследствии (о глупость!) онкольный счет*.

В посту мы объехали Вятскую и Пермскую губернии с богатейшими горными заводами и опять же монастырями. Видели восьмое чудо <света> — маленький фабричный городок в 46 верстах от Вятки — Вахрушев-Вознесенск, весь освещенный электричеством, с асфальтовыми улицами и прекрасным театром и гостиницами. Этот культурный уголок дал нам 3000 рублей, а любезный исправник провез нас еще на тулупный завод Соболева, который угостил нас великолепным ужином и подписался на 500-рублевое издание. В Перми со мной произошел невероятный казус. Я познакомился в театре с молодой разведенной женой местного путейского инженера, прелестной и богемной женщиной, у которой прожил, как в чаду, 6 дней. Денисьев злился, но собирал обильную подписку, я же увяз в романтическом бреду, но, однако, проснулся, обрел своих однофамильцев двух братьев Лешковых, крупнейших лесников, отлично у них позавтракал и взял 2 подписки по 200 рублей. На 4-й неделе поста мы проехали в богатейший тогда Екатеринбург, основательно его тряхнули и через мрачный Челябинск вернулись в Сибирском экспрессе в Москву. Этот роскошный поезд состоял из одних лишь (3-х) между-

народных спальных вагонов I класса, чудного вагона-ресторана, вагона ванны-бассейна, гимнастического отделения и библиотеки на всех европейских языках. Подобной роскоши я еще не видал. Несмотря на громадную скорость, этот поезд шел 11 суток из Владивостока до Москвы, мы переехали по знаменитому сызранскому мосту длиною в 6 верст через Волгу, а из Москвы на нашем курьерском — в Петербург, где застали как раз короткий весенний сезон. К этому времени как раз относится начало моей критической деятельности в балете. Я начал в «Слове»* у Федорова, где получал по 8, а потом и по 10 копеек за строку. Печатные мои статьи все аккуратно хранятся у меня, наклеенные в специальные тетради. Авось, когда-нибудь и пригодятся!..

Третья наша поездка была менее удачна. Мы взяли Харьковскую, Полтавскую и Екатеринославскую губернии, но сразу потерпели фиаско. Приехав в Харьков, мы комфортабельно остановились в отеле «Россия» Руффа и, по обыкновению, отправились к губернатору. Но там оказался военный генерал-губернатор Пешков, такой же, впрочем, дурак, как и остальные, но трус 96-й пробы. В это время в университете были крупные студенческие волнения и беспорядки. Город был на положении усиленной охраны, и Пешков, вообразив, что мы можем в свои книги вкладывать какие-то прокламации, просто вежливо предложил нам покинуть Харьков в 24 часа. Я, однако, успел заложить свое зимнее пальто, иначе было бы не на что выехать, а выкупал его в Петербурге почтой. Листопадова разыскать мне не удалось. Нам ничего не оставалось, как напиться с горя на вокзале за ужином и ехать в Полтаву, откуда послали трескучую телеграмму в редакцию о переводе по телеграфу 200 рублей. Мы уже избаловались, по уездам ездить было лень, мы очень удачно проработали в Полтаве 2 недели и чуть не попали вместо Екатеринослава в Николаев. Нигде я не ел таких настоящих малороссийских борщей с ватрухами, как в Полтаве. Борщ там варили на баране и свинине, из хлебного кваса с бураками, а потом клали хорошую утку, а порции такие, что после этого борща уже ничего не полезет, кроме прекрасного немецкого колонистского пива.

Екатеринослав, по преимуществу помещичий город,

как раз был занят губернским съездом, мы ударили по этим помещикам, опять же по монастырям, но, несмотря на всю доходность, уже чувствовалось, что работа эта нам надоела. По телеграфному предложению из редакции мы заняли вдвоем должность заведующих московским отделением, которое и приняли от некоего Жемайло. Отделение имело квартиру в 4 комнаты в бельэтаже на Петровке. Москва была основательно очищена, но все же подписка понемножку шла, уже без всякой с нашей стороны инициативы. Мы слонялись от скуки по Москве, каждый день ели расстегаи у Тестова. В Москве жила старшая сестра Елена. Как-то я ее вместе с зятем потащил в «Аполло», где и напоил до зеленого змия. Наконец в середине августа запросились домой. Нам прислали на смену какого-то мрачного типа с артельщиком; мы сдали редакцию и уехали в Павловск, где застали еще расцвет сезона.

В сезон 1908/09 года я начал работать в «Ежегоднике императорских театров», где составлял статистику балетных спектаклей и числа участий артистов, ибо каждый спектакль отмечал даже все замены. Черновики эти я сдавал в репертуарную часть дирекции, получал свои построчные и все рассчитывал словчиться на абонемент хорошего кресла, но из этого ничего не вышло и я так и был 2 года подряд 149-м кандидатом на одно из могущих освободиться кресел 2-го или 3-го ряда.

Эти два сезона, совершенно свободный, нигде не служа, я проживал заработанное и выигранное, впрочем, работая уже в двух газетах да «Ежегоднике»; эти два сезона были едва ли не лучшие в моей жизни. Благодаря хорошему знакомству с заведующим кассами Н. М. Шишко я бывал в Мариинском, да и других казенных театрах, ежедневно. Прослушал весь репертуар Ф. И. Шаляпина, этого бесподобного актера и певца. Его въезд во Псков, по картине Виктора Васнецова, где лошадь его упиралась вперед ногами около самой суфлерской будки, был замечательной картиной. «Бориса Годунова» я слушал более 10 раз в этот сезон и изумлялся: до какой степени выработанный уже художественный образ оставался во всех мельчайших деталях роли незыблем у этого артиста.

В гриме уже не могло быть ни одного лишнего седого

волоса. Мельчайшие жесты, как, например, обтирание шеи шелковым платком при появлении вестника из Углича, были абсолютно одинаковы.

Впрочем, в отличие от прежней «свободной драмы», опера и балет, будучи связаны каждым тактом музыки, являются и статически и динамически особыми видами сценического искусства, как бы скованного и рассчитанного во времени и пространстве почти непроизвольно от исполнителя. Если бывают варианты, то настолько незначительные, что, по существу, влияния на ход действия не имеют. Конечно, Онегин может войти в правую или левую дверь, может опускаться или не опускаться на одно колено перед Татьяной, но он не может войти ни секундой раньше, ни секундой позже, потому что «музыка не ждет».

По той же причине и балерина не может ни секундой раньше, ни секундой позже начать или кончить свою вариацию, а кордебалет — своих подчас весьма сложных манипуляций.

В старые годы в любой русской опере хор заламывал набекрень шапки и вся его «игра» заключалась в поочередном поднимании то одной, то другой руки с физиономиями при этом, ничего не выражающими. С появлением таких артистов, как Шаляпин, подобное явление стало недопустимым анахронизмом. Начало «сдвига» в русском сценическом искусстве положила, несомненно, Москва в лице Художественного театра и оперы Саввы Мамонтова, а балет в Петербурге — в лице одного лишь Фокина. И вот такие закостенелые в своих формах виды, как опера и балет, не выходя из трафарета музыкальной сетки, вдруг сделались осмысленными и реально жизненными.

Этот «сдвиг» поставил условнейшие из сценических представлений — оперу и балет на ту высоту художественной целости восприятия, с которой все дальнейшие попытки и ухищрения могли лишь «стянуть за волосы» искусство снова вниз, хотя бы и по другую сторону вершины. И все до единой подобные попытки, по моему глубокому убеждению, только этого и достигали, невероятно уродуя самые высокие художественные образцы.

Особенно широко это проявилось в первые годы так называемой русской революции, которая в противополож-

ность с основным понятием этого слова, как переворота, взрыва, продолжается у нас, по выражению Троцкого, «перманентно» 15 лет. Но Троцкий исчез «в сиянии голубого дня», а Высший революционный трибунал и Военно-революционный совет остались, а главное, остались Главлит, Обллит и Гублит, МУЗО, ИЗО и прочие гнойные болячки на теле русского искусства, и их деятельность подлежала бы детальному разбору, но это невозможно, не столько по соображениям политическим, сколько потому, что придумать что-либо более сумбурное и бессмысленное, чем эти учреждения, невозможно. Мне довелось лично иметь дело и с МУЗО, и с Гублитом. Начать с того, что там сидели люди, абсолютно не имеющие ничего общего с целью своей работы. Это были полуграмотные парикмахеры и монтеры. Попадались, впрочем, и грамотные, но какие... Мне рассказывал покойный П. П. Гнедич, опытнейший драматург, написавший свыше 40 пьес, как он в 1915 году, во время войны, принес свою последнюю и замечательную по структуре и типажу пьесу «Северная Семирамида» в цензуру Главного управления печати. Цензор Д. И. Толстой, лично хорошо знавший Гнедича, через неделю вызвал его и со словами: «Да что Вы, батюшка Петр Петрович, аль к старости съехали с точки — забирайте свою рукопись да спрячьте подальше. Такая свободомыслящая пьеса не может никогда увидеть ни казенных, ни частных подмосток». Гнедич ушел, а через 3 года, в 1918 году, после официального чтения ее труппе Александринского театра, представил ее в Гублит. Там некий товарищ Преображенский заявил ему: «Вы, наверное, товарищ Гнедич, спятили, давая нам такую галиматью, это нужно было 10 лет назад ставить!..»

Так и погибла одна из лучших, строго исторических пьес этого прекрасного знатока и писателя, а бездарные переделки, перекройки и «выдавленные грудно-брюшной преградой» оригиналы Щеголевых, Треплевых, Треневых, Сейфуллиных и прочих заполонили русскую драму, недаром называвшую свой высший орган Комитетом художественной бедноты.

Революционный клич «переоценка ценностей» породил такие уродливые вывихи, которые могла сделать только петровская «дыба». Искусство было сначала раздето догола, по-

том высечено кнутом и, окровавленное, выброшено на сцену. Тому, что мне довелось увидеть в революционном русском театре, я посвящу последнюю главу, а теперь вернусь к тому последнему семилетию, когда русское сценическое искусство действительно стояло на вершине Гималаев и осветило своим «полярным сиянием» всю Европу и Америку.

III

Антреприза в Риге с участием А. Павловой. — Лето 1908 года в Павловске. — Музыкальные и театральные изыски сезона. — На репетиции Н. А. Римского-Корсакова. — Завтрак у великого князя Константина. — Чудачества купцов Власова и Корнилова. — Заведование кинематографом «Космос». — Русские сезоны С. П. Дягилева. — Триумф русского балета. — Открытие русских хореографических школ за границей. — Тотальная эмиграция российских артистов балета в первые годы революции

В посту 1908 года учинили антрепризу «А. Р. Больм, Р. Р. Больм и Д. И. Лешков», и я с самого начала поста поехал «передовым» в Ригу, взяв с собой в последний раз квитанционные книжки «Японской войны», а также образцы «романовского паркета из развернутого дерева»*, о коем речь будет впереди.

Мы внесли в дело всего лишь по 250 рублей — и повезли труппу во главе с Анной Павловой на 3 спектакля. Я остановился в очень скромном отеле против Виндавского вокзала, снял на 5 дней Большой городской Немецкий театр вместимостью с наш Александринский. За помещение взяли по 350 рублей в вечер, вместе с оркестром в 42 человека хорошо обученных и опытных музыкантов, с которыми Р. Больму не пришлось много возиться. Далее я расклеил по всему городу плакаты с портретами А. Павловой в пояс, в натуральную величину, и мозаики портретов всей труппы — 26 человек, вошел в альянс с театральной кассой по поводу предварительной продажи билетов и почил на своей подписке и паркете, заказы на который получил от

нескольких банков и контор. Подписка шла ни шатко ни валко, но все же давала мне возможность хорошо жить. Столовался я или, вернее, опивался чудным пивом в студенческом «корпорантском» кабачке под отелем «Рим» против театра. Там был русский стол и очень неплохо кормили, а я наблюдал не лишенную оригинальности «программу питей» израненных в мензурах* молодых людей с трехцветными лентами и миниатюрными фуражками. Среди них оказался Р. Зеберг, мой зимний абонент по ложе, и он 3 дня «угощал» меня Ригой, в которой при моем знании немецкого языка было вовсе не легко, ибо все надписи на трамваях, названия улиц и даже официальные переговоры на почте — лишь на немецком языке. Когда учился Зеберг — для меня непонятно, ибо всю зиму он сидел в балете, а летом, кажется, нигде занятий нет. В самом начале 4-й недели поста я получил телеграмму, что труппа едет, и утром был на вокзале с букетом любимых А. П. белых роз. Эта женщина ухитрилась при выходе из купе забрать мои цветы и корзиночку с бутербродами, а маленький саквояж со всеми своими бриллиантами и золотом оставила. Спохватилась она лишь 2 часа спустя в отеле «Сосьете», где все остановились. Я моментально вскочил на извозчика, через 10 минут был у начальника станции и жандармского полковника. Были выстроены все 130 носильщиков артели и 18 досмотрщиков вагонов, и саквояж, конечно, нашелся. Он был с секретным замком, и все оказалось цело. Меня за это поцеловали, подарили золотой браслет цепью и милостиво со мной и бутылкой коньяку изволили завтракать.

Извозчики, т. е. «фаэтоны», в Риге были парные, широкие, с площадкой сзади для стояния. Дамы ехали на сиденьях внутри, а кавалерам надлежало стоять сзади... Сидеть вместе с дамой в экипаже, т. е. в санях, допускались только старики и дети. В этот же день была дневная оркестровая репетиция «Коппелии» и дивертисмента, которая прошла прекрасно. Обедать поехали в загородный «Königspark», где после обеда играли, как дети, в снежки и зарыли нашу балерину в снегу так, что она чуть не задохнулась. На другой день вечером шла «Коппелия» при переполненном сборе, с приставными стульями. Успех был громадный, а сбор 3800 рублей.

Губернатор Зиновьев* влюбился в Павлову и на другое утро повез всю труппу в «Дом черноголовых», старейший в Ливонии клуб, существующий 1300 лет, а потом угостил всех в Винтер-Гартене роскошным завтраком.

«Тщетная предосторожность» и «Пахита» имели такой же успех, и нам с Больмами стало неловко, что при таких оборотах мы платили Павловой, этой через 2 года мировой звезде первой величины, всего по 125 рублей за выход. Мы поехали к лучшему рижскому ювелиру и выбрали за 450 рублей бриллиантовый подвесок в виде слезы на тончайшей платиновой цепочке, который и поднесли ей на последнем спектакле. Зиновьев послал Теляковскому телеграмму: «Рижане умоляют отсрочку один день для дополнительного спектакля» — и получил ответ: «Согласен». Дали еще раз «Коппелию» при архипереполненном сборе, а Зиновьев устроил настоящий цветочный дождь из своей ложи на сцену. Вот где можно было свободно дать 20—30 спектаклей и взять огромные деньги. Но надо было возвращаться, и мы вернулись в Питер. На 7-й неделе мы в том же составе съездили еще в Гельсингфорс, где также взяли 3 полных сбора. Там, впрочем, дело было налаженное через местного кондитера Фацера, большого поклонника и пропагандиста русского балета. После короткого весеннего сезона, всего в 6 спектаклей, А. П. Павлова и Фокин уехали в Стокгольм, где успешно гастролировали с прекрасным шведским балетом. Король поднес им по ордену Вазы — «за искусство», а я это лето, наконец, безмятежно отдыхал в родном Павловске.

У матери в магазине всегда стояло 40—50 пианино и роялей, в большинстве случаев хороших, а за лето проходило до 480 штук в прокат. Так что выбор был хороший — играй не хочу. Это было какое-то лето, когда я просто «пасся» как добрая скотина, нагуливая на велосипеде аппетит, по вечерам был или в вокзале, или в театре, который в это лето при антрепризе З. В. Холмской и А. Р. Кугеля процветал как никогда. Здесь почти весь летний сезон проиграли: М. Г. Савина, В. В. Стрельская, А. А. Чижевская, М. П. Домашева, К. А. Варламов, В. П. Далматов, Р. Б. Аполлонский, Н. Н. Ходотов, А. Ф. Новинский. Были гастроли М. Н. Ермоловой, А. А. Яблочкиной, М. П. Садовского и А. И. Южина.

Репертуар был прекрасный, и театр всегда полон. Были даже балетные дивертисменты и 2 раза оперетта с В. В. Кавецкой и Северским. В вокзале 2 раза дирижировал Н. А. Римский-Корсаков (осенью скончавшийся)*, А. К. Глазунов и Э. А. Купер (который на прокатном условии, к изумлению матери, расписался просто «Л. Шмулевич», объяснив, что Купер — это лишь его артистический псевдоним). Это был хороший, чуткий дирижер и большой знаток и поклонник Чайковского.

Раз, помню, часов в 10 утра, у меня перед носом ушел поезд и некуда было деть целый час времени. Я пробрался через «минеральные воды» в зал, где шла репетиция концерта под управлением Н. А. Римского-Корсакова. В пустом зале оркестровое форте раздавалось громом, а репетировали как раз вступление к «Тристану» Вагнера. И вот я был свидетелем факта, казалось бы, просто невероятного. После какой-то шумной тирады Римский-Корсаков остановил оркестр и спокойно заметил: «А вот в 5 такте № 103 у второго гобоя чистое ля, а не ля бемоль!..» Гобоист Грюнерт исправил в партии ошибку, и репетиция продолжалась. Этому даже трудно поверить, что возможно изощрить свой слух до такого чуда. Этот прекрасный концерт, помимо двух иностранных номеров, состоял из «Шахерезады», «Садко» и «Антара», сюиты из «Золотого петушка» и романсов Л. Я. Липковской. А. К. Глазунов дирижировал своей последней 6-й симфонией, картиной «Море», «Средневековой сюитой» и «Стенькой Разиным».

Приезжал пианист Ставенгаген, играл Падеревский, француз-скрипач Ларош и старые друзья Иоганн Смитт и А. В. Вержбилович. Это лето было на редкость удачным и в музыкальном, и в театральном отношении.

Однажды часов в 11 утра я, по обыкновению, задувал на своем велосипеде по пешеходным дорожкам парка, хорошо посыпанным песком и утрамбованным, задумался и обогнал великого князя Константина. «Э, да это Денис Иваныч! Вот видишь, как штатское платье делает людей невежами — едешь по пешеходной дорожке, да еще не здороваешься со старыми знакомыми. Вот тебе и штраф: веди своего стального коня в руках и пойдем ко мне завтракать». Он привел меня во дворец, где угостил прекрасным завтра-

ком, а потом мы долго беседовали на музыкальные темы в его громадном нижнем кабинете, где над «стейнвеем»* висел роскошный портрет маслом П. И. Чайковского — большая редкость, ибо П. И. ничего так ни ненавидел в жизни, как позировать художникам.

Потом <великий> князь подвел меня к старинному портрету с подписью: «Его Императорское Величество, Государь и Самодержец Всероссийский Константин I». Я тотчас узнал характерную физиономию его деда-дяди и сказал, что я знаю об этом 4-дневном царствовании. У великого князя оказалась редчайшая коллекция манускриптов этого четырехдневного царствования и 5 штук золотых и серебряных монет с изображением Константина Павловича, которые успели отчеканить на монетном дворе. Теперь нумизматы ценят эти монеты в сотни тысяч рублей. В 3 часа он отпустил меня, взяв слово, что я больше не буду ездить по пешеходным дорожкам!.. Я проехал в «Розовый павильон», где долго сидел на ферме под впечатлением виденного и слышанного. Оригинал этот Константин: если бы не форма Измайловского полка и ряд миниатюрных орденов с Андреем Первозванным — он походил бы скорее на очень богатого, многосемейного, скупого и расчетливого буржуа, со своей простоватой и скромной Елизаветой Маврикиевной, которая никогда не была похожа на великую княгиню. Они жили себе скромно в Павловске, по вечерам всей семьей ходили пешком на концерты в вокзал и так же возвращались. А в жизни это был бесспорно высокоталантливый поэт и прекрасный пианист. Из детей его юный тогда еще Олег подавал крупные надежды в унаследовании таланта отца, но бессмысленно погиб 19-ти лет, в 1914 году, бросившись с разъездом в 24 чел<овека> гусар на целый германский эскадрон драгун, и был просто со своими людьми изрублен в капусту.

Я немного ухаживал за младшей дочерью <купца> Глушкова, О<льгой> В<асильевной> — моей будущей женой, мы вместе ходили в театр и вокзал, где я «приучал» ее к серьезной музыке.

Я сошелся за это лето с одним из своих балетных абонентов, курьезным купцом-суконщиком М. А. Власовым. Этот хилый и красивый блондин объездил весь земной

шар, долго жил в Париже и Монте-Карло, ездил на ослах верхом вокруг египетских пирамид, катался на слонах в Индии, но любил наш русский балет, любил серьезную музыку и был большой кутила. В эпоху нашего знакомства он был уже под родственной опекой за расточительность, получал каждую субботу из своей «лаборатории», как он называл свой суконный магазин, по 700 рублей и жил кроме того на всем готовом, до портных включительно, деньги же эти буквально проедал и пропивал в Павловском вокзале.

Ежедневно после обеда у меня резались в винт по сотой до музыки, когда отправлялись в вокзал, где Мишенька заказывал стол, двойную бутыль «магнум», шампанского моэта во льду, каких-нибудь невероятных индюшечьих цыплят в мадере и бесконечное количество кюрасо и шартрезов. После концерта к столу этому постепенно приставляли второй и третий, собиралась падкая до дарового угощения артистическая богема, и нас с трудом выгоняли в 3 $^{1}/_{2}$ часа ночи.

Здесь появлялся и знаменитый пряничный фабрикант Корнилов, миллионер и редкий чудак, который платил по 100 рублей за похвалу его шелковистой черной бороде, а раз послал ночью экстренный поезд в один вагон в Петербург за стерлядью и живыми омарами. Он не любил афишироваться; тогда ужинали в большом кабинете с балконом в сад. В кабинет с последним поездом приезжали из Новой Деревни цыгане с гитарами, а актеры заменялись царскосельскими гусарами и кирасирами. Корнилов, как правило, никому не позволял платить и из-за этого даже дрался на дуэли в Павловском парке с бароном Будбергом. Зимой, сидя как-то в общем зале «Мало-Ярославца», он увидел вдруг выезжающего из-под арки Главного штаба одного приятеля, которого не видел несколько лет. Как дать <о себе> знать? Корнилов берет медный канделябр и проколачивает им обе рамы, выбрасывая его на Морскую. Приятель, конечно, «увидел», сразу узнал, с кем имеет дело, и поднялся наверх. Окно кое-как заделали, и такие штуки сходили ему просто и легко. Другой раз в «Аквариуме», очень обиженный за что-то на пианиста-аккомпаниатора, он снял с него штаны и голым задом посадил посреди зала в огромное блюдо с пломбиром. Несчастный вопил не

столько от холодной ванны, сколько от страха перед гневом Корнилова. Этот чудило держал 7 огромных ньюфаундлендов, дрессированных, и катался на них с дочерью в легкой колясочке по парку. Одна из этих собак пристала раз почему-то ко мне, и я не мог от нее отвязаться несколько дней, пока не отвел собственноручно в Царское Село на дачу Корнилова.

Моя мать очень рано по утрам пила в вокзале свою баталинскую воду, ее сопровождала всегда наша умная дворняжка неопределенного цвета Лачинов. Однажды этот самый Лачинов, вообще пес спокойного нрава, по неведомой причине вдруг бросился на какие-то мощи в виде старца и основательно порвал ему брюки. Вечером того же дня в антракте мать увидела, как балетный артист Н. Н. Яковлев неестественно низко кланялся этому, уже в других брюках, старцу. «Да кто же это?» — спросила мать. «Помилуйте, неужели Вы не знаете — это Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Св<ятейшего> Синода и ближайший наставник и советник царя!» Вот как иногда простые дворняги бывают прозорливы.

Зиму 1908/09 года мать сняла почему-то квартиру в Коломне, в Люблинском переулке. Впрочем, это было удобно, очень близко от театра. В одной из моих лож появилась еще новая личность — Федя Цинзерлинг, совладелец книжного магазина «Мелье и К°», существующего 120 лет. Это была оригинальная личность — маленький, толстый, без грима Наполеон I, очень образованный, владевший 4-мя языками молодой человек. Днем мы резались в винт. Я, Власов, Федя и старик преподаватель немецкого языка в Николаевском кавалерийском училище Брандт, который за 40-летнюю свою педагогическую деятельность попросил у царя разрешение носить шпоры... Вечером, кроме этого старого осла, но отличного винтёра, мы все бывали в театре, после которого ужинали. В декабре Федя меня познакомил со своим другом А. М. Леманом, окончившим университет, числившимся у кого-то помощником присяжного поверенного, очень богатым человеком, однако нигде не служившим и ничего не делавшим. Этот Леман был незаурядный пианист, добрый, хороший человек, но пьяница и страдавший глубокими припадками нервной болезни. Он

был владельцем кинематографа «Космос» на Знаменской площади против Николаевского вокзала. Он прогнал своего немца-управляющего и предложил мне заведовать своим кино.

Я посадил свою невесту в кассу, нанял двух хорошеньких билетерш, взял прежнего механика, и дело пошло бы хорошо, если бы не сам хозяин, который частенько являлся в театр, видел, что все идет хорошо, забирал под расписку весь сбор и вместе со своей свитой из Феди, А. С. Стрекачева и еще кого-нибудь забирал меня в соседнюю Знаменскую гостиницу, где мы перевертывали все вверх тормашками и напивались до зеленого змия, а ведь мне надо было еще закрывать театр и везти невесту в Павловск, где, впрочем, я в большинстве случаев и оставался ночевать в комнате ее брата Васи, где для меня стояла всегда кровать.

Как раз под нашим окном был их магазин, и утром мы опускали на веревке Васину путейскую фуражку и маячили ею перед нижним окном, пока приказчик Евдокимов не клал туда полбутылки коньяку и плитку шоколада для починки наших засоренных голов.

Это было счастливое время беззаботных поездок на розвальнях с провизией и выпивкой. Василий кончил Вышневолоцкое техническое училище путей сообщения, получил первый чин и номинально служил в Управлении водных и шоссейных путей, а в действительности мы целыми днями играли в винт, объедались домашними пирогами, ставили хорошие драматические спектакли в Царскосельском общественном собрании и ратуше (тогда меня в «Космосе» замещал помощник, а невесту — запасная кассирша). На Масленице отец Глушков держал буфет в Михайловском манеже на народных гуляниях. Ну и были же эти гуляния...

Весной 1909 года осуществилось, наконец, грандиозное предприятие С. П. Дягилева*. Описывать подробно я его не буду — это общеизвестно. В виде капитала он вложил все свои личные сбережения, лишь добавленные акциями Волжско-Камского банка и некоторой финансовой помощью парижского скульптора Родена и художественной помощью нашего Лео Бакста. Этот человек <Дягилев>, бывший чиновник особых поручений при дирекции <Императорских театров>, «шеншеля», как его называли за од-

ну прядь седых волос в голове, рискнул везти громадную балетную труппу со всеми солистами оркестра, декорациями и костюмами в Париж. Во главе труппы были М. Фокин, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, все первые солистки и солисты, а из молодежи Шоллар, Шиманская, Борис Романов, Федор Шерер и Леонтьев.

Был снят огромный театр «Шатле», который в неделю пришлось переделывать. Мне рассказывала сама Павлова, что там не оказалось ни одного люка, о которых даже понятия не имели. «Да как же у вас появлялся Мефистофель?» — «А из-за высокой спинки готического кресла Фауста, где и прятался с начала акта». Вот тебе и Париж! Впрочем, опускные люки, и то в количестве 4-х, были только в Grand Opera. Нечего было и думать о постановке «Павильона Армиды», где весь планшет сцены состоит из подъемных и опускных частей, и вот в недельный срок при сверхчеловеческих усилиях была переделана вся сцена, увеличено место для оркестра, ранее рассчитанного лишь на 40 человек, и т. д., и т. д. Словом, затраты были колоссальные и Дягилев очень рисковал.

Но на первом представлении присутствовали все члены правительства, дипломатический корпус, вся парижская пресса, художники, артисты и все выдающиеся люди мировой столицы.

Это был не успех, а небывалый еще триумф. «Великое откровение варварского севера», которое вызвало такое движение во всей художественной печати Западной Европы, которого не было со времен Буланже и Панамского канала.

Спектакли в «Шатле» покрыли Дягилеву все его огромные расходы и составили капитал для расширения этого грандиозного дела.

«Les saisson de ballet russe» стало бредом французов. Художники и скульпторы всей Европы воспроизводили наших славных артистов, а иллюстрированные журналы пяти держав 2 месяца ничего другого не печатали, как прекрасных 4-х красочных снимков Павловой, Карсавиной, Фокина и Нижинского. Это было настоящее умопомешательство Европы.

В следующее лето Дягилев повез и оперу с Шаляпиным,

снял уже громадный театр на Champs Elysées, а на второй месяц перекочевал в Ковент-Гарденский театр в Лондоне*.

Даже флегматичные англичане проявили небывалый энтузиазм, и Европа была буквально «покорена» русскими артистами.

Весь Париж был в саженных плакатах с изображением лишь тушью и мелом Анны Павловой работы Валентина Серова, а статуэтки ее работы нашего же талантливого скульптора Б. О. Фредмана-Клюзеля продавались в эстампных магазинах по 1000 франков.

«Половецкая пляска» из «Игоря» с лучником Б. Романовым вызвала сплошной рев культурных французов и англичан, а в Лондоне ломали стулья.

Это бессловесное зрелище было равно понятно во всех странах, с оперой было уже несколько труднее, хотя Шаляпин и пел по-итальянски, а с русской драмой, которая самостоятельно поехала, и просто ничего не вышло, пока ядро труппы Станиславского не изучило в совершенстве английского языка и не обосновалось в Голливуде.

За 4 года наш балет объездил весь земной шар, Анна Павлова за одну поездку по 18 городам Северной Америки получила за два месяца 380 000 долларов. Репетиции <проходили> на ходу поезда, где был вагон с покатым полом и пианино. Везлись весь оркестр, декорации, костюмы и бутафория. В Буэнос-Айресе Карсавина свела с ума всех аргентинцев. В Бразилии, Перу и Мексике гастролировали русские артисты. Даже наша Лидия Лопухова, сомнительного таланта танцовщица, и та имела где-то успех. В 1912 году наконец все, и московский балет, бросились на легкий и обильный заработок, и те сливки, которые Дягилев показал в 1909 году, постепенно начали разбавляться снятым молоком. Повсюду: в Германии, Австрии, Швейцарии и Франции — пооткрывались русские хореографические школы, возглавляемые нашими второстепенными артистами, на родине совершенно неизвестными с педагогической стороны, как Эдуардова, Балашова, Преображенская (о последней я вообще почти не упоминал, ибо артистка эта, хотя и с большим репертуаром, добилась своего положения на сцене лишь каторжным трудом, пройдя все ступени и балетные ранги в строго определенные сроки, как в армии,

звезд с неба не хватала и была всегда лишь «полезной» танцовщицей). В качестве балетмейстеров после Фокина фигурировали уже Нижинские (брат и сестра), какие-то Мясины, Козловы, Мордкины, Рябцевы и др. В Лондоне возникло судебное дело о хореографическом плагиате, друг друга и все вместе обворовывали Фокина, пошла заваруха, и эссенция 1909 года в 1913-м превратилась в какой-то вонючий отстой, приносивший уже разочарование. Особенно богатую Америку наводнили наши второстепенные и третьестепенные артисты, которые, собирая уже жалкие сотни долларов, только дискредитировали русский балет.

Вот в этом характернее всего сказалась пословица: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». — «Как это, мол, так — Павлова, Карсавина и Фокин заграбастали миллионы, а мы-то что сидим и смотрим?» Эта шантрапа забывала, что Павлова, Карсавина и Фокин — это подлинные громадные художники — творцы, которые появляются раз в столетие.

Не начнись мировая война, неизвестно, чем кончилось бы заполнение иностранных сцен кордебалетом «от воды» и кончившими воспитанницами Театрального училища, очень красивыми, как, например, О. Спесивцева, но не умеющими еще и ходить-то по сцене.

А. Павлова с 1912 года уже не возвращалась в Россию, а с первого года так называемой революции началось весьма поучительное зрелище. Все лучшие и выдающиеся артисты этого общепонятного искусства эмигрировали десятками, а остающиеся, пройдя 2—3 года тяжелой школы «необходимости замещать первачей», как Смирнова — Романов, Шоллар — Вильтзак, Дубровская — Владимиров и др., «поднаторевшись», тотчас удирали уже парами и тройками, и к 1919 году от русского балета остались одни ошметки, осколки расколоченной некогда роскошной вазы, которые «героически боролись в холодном нетопленом театре за флотские пайки держать знамя не понятного никому искусства, которое увядало, как неполитый цветок». Как ни старался, оправдывая это явно дефицитное дело, А. В. Луначарский усматривать в нем возможности грандиозных ритмически согласованных праздничных революционных шествий — из этого вышел такой «Красный вихрь», от ко-

торого <так> тошнило и артистов и зрителей, что балет потерял и последнее свое основание — форму.

Совершенно то же явление наблюдалось и в опере, и даже в драме. Годы войны были последними годами русского искусства, решительно во всех его проявлениях — от сцены, живописи, литературы до фарфора и кустарных изделий включительно. Эти годы оставили как бы незыблемые образцы своего бытья, за которые потом, как утопающие за соломинку, держались еще десяток лет. Это были «Маскарад» А. Я. Головина, «Салтан», «Китеж» и «Золотой петушок» Лосского и последняя серия фокинских балетов — «Карнавал», «Шопениана», «Египетские ночи», «Арагонская хота», «Эрос» и, к сожалению, лишь по одному разу прошедшие прелестные «Ученик чародея» Дюка и «Стенька Разин» А. Глазунова. Репродукцией парижской «Шахерезады» остался «Исламей» Балакирева — сконцентрированная в 7 минут настоящая хореографическая трагедия.

Как долго потом пробавлялись этими «последками», не имея ничего другого.

IV

Служба в Акционерном обществе по эксплуатации бензиногазовых аккумуляторов. — На Всероссийской гигиенической выставке. — Послереволюционная «агония русского искусства». — «Новый» зритель. — Героические усилия Л. С. Леонтьева при постановке «Петрушки». — Балетмейстер Ф. Лопухов. — Новая драматургия. — «Революционные» переделки в опере. — Постановки В. Р. Раппапорта и В. Э. Мейерхольда. — Революционная пьеса «Заговор императрицы». — Деятельность в архиве Управления государственными академическими театрами. — В Москве у А. А. Бахрушина. — Бахрушинский музей. — Опера К. С. Станиславского. — «Актерский мор» 20-х годов

В конце 1910 года я женился, и разница стала лишь в том, что я стал ездить в балет не один, а с молодой женой, которая уже знала и любила это красивое искусство.

В этот же год я поступил на службу к старому знакомому, инженеру И. В. Романову, так называемому «русскому Эдисону» — большому ловкачу, удачливому изобретателю и комментатору, который в этот год основал акционерное общество по эксплуатации бензиногазовых аккумуляторов, вырабатывавших известный уже, впрочем, 50 лет «воздушный газ». Преимущество системы Романова было лишь в том, что он аккумулировал жидкий бензин в пластинах развернутой осины, которая, благодаря исключительной гигроскопичности, обезвреживала взрывчатую жидкость.

Поначалу я был и швец, и жнец, и в дуду игрец, потом штат расширили, и я остался секретарем правления и техническим инспектором мастерских. В 1912 году я заведовал выставочным стендом этого о<бщест>ва на Всероссийской гигиенической выставке. Это было развеселое время. Рядом был кавказский духан с шашлыками, а напротив киоск «Старой Баварии». В манеже показывали шаг за шагом весь процесс производства «казенки», и публика тут же свеженькую ее распивала. На выставке с территорией в 2 квадратных версты было 11 кабаков, 4 оркестра и 2 раза в неделю шантан — вот настоящая «расейская гигиена». Приезжали царь с царицей, тупо смотрели на мои приборы, царь с Сазоновым* пошли смотреть «теплые автопромывные ватерклозеты», а царица доить швейцарских коров, причем, как рассказывали, была очень огорчена, что ей не удалось выдоить цюрихского быка.

Моим ассистентом был Федя Цинзерлинг, мы целыми днями поедали карские шашлыки под водку и кахетинское вино.

То же повторилось и зимой в Соляном Городке на выставке приборов освещения и отопления. В 1913 году дело развернулось до открытия специального завода, но с началом войны все погибло, ибо все наши мастера оказались «прапорщиками запаса».

В 1915 году и я ушел на фронт, о чем уже писал, и вернулся лишь в 1917 году в августе, чтобы наблюдать агонию русского искусства, чему и посвящаю эту последнюю главу.

1917 и 1918 годы наши театры, еще не треснутые как следует по черепу Пролеткультами и Гублитами, пробавлялись старинкой, запас которой был неиссякаем и которая

собирала еще не успевшую эмигрировать публику. Это было то же, что последний год перед падением Западной Римской империи или 1789 и 1790 годы в Париже. Санкюлотов еще не было, а поклонение высшему разуму за отсутствием такового тоже не производилось.

Однако приблизительно с 1919 года к театру начали предъявляться требования «идти в ногу» с современностью. А что такое была «современность»? Варварская гражданская война на окраинах с тысячью виселиц и костров и полный голод внутри страны... Эту «современность», что ли, должно было отображать искусство?

Когда кто-то, здраво взвесив обстоятельства, вполне дельно заявил, что «подлинное искусство — аполитично», то надо было слышать, какой поднялся волчий вой и улюлюканье! Аполитичного искусства нам не надо... А кому это «нам»? Это безграмотному зверью, которое расстреливало в Петропавловской крепости тысячи ни в чем не повинных людей и топило целые баржи с «классовым врагом» в виде голодных попов и бывших интеллигентов. Конечно, этому зверью не надо было никакого искусства, а вполне достаточно было фальшивой гармошки и Демьяновых стихов. Разве им мог быть понятен «Китеж» Римского-Корсакова, пейзаж Куинджи или тонкий «Эрос» Фокина — Чайковского. Это аксиома, не подлежавшая сомнению, а наши несчастные театры надувались, как крыловская лягушка, и силились дать культурную пищу влезшему в них (благо — даром) «новому зрителю». Этот «новый зритель», по выражению К. А. Скальковского, смотрел на гениальнейшие образцы, как «корова на проходящий мимо курьерский поезд». Весь 1919 да и 1920 годы были тяжелым периодом «метания бисера перед свиньями». Новых оригинальных произведений ни в драматургии, ни в музыке, ни в хореографии не появлялось, да и не могло появиться, ибо всякое культурное проявление всегда требовало соответствующей окружающей обстановки. Как-то в театре в антракте мне довелось немного говорить с А. К. Глазуновым. На мой вопрос, есть ли у него что-нибудь новое, он грустно ответил: «Нет, вот уже 2 года как ничего... Да разве *теперь* можно что-нибудь ”творить”?»

В конце 1920 года Л. С. Леонтьев и А. Н. Бенуа попыта-

лись поставить «Петрушку» Игоря Стравинского. В сущности, это была рабская копия фокинской парижской постановки, чего, впрочем, Леонтьев и не скрывал, но и это уже было действительным геройством. Разучить с голодной труппой при 4-х градусах тепла такую сложную постановку было очень нелегко. Даже оркестру (увы, уже не прежнему) казалась чересчур новой такая смелая композиция, тем не менее 20 ноября премьера состоялась. Само собой, что $^3/_4$ театра не поняло, да и не могло оценить этого тонкого художественного примитива. Страдания мятущегося по стенкам Петрушки вызывали идиотский смех, а больше всего нравился балаганный дед, ловящий удочкой полуштофы. Музыка зрителям явно мешала, но нравился барабан в чистых переменах.

Новоявленный «на безрыбье» балетмейстер Федор Лопухов все же не мог успокоиться успехом, хотя бы у сотни зрителей, «Петрушки» и принялся «кропать» еще менее популярный и непосильный сюжет — «Жар-птицу» того же Стравинского. Лопухов целый год не стригся, отпустил себе длинные волосы, носился с туго набитым портфелем — партитурой и какими-то руководствами по быту древних славян, рисунками и чертежами придуманных им кунштюков вроде катания на роликах балерины вокруг дерева и появления на авансцене из суфлерской будки черных и белых рыцарей (что уже использовано Лосским в «Салтане»), и, в общем, в следующем 1921 году появилось весьма скучное и нудное зрелище, продолжающееся без перерыва 1 час 20 минут. При этом программа была снабжена таким сумбурным набором слов с целью пояснить навязанную всем известной бесхитростной сказкой «борьбу двух начал — светлого и темного царства» и пр., что зрители недоумевали, храпели от зеленой скуки, а бедные «плененные царевны» вытирали своими животами пол сцены и наивно швырялись картонными позолоченными шариками. «Поганый пляс» Кащеева царства — богатейшая для хореографа тема, которая у Фокина вызывала «жуткие мурашки по телу» зрителей, — здесь пропала в однообразных тырканьях кулаками в воздух и трафаретном просачивании одной линии танцовщиков сквозь другую. Лопухов, видите ли, как огня боялся «подражания кому-либо», а особливо Фо-

кину, которого открыто называл «упадочным интеллигентом», уже сыгравшим свою роль и отошедшим в область предания. Больной эротический мозг Лопухова приводил его к нагло самоуверенным выводам и заключениям. Так, при первом съезде труппы в августе 1922 года я сидел на диванчике на хорах репетиционного зала и слушал его «программную» речь к артистам. Боже, что это скорбный главою человек молол: Мариус Петипа и Лев Иванов — выжившие из ума старики, ставившие для забавы праздной толпы красивые банальные картинки, вроде «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», а Чайковский сочинил «антимузыкальный» вальс снежинок в дурацком «Щелкунчике». Балет, мол, требует иных путей и новых откровений (которые он, вероятно, и дает). И ведь не нашлось ни одного человека, который взял бы за шиворот и тряхнул как следует этого оратора. Все слушали молча, как бараны, и лишь потом в «подшефной» пивной на Толмазовом возникли споры о здоровье нового управляющего труппой.

В драме начались постановки графоманического А. В. Луначарского: «Фауст и Город», «Канцлер и слесарь», «Королевский брадобрей», «Яд» и «Бархат и лохмотья». Про последнюю пьесу в Москве сложили не лишенное остроумия четверостишие:

Нарком, сбирая рублики,
Стреляет прямо в цель.
Лохмотья дарит публике,
А бархат — Розенель.

Вся «революционность» этого цикла пьес заключалась по преимуществу в их крайней несценичности, а заключительная мораль могла быть, как нечто предрешенное, с одинаковым успехом выведена в конце первого акта, не растягивая труднопонятное зрелище на пять действий. Потом появились «Огненные мосты», «Воздушные пироги», «Рельсы гудят», «Шахтеры» и прочая бездарь, требующая насильственного внедрения подневольных зрителей, т. е. приводились в театр в строю батальоны красноармейцев или бригады рабочих, которые неистово скучали, разрывая рты от зевков. Та же участь постигла и постановки «Вильгельма Телля» и «Заговора Фиеско», и полный провал в

Михайловском театре дурацкой феерии «Иван Козырь и Татьяна Русских». Жаль было артистов, надрывающихся ради всего этого хлама и чувствующих свое бессилие что-либо сделать. Когда от такого коленкорового репертуара в дирекции касса напоминала турецкий барабан, а правительственной субсидии не хватало на выплату зарплаты — тогда возобновляли Островского «Не было ни гроша, <да> вдруг алтын»*, и действительно алтын в кассе появлялся, ибо пьеса давала 27 рядовых аншлагов, после чего отдыхали еще на «Маскараде».

В опере дело обстояло несколько сложнее. Использовав единственные «революционные» сюжеты — «Фенеллу» и «Риенци»*, уперлись опять в тупик полного отсутствия сюжетов и принялись за нелепые переделки.

Так, по особому конкурсу были заказаны одновременно переделки поэтической «Тоски»* Пуччини на «Борьбу за коммуну», а «Гугенотов» Мейербера на «Декабристов».

Додуматься до таких комбинаций поистине можно было не головой, а «тем местом, откуда ноги растут». Мудрые авторы порешили, что музычка «пущай остается», а «либретту можно подогнать новую». Ни со стилем, ни с настроением, ни с определенной программностью «музычки» никто не считался. Важно было показать мифическую русскую деву на баррикадах с красным флагом и свирепого генерала Галифе. В «Гугенотах» вместо Рауля пел Рылеев, а Варфоломеевскую ночь ничтоже сумняшеся заменили восстанием на Сенатской площади!

Когда эти перлы окончательно рассматривались в каком-то ЛИТО-МУЗО, то пришло известие, будто Д. Пуччини так заинтересовался этой переделкой, что непременно собирался на премьеру, но только вместо того взял да и помер. Тогда будто бы кто-то из «ораторов» предложил: «Ну ладно, «Борьбу за коммуну» дадим, а касаемо «Гигинотей», товарищи, воздержимся, а то еще, чего доброго, и Мейербер помрет... Скажут еще, что мы здесь удушаем западных авторов...»

Так, по счастью, «Декабристы» и не увидели света рампы, а эта дикая галиматья «В борьбе за коммуну» при насильственном заполнении театра прошла с 10 раз. Бедные певцы, что они переживали... Но вот на помощь явился «композитор» Пащенко со своей оперой «Орлиный бунт».

Это примечательное явление в ультрафиолетовой постановке «Христа для бедных» убогого режиссера Раппапорта достойно, как курьез, некоторого внимания.

Музыка, сплошь накраденная, вернее награбленная, представляла любопытную мозаику из 20-ти авторов. Верно, и прежде композиторы, даже первоклассные, тихонько обворовывали друг друга. Но ведь взять чужую тему, искусно обработать ее в другой тональности, при новой гармонизации — это есть ловкое воровство, все-таки нечто скрытое и тайное, «яко тать в нощи». Чтобы открыть такой плагиат, нужны были колоссальная эрудиция и феноменальная музыкальная память, да и то люди приходили к выводу о случайном заимствовании. Музыка — дело темное: вон Шарль Гуно и Шпор почти одновременно писали «Фауста»*, и ария Маргариты перед храмом оказалась у обоих почти на одну тему — поди докажи, кто у кого свистнул! Чайковский и Глазунов сами себя нещадно обворовывали, т. е. попросту повторялись, но это же не кража. Н. Н. Черепнин так скомпоновал свой «Павильон Армиды», что пахнет всеми русскими классиками, но шито не белыми нитками и докопаться до бесспорного плагиата очень трудно. В эпоху русской революции воровство бросили, а стали просто грабить. Это был уже не «тать в нощи», а просто открытый разбой на большой дороге. Начали слизывать просто по 30—40 тактов с чужой партитуры, что, конечно, много проще, чем вымучивать их из себя. Авторская наглость дошла до неслыханных пределов, и то, что показали «композиторы новейшей формации», как Пащенко, Дешевов и Корчмарев, не говоря уж о разных Канкаровичах и мелких эстрадных грабителях, было явлением поистине поучительным. «Сочинение» музыки страшно упростилось; это сделалось просто работой ножниц и клея.

Возвращусь к «Орлиному бунту». Это, конечно, пугачевщина — жеваная и пережеванная, но здесь весьма оригинально поданная. Первый акт происходит в саду «Монплезир», где восседает Екатерина со своими любовниками и фрейлинами. С «небес» спущена электрическая люстра. Является оборванный, в крови, волжский помещик, бросается в ноги Екатерине и долго поет о том, как Емелька Пугачев разграбил и пожег его имение. Таким об-

разом Екатерина узнает о начале Пугачевского бунта и посылает туда Михельсона и Суворова. Второе действие в разоренной Пугачевым усадьбе этого помещика, дочь которого, бывшая до сих пор фрейлиной, оказывается сразу же здесь с кинжалом мщения, но Пугачев — Болотин влюбляется в нее и прощает ее покушение. По этому поводу Чика с рваной ноздрей — И. В. Ершов — отхватывает с четверкой балетных гротесков такого трепака, что пол ходуном ходит. Далее все в том же роде. И эта белиберда по бедности «отвечающего времени» репертуара держится на сцене Мариинского театра полсезона.

Не менее примечательна была и постановка тем же Раппапортом байроновского «Сарданапала»* в Александринском театре. (Ведь экие сюжеты-то выбирали.) Здесь этот ультрафиолетовый режиссер учил Ю. М. Юрьева, как надо ходить по сцене: «Шаг с левой ноги, правая рука вперед, придыхание, точка. Шаг с правой ноги, придыхание — точка». Постановка продолжалась месяца полтора. Этот болван измучил всю труппу. Все, до рабов, складывающих костер в финале, ходили с придыханиями и точками. Бедная Мирра — Юренева, та похудела и говорила на репетициях шепотом, а Юрьев надорвал-таки голос. На генеральной репетиции Раппапорт сидел перед столиком с сигналами в партере, и я был свидетелем такой сцены: Юрьев читал свой громовой монолог, когда Раппапорт прервал его и напомнил о порядке движения. Юрьев осатанел и при переполненном театре заорал: «Идите вы к чер-рр-ту с вашими придыханиями и точками!..»

Рассказывали, что у трамвайной остановки против публичной библиотеки кто-то спросил у одного актера: «А что у вас там делает этот Раппапорт?» — «Да просто раппапортит хорошие пьесы!» На ужине у В. А. Рышкова в Академии наук Бахрушин спросил Юрьева: «Зачем Вы держите у себя этого никчемного человека?» Юрьев ответил: «Да вот рекомендовали, а теперь присосался и у нас, и в Мариинском, что поделаешь, а где другие?»

Можно только удивляться, до какой степени последовательность в истории повторима. К эпохе террора и у нас театры расплодились, как опенки к осени. Все эти Трамы, Рамы, Тарарамы культивировали с бездарным составом

сплошную агитку, которая так навязла в зубах, что уже никого не привлекала.

В день гражданской панихиды по В. И. Ленину, после того как все фабрики свистели в течение 5-ти минут, вся актерская братия была согнана в Мариинский театр на траурный митинг. И вот после похоронного марша из «Гибели богов» выступил заместитель наркома по просвещению Кристи. Этот умник начал с того, что заявил: «Товарищи, покойный Ленин не любил и не понимал искусства! Синтез его он видел в кино...» и т. д.

Впрочем, на чествовании А. Ф. Кони* в день его 80-летней годовщины в Академии наук этот самый Кристи после многочисленных приветствий светочу науки и литературы сказал ему: «Ну, товарищ Кони, Вам здесь столько наговорили, что мне остается только пожелать Вам спокойной кончины!..»

Публика развлекалась в филармонии на диспутах Луначарского с протоиереем Введенским. Приезжал в консерваторию и московский Театр Мейерхольда.

Я смотрел «Лес» Островского, видел винтовую лестницу с площадкой, курятник с живыми курами, крестный ход в саду у Гурмыжской и испражнявшегося без порток Ильинского — Аркашку под звуки «Яблочка» на гармошке Петра Восмибратова. После 2-го действия я ушел домой, вспоминая, какой страшный удар я мог бы нанести этой беззастенчивой сволочи, если бы опубликовал его архивное дело с припаданием к стопам Его Императорского Величества и с жандармскими доносами на товарищей Теляковскому. Обнаглевший «народный артист Республики» вряд ли выиграл бы от такого оборота.

Это напомнило мне и курьезный инцидент в Мариинском театре на бенефисе «технологического персонала», когда полупьяный плотник Володька вынес на авансцену собственноручный автопортрет нашего славного певца Федора Ивановича Шаляпина для продажи с американской лотереи. В одной из литерных верхних лож раздался зычный голос: «А он там как? Во весь рост изображен или на коленях?» Говорили, что Шаляпин предлагал весь свой вечеровый гонорар, лишь бы разыскали этого мерзавца. Но его не разыскали: это был ныне покойный танцовщик Миша Петров «с челкой», который опрокидывал и не такие

шутки. Дело в том, что в 1914 году Шаляпин в «Жизни за царя» в 3-м акте встал на колени со всем хором перед царской ложей и трижды пропел гимн. Ну что ж, ведь всякому овощу свое время...

С 1918 года я вошел «ex officio» действительным членом совета вновь организованного музея при дирекции, которому <я> принес в дар вещи В. Ф. Комиссаржевской, оставшиеся в ее квартире, которую я переарендовал от некой Е. А. Шуваловой, у которой, кстати, купил с помощью В. А. Рышкова и роскошный рояль Блютнера, про который М. Т. Дулов говорил, что второго такого инструмента он не знает в Петрограде, и аккомпанировал вдребезги пьяному Паше Самойлову его мелодекламации, после чего Паша и засыпал на ковре под роялем. В эти годы у меня часто ужинали Ю. М. Юрьев, Н. Ф. Монахов и В. В. Максимов, основавшие тогда в консерватории Большой драматический театр, который тоже метал бисер перед свиньями, давая «Разбойников», «Дон Карлоса» и «Рваный плащ», однако с переходом в здание Суворинского Малого театра после гольдоньевского «Слуги двух господ» перешедший на более доходный «Заговор императрицы». Вот когда поистине найдена была «революционная пьеса». Тут тебе и портретность, и захватывающий интерес, и откалывающий под хор цыган трепака Н. Ф.Монахов — Распутин, и разгуливавший по Ставке в стрелковом мундире с малиновой рубахой и распушным кавалерийским темляком Николай II, и хромая Вырубова, и убийцы Дмитрий Павлович и Пуришкевич, и Штюрмер, приехавший в Ставку в белых штанах и смазных высоких сапогах... Эта пьесочка, которая шла даже в сараях по всей республике, имела более 100 000 представлений и дала П. Е. Щеголеву и А. Н. Толстому такие авторские, что за первое полугодие один подоходный налог на них выразился в сумме 27 000 рублей золотом, т. е. теми же бумажками, заменившими при девальвации астрономические миллиарды. Я сам был свидетелем этого расчета, ибо после отъезда нашего Р. Дриго оставался его доверенным и получал в Союзе его авторские за балетную музыку. С 1919 года я стал и членом правления в театральной комиссии Русского театрального общества и уже настолько близким к театральным делам, что то, что я пишу здесь, пе-

режито мною близко, вплотную к театру. Часто после заседаний правления мы с покойным ныне Е. П. Карповым шли обедать на Невский в единственный тогда, кажется, ресторан «Интернационал», и сколько интересного из своей красочной жизни рассказал мне старик, бывший свидетелем и расцвета и падения Александринского театра. Вся жизнь этого человека прошла в театре. Вот это был действительно революционный драматург, просидевший за свои пьесы в ссылке, но теперь его «Рабочая слободка», «Зарево», «Шахта "Георгий"» не понадобились. Работа, которую он составлял у меня в архиве, была чрезвычайно интересна и охватывала характеристики всех его современников.

И Е. П. Карпов, и П. П. Гнедич были допущены начальством моим и до секретных отделов архива, т. е. до персональных дел о службе здравствующих актеров, и, Боже мой, что оттуда только не извлекалось через очки личных воспоминаний таких деятелей, как Карпов и Гнедич...

Огромные фолианты личных дел Мамонта Дальского, Григория Ге, Савиной, Далматова и Давыдова представляли неисчерпаемый литературный материал «недавнего прошлого» и приподнимали завесу над бытьем нашей казенной сцены.

Просматривая объемистое дело М. Г. Савиной, Е. П. Карпов вспомнил, как шла одна из репетиций «Последней жертвы» Островского. Савина и Далматов были в сугубой ссоре и лет 10 не разговаривали друг с другом. А тут в конце диалога при примирении приходилось целоваться. В. П. Далматов остановился в смущении, а Савина спокойно, как всегда в нос, дала реплику: «Ну что ж, черт Вас дери, целуйте; ведь нам за это деньги платят». Сотни таких характерных рассказов и воспоминаний пропали у меня в памяти; к сожалению, я их не записывал в свое время, так же как и сотни четверостиший и остроумнейших эпиграмм покойного М. П. Садовского, ходивших некогда из уст в уста. Лишь разбираясь часами в богатейшем Бахрушинском музее, когда я наезжал в Москву, мне удавалось иногда находить курьезные записные книжки Н. А. Попова, Кондратьева и других прежних театральных деятелей, заполненные сатирическими меткими и острыми заметками и стихами.

В Москве я бывал сравнительно часто, останавливался по большей части у А. А. Бахрушина и от завтрака до позднего обеда не вылезал из музея, этого бездонного кладезя собранных, как трудолюбивой пчелой, бесценных реликвий русского театра. И подумать только, как возник этот единственный, пожалуй, во всем мире музей. А. А. Бахрушин еще юношей выбирал на Кузнецком мосту в эстампном магазине картинки с головками «красавиц» и встретил там Кондратьева. «Что Вы здесь покупаете, юноша?» Бахрушин смутился и ответил: «Да вот портреты актеров и актрис, собираю». — «А, это очень любопытно, и что же, много уже собрали?» — «Да, порядочно». — «Ну я зайду к Вам через недельку посмотреть Вашу коллекцию». Бахрушину, уже из самолюбия, не желая оказаться лгуном, волей-неволей пришлось накупить актерских портретов и разного театрального старья на Хитровом и Сухаревском рынках. Кондратьев действительно пришел, принес ему сборник старых афиш и литографию А. Н. Островского, и с этого началось 30-летнее собирательство театральной старины, на которое он <Бахрушин> ухлопал не одну сотню тысяч из своего громадного капитала. Такой музей мог создать только человек, который вместе с братьями владел в Москве 156-ю домами, 4-мя кожевенными фабриками и 6-ю паровыми мельницами. За Зацепой был Бахрушинский переулок, была Бахрушинская железная дорога (ветвь Павелецкой линии) и десятки богаделен и благотворительных учреждений его имени.

Только миллионы, которым он счета не знал, могли помочь создать такое чудо, как его собрание. Вскоре фотографии и олеографии были уже выброшены и заменились лишь маслом, пастелью и акварелью, появилась масса скульптуры, фарфора, и богатый особняк на Лужнецкой стал заполняться подлинными реликвиями со времен крепостного театра и братьев Волковых до последних дней, которые уже выразились в художественных макетах Мамонтовской оперы, театра мейнингенцев и художников из Газетного переулка*.

Странно, что самая мысль о создании Московского Художественного театра впервые возникла на веранде бахрушинского сада за послеобеденным кофе. А. А. показывал

мне стол и места, где сидели В. И. Немирович-Данченко, Станиславский, А. П. Чехов и Москвин, составившие и подписавшие первый проект устава нового театра, ставшего впоследствии светочем русской драмы не только у себя на родине, но и в далекой Америке.

В 1915 году А. А. Бахрушин передал все свое громадное, не поддающееся оценке собрание Российской Академии наук. Был торжественный акт с банкетом, на который приехал президент Академии, великий князь Константин, что очень смутило Бахрушина в произнесении им речи. «Ну, смелее, — сказал великий князь, — здесь важны не слова, а Ваш исторический поступок». Но, увы, через 3 года все стекла музея были прострелены, и если бы не милость А. В. Луначарского, давшего охрану из взвода безграмотных латышей, этих «советских швейцарцев», то музей попросту был бы разграблен. Но дело все равно погибло, как и все русское искусство... Последнее десятилетие своего существования музей «прозябал» в руках полуграмотных ставленников, а со смертью самого А. А. Бахрушина и окончательно превратился в экскурсионную базу для красноармейцев и комсомольцев, которым и до театра-то мало интереса, а музей представил лишь арену для кражи мелких вещей, чему я сам был свидетелем в 1926 году, когда в последний раз был в Москве, ночевал на диване в волшебном балетном уголке кабинета А. А., и, разбуженный в 8 часов утра ввиду прибытия экскурсии, я успел лишь, наскоро одевшись, дойти до уборной, как у меня со столика свистнули чашку, блюдце и серебряную ложку, деревянный портсигар с папиросами и 2 бутерброда с ветчиной!

Тут действительно вспомнишь неподражаемый номер «<Нового> Сатирикона» А. Т. Аверченко, посвященный Пролеткульту, с изображенной на обложке косматой обезьяной с гребешком в руке и с эпиграфом: «Культура — это такая вещь, о которой надлежит судить лишь людям сведущим. Вольтер».

В этот последний приезд Москва произвела на меня удручающее впечатление. Денег своих с московского Малого театра за выполненную работу мне получить не удалось, потому что А. И. Южин умирал за границей, а московский Госиздат кишел мазуриками, не признававшими своих

письменных обязательств. Процесс в Верховном суде по делу Р. Е. Дриго тянулся второй год. От старой хлебосольной Москвы ничего не осталось, и в «Праге» на Арбате паршивый обед стоил 15 рублей. Единственным отдохновением была опера К. С. Станиславского на Б. Дмитровке, где Ю. А. Бахрушин заведовал постановочной частью и достал мне 2 кресла на «Онегина» и «Царскую невесту». Я поражался, до какой степени может дойти искусство перспективного письма: на крошечной сцене в 45 квадратных метров была изображена вся Кремлевская стена со Спасской башней, жилищем Бомелия и девичьим палисадником. Видимо, Станиславский мог выбирать своих молодых артистов из 1000 — одного, ибо такого подбора труппы я еще в жизни не видал. Певицы были сплошь редкие красавицы с чудными, сочными, молодыми голосами, певцы на подбор — будущие Собиновы и Шаляпины. Такого стройного исполнения корсаковской оперы мне не приходилось нигде еще слышать. Так же прекрасно поставлен и «Онегин». На этой крошечной сцене прекрасно проходил и бал у Лариной, и петербургский бал. Исполнение было четкое, прекрасное и в музыкальном, и в вокальном отношении и привело бы, вероятно, в восторг самого Чайковского. Театр этот, кажется, единственный в Москве, не тронутый случайно новыми веяньями, потому, очевидно, и мог существовать и процветать. Сборы всегда были полные, да оно и понятно — где-нибудь должна же еще ютиться музыкальная публика, которой не нужно мейерхольдовских «Д. Е.», «Ревизоров» и «Горя уму». Даже Дом Щепкина сдал, изображая «Медвежью свадьбу» и прочую кинобелиберду*.

В. В. Федоров рассказал мне, как покойный А. И. Южин остался верен себе до смерти — балагуром и забавником в последние минуты. Итальянский доктор посадил его на жестокую диету, от которой Южин через неделю взвыл и, разыскав во Флоренции русского врача, перешел к нему. Однако и русский врач, увидев туберкулез пищевода, согласился лишь на питательную клизму. «Это еще что за штука?» — спросил удивленный Южин. «А мы введем Вам в желудок крепкий бульон...» — «Но будьте добры, хоть по крайней мере с пирожками...»

Южин точно дал сигнал началу актерского мора. В тече-

ние последующих 4-х лет сошли в могилу* такие крупнейшие деятели русской сцены, как Р. Б. Аполлонский, Н. Андреев, А. Бахрушин, Б. И. Бентовин, С. В. Брагин, Н. С. Васильева, В. П. Валентинов, П. П. Гнедич, В. Н. Давыдов, М. Н. Ермолова, Г. Г. Исаенко, Е. П. Карпов, А. Р. Кугель, И. С. Ларский, И. Н. Потапенко, В. А. Рышков, Садовская, И. В. Тартаков, В. К. Травский, К. К. Витарский, П. И. Шаповаленко, В. С. Шаронов, А. А. Чижевская, Кондрат Яковлев и др. Как-то жутко стало.

Русский театр как будто сразу опустел от таких утрат, и вспоминаются слова покойной В. В. Стрельской из «Не все коту масленица»: «Да, вот хороших-то людей Бог прибирает, а шантрапа разная, та остается...» И «шантрапа» завладела по праву наследства бедной русской сценой.

За 15 лет службы стали давать звания заслуженных артистов, и когда А. А. Усачеву уже в третий раз заявили, что к 35-летнему юбилею его «пожалуют», то он ответил: «Знайте только одно: если заделаете меня заслуженным, то я ваш знак нацеплю на задницу, да так и буду носить... Нас, «незаслуженных», теперь меньше, и это много почетнее». Его оставили, кажется, и по сие время в покое.

Приложение

Curriculum vitae*

Лешков Д. И.

Родился 3-XII-1883.

Образование: полный курс Кадетского корпуса и Артиллерийского училища.

Служба: 1) 3 года военной службы (преимущественно преподавание механики и электротехники в школе) — 1904—1907.

2) Чертежник Технического отдела Министерства путей сообщения (около 1 года) — 1908—1909.

3) Секретарь правления Акц<ионерного> о<бщест>ва «Ромергаз» (3 1/2 года) — 1910—1914.

4) Служба на фронте (2 1/2 года) — последняя должность и<сполняющий> д<олжность> старшего адъютанта Штаба корпуса — 1915—1917.

5) Служба в Красной Армии (инструктор-лектор по автомобильно-мотоциклетному делу; зав<едующий> самокатной мастерской). В 1922 г. демобилизован по состоянию здоровья — 1918—1921.

6) Заведующий архивом Дирекции госуд<арственных> театров; член совета музея Актеатров; секретарь юбилейной комиссии б. Александринского театра; член правления Русского театр<ального> о<бщест>ва (8 лет) — 1918—1926.

7) В период безработицы по направлению Биржи труда на временные работы:

а) Областной коммунальный банк (приведение в порядок архива) — 1929;

б) Госуд<арственный> кожевенный завод Радищева (делопроизводитель и архивариус) — 1930;

в) Правление треста «Ленжот» (делопроизвод<итель>, архив<ариус> и пом<ощник> зав<едующего> делами) — 1930.

С 1907 года литературная работа без перерыва до 1931 г. (Сотрудничество в 12-ти газетах и журналах по историческим и критическим статьям.) За революционное время 5 отдельных изданий (историко-исследовательские работы) и много подготовленных к изданию работ.

С делопроизводством и секретарскими обязанностями знаком вполне.

В настоящее время без работы.

---

* РГАЛИ, ф. 794, оп. 1, ед. хр. 15.

Комментарии

Воспоминания Д. И. Лешкова публикуются по автографу, хранящемуся в Российском государственном архиве литературы и искусства (ф. 794, оп. 1, ед. хр. 17—28, 30), по современной орфографии с сохранением особенностей авторской стилистики. Первая тетрадь имеет заголовок «Конспект автобиографии. Собрание воспоминаний детства и кадетской жизни». Публикатором продолжена нумерация глав, начатая мемуаристом, перед главами вставлены экстензо и в некоторых случаях текст разбит на абзацы.

С. 23. *...читал... «Задушевное слово» и подписи под картинками «Нивы».* — «Задушевное слово» — журнал для детей младшего возраста, основанный в 1876 г. «Нива» — иллюстрированный еженедельный журнал литературы, политики и современной жизни, выходивший с 1870 г.

С. 24. *...с дневной музыки...* — Ежедневно с двух до четырех часов в Павловском вокзале играла полковая музыка. Вечерние концерты начинались в 7.30 и иногда оканчивались так поздно, что публика разбегалась, боясь опоздать на последний поезд.

С. 27. *...играл в Панаевском театре.* — Панаевский театр на Адмиралтейской набережной построен в 1887 г. инженером путей сообщения В. А. Панаевым. Названия «Панаевский» и «Театр Панаева» сохранились в афишах, рецензиях, в быту, несмотря на перемену владельцев. Одновременно театр носил название действовавших здесь антреприз.

С. 31. *...пришла из Главного управления бумага...* — Имеется в виду Главное управление военно-учебных заведений.

С. 32. *...Здание это помещается в самой захолустной части Петербурга...* — 2-й Кадетский корпус находился на Ждановской наб., 11—13.

...солдат по названию «каптенармус»... — должностное лицо младшего командного состава, ведавшее хранением и выдачей снаряжения, обмундирования и продовольствия.

С. 34. *...Похороны Александра III.* — Описание похорон в записках Лешкова отсутствует.

С. 35. *...сын артистки Василеостровского театра.* — Василеостровский народный театр открыт в 1887 г. по инициативе интеллигенции промышленных предприятий Васильевского острова; сдавался в аренду частным антрепренерам.

С. 43. *Великий князь Борис Владимирович* (1877—1943) — двоюродный брат Николая II. С 1903 г. в лейб-гвардии Гусарского полка, участник Русско-японской войны.

С. 48. *...антрепризу Павловского театра держала З. В. Холмская...* — Павловский театр был выстроен невдалеке от вокзала в «дачно-русском» стиле, открылся в 1876 г. Доминирующее положение в театре занимали драматические представления, он долгое время оставался «летним», отданным в распоряжение антрепренеров.

С. 50. *...«Птичка Божия не знает...»* — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1829).

С. 55. *...сыграли 2 роббера в винт...* — в некоторых карточных играх — круг игры, состоящий из трех партий.

С. 56. *...как дьявол «исчезнет от лица Господня, яко воск от огня»...* — неточное цитирование молитвы Честному Кресту «Да воскреснет Бог...».

С. 57. *...поглотил его (Толстого) сочинения... изданные за границей и запрещенные в русской печати.* — В 1890—1900-х гг. в Англии выходило Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных в России.

...Главным же образом... «В чем моя вера». — Сочинение Л. Н. Толстого было издано в 1884 г., но запрещено Главным управлением по делам печати. Не появившись в печатном виде, «В чем моя вера?» получила широкое распространение в рукописных, гектографированных и литографированных копиях. В 1885 г. вышла во французском, немецком и английском переводах. Полностью напечатана в Женеве без указания года (2-е изд. — 1888), в России «В чем моя вера?» появилась в 1906 г.

...«Патриотизм и правительство»... — Статья Л. Н. Толстого, написанная в 1900 г., впервые напечатана в этом же году В. Г. Чертковым в Англии и затем переиздана берлинскими издательствами.

...дело было замято и не дошло до великого князя Константина Константиновича. — Великий князь Константин Константинович (1858—1915), президент Академии наук, с 1900 г. был назначен главным начальником военно-учебных заведений.

С. 78. *...совет... не читать г-на Иловайского...* — Историк и публицист Д. И. Иловайский (1832—1920) был автором широко распространенных учебников по всеобщей и русской истории для средней школы.

...рекомендовал... «Историю» Кареева... — Имеется в виду курс историка Н. И. Кареева (1850—1931) «История Западной Европы в новое время» в семи томах (СПб.,1892—1917).

С. 83. *...Наконец, 2 мая...* — Здесь и далее Лешков дважды ошибается: события, описываемые им, относятся к июню.

С. 92. *...шли с чемоданами pizzicato...* — Термин, означающий в музыке прием извлечения звука щипком на струнных смычковых инструментах (от *ит.* pizzicare — щипать), неоднократно используется в записках Лешкова в значении «пешком».

С. 96. *Rond de jamb (фр.)* — балетный термин, означающий круговое движение ноги.

С. 99. *Pas d'action (фр.)* — в XVIII—XIX вв. танец, воплощающий развитие действия балетного спектакля, носил данное название.

С. 101. *Клакер* — лицо, нанятое для того, чтобы аплодисментами, криками или свистом создавать впечатление успеха или провала артиста, пьесы. *Клака* — клакеры театра.

С. 104. *Карабчевский Николай Платонович* (1851—1925) — адвокат, писатель, публицист.

С. 107. *«Петербургская газета»* — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся с 1867 г.

Дебаркадер — платформа на железнодорожной станции.

С. 109. *...разыскали Садовую-Куртинную...* — Петербуржец Лешков ошибается в названии московской улицы Садовой-Кудринской.

«Вся Москва» — адресная и справочная книга, издававшаяся с 1894 г.

С. 110. *Fouettès (фр.)* — термин, обозначающий ряд танцевальных pas, напоминающих движения хлыста, крутящегося или резко распрямляющегося в воздухе.

Jetté en tournant (фр.) — термин относится к движениям, исполняемым броском ноги.

Plié (фр.) — приседание на двух или одной ноге.

Pirouette (фр.) — термин, обозначающий разновидность вращений.

En dehors et en dedans (фр.) — основное положение ног, принятое в классическом танце,— развернутое, открытое и «закрытое», когда носки и колени сведены.

С. 111. *Карт-постали* — открытки (от *фр.* carte postale).

С. 118. *...эту белиберду исполнили ... в Красносельском театре.* — Красносельский театр функционировал во время летней стоянки в Красном Селе войск Петербургского гарнизона и находился в ведении главнокомандующего войсками. Выступали в нем лучшие силы Императорских трупп, причем с 1861 г. участие в спектаклях артистов балета стало обязательным.

С. 121. *Андрей Владимирович* (1879—1956) — великий князь, двоюродный брат Николая II; генерал-майор свиты. С 1911 г. — присутствующий в Правительствующем сенате, в 1915 г. — командир лейб-гвардии конной артиллерии.

С. 127. *...дивертисмент в «Новой опере» (театр «Олимпия» на Бассейной)...* — С 1902 г. летний театр «Олимпия» назывался Новым летним театром, и в нем до 1908 г. преимущественно шли оперные спектакли.

С. 128. *...обедали у Кюба...* — Ресторан «De Paris» на Б. Морской по традиции назывался по имени владельца.

С. 129. *...вступил в... квартиру в 4-м ярусе Александринского театра...* — Квартира полицеймейстера Александринского театра находилась в здании театра.

С. 130. *...кроме грязи и пьяных «иоаннитов»...* — Имеются в виду почитатели протоиерея кронштадтского Андреевского собора Иоанна Кронштадтского (1829—1908).

С. 131. *Кантонист* — солдатский сын, приписывавшийся с рождения к военному ведомству и подготовлявшийся к солдатской службе в особой низшей военной школе.

С. 146. *...сидели с ним вдвоем у Лейнера...* — ресторан на Невском проспекте.

С. 147. *...Но однажды на мой урок явился комендант...* — Лешков, увлекшись пояснениями, «забыл» завершить предложение.

С. 148. *...правительство отнимает у семей... работников, держит их в непонятной... для них жизни... 5 лет...* — С 1889 г. служили четыре года в пехоте, пять лет — в кавалерии и артиллерии, семь лет — во флоте. С 1906 г. срок службы сократился: в сухопутных — три, во флоте — четыре года.

С. 149. *Демимонденка* — дама полусвета (от *фр.* demi-monde).

С. 150. *...чудный инструмент Леппенберга...* — Г. Ф. Леппенберг — владелец фортепьянной фабрики, купец.

...дабы не быть произведенным молвою в испанского короля... — то есть не прослыть сумасшедшим по ассоциации с героем «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя, вообразившим себя испанским королем.

С. 155. *Владимир Александрович* (1847—1909) — великий князь, дядя Николая II; главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа в 1884—1905 гг.

С. 157. *...Здесь я прожил всю зиму и весну 1905 года.* — Описка мемуариста: речь идет о 1906 г.

С. 157. *«Русь»* — ежедневная общественная, политическая и литературная газета, издававшаяся с 1897 г.

«Петербургский дневник театрала» — еженедельная театрально-литературная газета, выходившая в 1903—1904 гг.

С. 171. *«Новое время»* — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся с 1868 г.

«Московские ведомости» — ежедневная газета, выходившая с 1756 г.

С. 178. *Карье-Беллез А.* — французский скульптор.

С. 181. *...прослыли за «двух Аяксов»...* — в греческой мифологии имя двух участников Троянской войны, очень близких по своему духу. В «Илиаде» они часто выступали рука об руку.

С. 184. *Крафт-Эбинг Рихард* (1840—1902) — австрийский психиатр; впервые собрал и обобщил большой фактический материал о половой психопатологии. Его монография на эту тему в 1890-х гг. выдержала в Германии девять изданий.

С. 185. *...платье directoire...* — платье типа туники, подпоясанное под грудью.

С. 191. *...под звуки персидского «сазандари»...* — Сазандари — исполнитель на сазе или другом народном инструменте в Закавказье.

С. 192. *Стипль-чез* — скачки или бег с препятствиями (от *англ.* steeple-chase).

С. 198. *...начали давать электробиографические представления...* — немые короткометражные движущиеся картинки.

С. 199. *Ренклод* — вид сливы.

...отправились в театр и сад «Омон»... — новый театр на Б. Садовой, принадлежавший Ш. Омону.

С. 206. *Контрфорс* — противодействие (от *фр.* contre-force).

С. 213. *«Петербургский листок»* — ежедневная газета городской жизни и литературная, выходившая с 1864 г.

Маниковский Алексей Алексеевич (1865—1920) — начальник Кронштадтского крепостного артиллерийского управления. С 1915 г. до февраля 1917 г. — начальник Главного артиллерийского управления Военного министерства, с сентября 1917 г. — товарищ военного министра по снабжению.

С. 217. *...ужин у Контана...* — ресторан на Мойке.

С. 218. *Матчиш* — танец.

...кофточка... застряла у Доменика... — ресторан на Невском.

С. 219. *...творя грандиозные «экривэ»...* — художества (от *фр.* ecrire).

С. 222. *...сапоги с серебряными савельевскими шпорами...* — Шпоры производства мастерской-фирмы «П. Савельев» считались в Петербурге наилучшими.

...иметь николаевскую бобровую шинель... — шинель особого покроя, с пелериной, названная по имени Николая I, введшего ее в обиход.

С. 223. *«Fleur de Nice»* — цветочный магазин в Петербурге.

С. 224. *...но в этот день... Каляев ухлопал Сергея Александровича...* — Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович был убит в Кремле эсером И. П. Каляевым 4 февраля 1905 г.

Рунд — помощник начальника караула при большом количестве постов; прорундовать — проверить караульные посты.

...пока я прорундовал «Корсара»... — «Корсар» — здесь балет А. Адана.

С. 226. *Репримaнд* — выговор (от *фр.* reprimande).

...в пользу своего «Убежища»... — Имеется в виду Убежище Российского Театрального общества для престарелых сценических деятелей, в память императора Александра III (создано в 1895 г.).

С. 227. *...притащили... коробку конфет от Иванова...* — кондитерский магазин «С. И. Иванов» на Театральной площади.

С. 229. *...перекочевали к соседнему итальянцу Альберу...* — ресторан «Французский» на Невском проспекте (владелец А. Бетан).

...3/4 ведра... — старая русская мера объема, равная 12,3 литра.

С. 231. *...На курорте я встретил товарища по училищу подпоручика А. Шапкина.* — В ранних воспоминаниях нет упоминаний о встрече на Кавказе с Шапкиным в 1906 г. Вероятнее всего совместная поездка в Тифлис состоялась летом 1907 г.

С. 233. *...Он оказался профессором Харьковского университета Листопадовым...* — В ранних воспоминаниях Лешкова его попутчик в поезде именуется П. Оршанским. Вероятно, здесь речь идет об Исааке Григорьевиче Оршанском, профессоре кафедры нервных и душевных болезней Харьковского университета. Некий Листопадов, профессор математики Электротехнического института, ехал в одном купе с Лешковым из Петербурга на Кавказ.

С. 234. *...вез теперь в Петербург составленный нами совместно «Учебник инструментовки для духовых оркестров»...* — Речь может идти только о первом издании книги: *Ихильчик Г. И.* Руководство к военной инструментовке. М., [1904]. Второе издание вышло в 1911 г. Поскольку Лешков прибыл на Кавказ, по собственным словам, в 1906 г., налицо явный анахронизм.

...Я застал еще в Павловске конец сезона и наслаждался пьяными Галкиным... — Н. В. Галкин дирижировал летними симфоническими концертами в Павловске в 1892—1903 гг.; Лешков, вероятно, ошибается, упоминая его имя применительно к летнему сезону 1906 г.

Елизавета Маврикиевна (1865—1927) — великая княгиня, жена великого князя Константина Константиновича.

С. 235. *Кубуч* — Комиссия по улучшению быта ученых.

...постановки... в школе... — Имеется в виду Балетное отделение Петербургского театрального училища.

С. 236. *...лишь позже вылившегося в «Мир искусства», породивший уже безобразные формы «0,01» и «Ослиный хвост»...* — Объединение «Мир искусства» существовало в те же годы, когда выходил одноименный журнал (1899—1904), и до отъезда С. П. Дягилева с Русскими сезонами за границу в 1907 г. К экспрессионизму (в смысле художественного течения) «Мир искусства» отношения не имел. «0,0 1» — вероятно, имеется в виду выставка «0,10», организованная в 1915 г. К. С. Малевичем, на которой были показаны его первые супрематические полотна; «Ослиный хвост» — выставка, организованная в 1912 г. М. Ф. Ларионовым.

...Такие гибкие артисты, как А. Павлова, Т. Карсавина, П. А. Гердт... — Вероятно, описка Лешкова и имеется в виду Е. П. Гердт.

...провал легатовских «Кота в сапогах» и «Аленького цветочка»... — Премьера балета «Кот в сапогах» на музыку А. Н. Михайлова состоялась 10 декабря 1906 г. Один из рецензентов писал: «...ни музыка, совершенно непонятная и немелодичная, ни постановка, ни декорация, ни костюмы — ничто не предсказывает новорожденному долгой жизни» (цит. по: *Красовский В.* Русский балетный театр начала XX века. Л., 1971.Т. 1. С.84). «Кот в сапогах» прошел еще только один раз. «Вариации на темы Петипа» представлял собой и новый оригинальный балет Легата «Аленький цветочек» на музыку Ф. А. Гартмана. Премьера состоялась 16 декабря 1907 г. «Аленький цветочек» так же быстро исчез из репертуара Мариинского театра, как и «Кот в сапогах».

Проппер Станислав Максимилианович (1855—1931) — с 1880 г. редактор-издатель газеты «Биржевые ведомости».

С. 237. *...Вы и Савонаролу лично не знали...* — А. Л. Волынский редакти-

ровал перевод биографии Савонаролы, вышедший только в 1913 г. (*Виллари П.* Джироламо Савонарола и его время / Пер. Д. Н. Бережкова. Ред. А. Л. Волынского. [СПб.,] 1913). Скорее всего, здесь имеется в виду монументальная биография Леонардо да Винчи, вышедшая в 1900 г., автором которой был Волынский.

...Полемика моя... напечатана в «Театре и спорте» за 1920/21 год. — В 1922 г. Лешков выступал на страницах газеты «Обозрение театров и спорта» с полемическими статьями, касающимися вопросов графической записи балетных танцев и, в частности, «балетных записей» режиссера Н. Г. Сергеева.

С. 238. *...достовала «николайдоры»...* — николаевские золотые десятки (по аналогии с французскими луидорами).

С. 241. *...ряд нудных Ибсенов и Гауптманов с В. Ф. Комиссаржевской и Н. Ходотовым...* — В. Ф. Комиссаржевская в Драматическом театре своего имени, открытом осенью 1904 г., сыграла роли Норы, Гильды, Гедды Габлер в пьесах Г. Ибсена «Строитель Сольнес» и «Гедда Габлер». Н. И. Ходотов сыграл роль Освальда в пьесе Ибсена «Привидение» в Михайловском театре.

С. 245. *...Вышел из печати 1-й том...* — Имеется в виду книга «История русско-японской войны» (ред.-издатель М. Е. Бархатов и В. В. Функе. Т. I—VI. СПб.,1907—1909).

С. 249. *...по примеру своего губернатора фон Шиллинга...* — Ошибка Лешкова: в 1907 г. губернатором Архангельской губернии был Н. И. Качалов.

...онкольный счет... — банковский счет, с которого, по мере надобности вкладчика, деньги выдавались под обеспечение ценных бумаг до востребования (от *англ.* on call).

С. 250. *«Слово»* — ежедневная политическая, общественная и литературная газета, выходившая в 1903—1909 гг. В 1906—1909 гг. — редактор М. М. Федоров.

С. 254. *...образцы «романовского паркета из развернутого дерева...* — Упомянутые подробности в записках Лешкова отсутствуют.

С. 255. *...израненных в мензурах...* — дуэлях.

С. 256. *...Губернатор Зиновьев...* — Ошибка Лешкова: в 1908 г. губернатором Лифляндской губернии был Н. А. Звегинцев.

С. 257. *...дирижировал Н. А. Римский-Корсаков (осенью скончавшийся)...* — Ошибка Лешкова: Н. А. Римский-Корсаков умер 8 (21) июня 1908 г.

С. 258. *...над «стейнвеем»...* — инструмент американской фортепьянной фирмы «Стейнуэй и сыновья».

С. 261. *...грандиозное предприятие С. П. Дягилева.* — Русские сезоны оперы и балета за границей, организованные С. П. Дягилевым, открылись в Париже в 1907 г.; в 1909 г. впервые наряду с оперными спектаклями были показаны балеты М. М. Фокина.

С. 263. *...В следующее лето Дягилев... перекочевал в Ковент-Гарденский театр...* — Ошибка Лешкова: гастроли в Лондоне состоялись в 1911 г.

С. 266. *Сазонов Сергей Дмитриевич* (1860/61?/—1927) — министр иностранных дел в 1910—1916 гг.

С. 270. *...тогда возобновляли Островского...* — Возобновление пьесы А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» в Театре драмы состоялось в 1921 г. (режиссер Е. П. Карпов).

«Фенелла» — опера Д. Ф. Обера; премьера состоялась 7 ноября 1918 г. в б. Мариинском театре. *«Риенци»* — опера Р. Вагнера; премьера состоялась 7 ноября 1923 г. (режиссер Н. В. Петров).

...переделки поэтической «Тоски»... — Имеется в виду опера «В борьбе за коммуну» на музыку «Тоски» Дж. Пуччини (композиция и текст Н. Г. Виноградова и С. Д. Спасского, постановка Н. Г. Виноградова).

С. 271. ...*Шарль Гуно и Шпор почти одновременно писали «Фауста»*... — Ошибка Лешкова: Луи Шпор сочинил оперу «Фауст» в 1816 г., а Шарль Гуно своего «Фауста» — в 1859-м.

С. 272. ...*постановка... байроновского «Сарданапала»*... — Премьера «Сарданапала» (по Д. Байрону) состоялась 11 апреля 1924 г. в Театре драмы (режиссер Н. В. Петров).

С. 273. ...*на чествовании А. Ф. Кони*... — Торжественное собрание в Академии наук, посвященное 80-летнему юбилею А. Ф. Кони (1844—1927), проходило 9 февраля 1924 г.

С. 276. ...*художников из Газетного переулка*... — Имеется в виду Московский Художественный театр. В XIX в. Камергерский переулок назывался также Старогазетным.

С. 278. ...*изображая «Медвежью свадьбу» и прочую кинобелиберду*... — пьеса А. В. Луначарского, поставленная в Малом театре в 1924 г. В 1926-м была экранизирована В. Р. Гардиным.

С. 279. ...*В течение последующих 4-х лет сошли в могилу*... — Многие из перечисленных Лешковым деятелей театра умерли ранее 1927 г., то есть до смерти А. И. Южина.

Словарь имен театральных деятелей

Александров Михаил Сергеевич (1870—1920) — артист балета; в 1888—1908 гг. — в Мариинском театре.

Андреев Василий Васильевич (1861—1918) — музыкант, исполнитель на балалайке; организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов (1888, с 1896 г. — Великорусский оркестр).

Андреев Николай Андреевич (1873—1932) — театральный художник, скульптор, график.

Анисфельд Борис (Бер) Израилевич (1879—1973) — живописец, театральный художник. Оформлял балетные спектакли М. М. Фокина.

Аполлонский Роман Борисович (1865—1928) — актер Александринского театра с 1881 г.

Ауэр Леопольд Семенович (1845—1930) — скрипач, дирижер, педагог. В 1872—1906 гг. — солист оркестра Мариинского театра.

Байер Йозеф (1852—1913) — австрийский композитор, скрипач и дирижер. Автор 22 балетов.

Бакеркина Надежда Алексеевна (1869—1941) — артистка балета. В Мариинском театре с 1886 г.

Бакст Лев Самойлович (1866—1924) — живописец, театральный художник. Его первая работа для балета — оформление «Феи кукол» Й. Байера.

Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910) — композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель.

Балашова Александра Михайловна (1887—1979) — артистка балета, педагог. С 1905 г. — в труппе Большого театра; с 1931 г. преподавала в Париже.

Балетта Элиза — французская артистка балета. В 1891—1906 гг. выступала во французской труппе Михайловского театра.

Бараш Людмила Павловна (1887— ?) — артистка балета; с 1905 г. — в Мариинском театре.

Баронат Олимпия (1867—1939) — итальянская оперная певица (колоратурное сопрано).

Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941) — драматург, журналист.

Баттистини Маттиа (1856—1928) — итальянский оперный певец (драматический баритон).

Бахрушин Алексей Александрович (1865—1929) — театральный деятель, основатель первого в России театрального музея.

Бахрушин Юрий Алексеевич (1896—1973) — искусствовед. В 1924—1939 гг. заведовал литературной частью в Государственном оперном театре им. К. С. Станиславского. Сын А. А. Бахрушина.

Безобразов Николай Михайлович (1848—1912) — балетный критик. Генерал, действительный статский советник, один из влиятельных петербургских балетоманов.

Бекефи Альфред Федорович (1843—1925) — артист балета. С 1883 г. выступал в Мариинском театре.

Бентовин Борис Ильич (1865?—1930) — драматург, театральный критик, журналист.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, искусствовед, театральный деятель.

Беретта Катерина (1839—1911) — итальянская артистка балета, педагог. Имела обширную международную преподавательскую практику.

Богданов Георгий Поликарпович (1887—?) — артист балета; в 1905—1924 гг. — в Мариинском театре.

Болотин Павел Петрович (1889—1947) — артист оперы, солист ГАТОБа.

Больм Адольф Рудольфович (1884—1951) — танцовщик, балетмейстер. В Мариинском театре в 1903—1911 гг.

Больм Отто Рудольфович — кларнетист оркестра Мариинского театра с 1900 г., дирижер.

Борхард Луиза Александровна (1876—?) — артистка балета; в 1894—1905 гг. — в Мариинском театре.

Брагин Сергей Владимирович (1857—1923) — актер, антрепренер, театральный деятель.

Брианца Карлотта (1867—1930) — итальянская артистка балета. В 1889—1891 гг. выступала в Мариинском театре.

Валентинов Валентин Петрович (1871—1929) — либреттист, композитор, режиссер, антрепренер.

Варламов Константин Александрович (1848—1915) — актер Александринского театра с 1875 г. Всеобщее признание получил как виртуоз водевиля. С 1880-х гг. был болен слоновой болезнью.

Васильева Надежда Сергеевна (1852—1920) — актриса Александринского театра с 1878 г. (в 1897—1901 гг. выступала со своей труппой).

Вержбилович Александр Валерианович (1849—1911) — виолончелист.

Вилль Елизавета (Эльза) Ивановна (1882—1941) — артистка балета. В 1900—1928 гг. — в Мариинском театре.

Вильтзак Анатолий Иосифович (1896—1998) — артист балета, педагог. С 1915 г. — в Мариинском театре. В 1921 г. эмигрировал.

Витарский Константин Константинович (1864—1928) — театральный деятель.

Владимиров Петр Николаевич (1893—1970) — артист балета. В Мариинском театре с 1911 г.

Волков Федор Григорьевич (1729—1763) — актер, основал вместе с братьями Григорием и Гаврилой в 1750 г. в Ярославле публичный театр.

Волынский (Флексер) Аким Львович (1865—1926) — искусствовед, балетный критик. Автор работ по философии, литературе, живописи.

Вольф-Израэль Михаил Александрович (1870—1934) — скрипач, дирижер; в 1892—1912 гг.— артист оркестра и второй капельмейстер Мариинского театра.

Вуич Георгий Иванович (1867—?) — управляющий конторой Императорских театров в 1902—1907 гг.

Гавликовский Николай Людвигович (1868 — ?) — артист балета, педагог; в 1887—1907 гг. — в Мариинском театре. В 1899—1922 гг. преподавал бальные танцы в Петербургском театральном училище.

Галкин Николай Владимирович (1856—1906) — скрипач, дирижер, педагог.

Ге Григорий Григорьевич (1867—1942) — актер и драматург.

Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962) — артистка балета; с 1898 г. — в московском Большом театре.

Гердт Елизавета Павловна (1891—1975) — артистка балета, дочь П. А. Гердта. В Мариинском театре с 1908 г.

Гердт Павел Андреевич (1844—1917) — артист балета, педагог; в 1860—1916 гг. — в Мариинском театре.

Главач Войцех Иванович (1849—1911) — органист, дирижер, композитор.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925) — писатель, драматург, переводчик, историк искусства.

Головин Александр Яковлевич (1863—1930) — художник, оформитель многих спектаклей. С 1901 г. — декоратор петербургских Императорских театров. В 1917 г. оформил драму Лермонтова «Маскарад» в постановке В. Э. Мейерхольда в Александринском театре.

Гофман Иосиф (1876—1957) — польский пианист и композитор.

Гримальди Энрикетта (Генриетта) — ительянская артистка балета. Гастролировала в России в 1899—1906 гг.

Грюнерт Альфред Альфредович — артист оркестра Мариинского театра с 1898 г.

Гуков Митрофан Рафаилович — альтист оркестра Мариинского театра с 1898 г.

Гуно Шарль (1818—1893) — французский композитор, органист, дирижер.

Давыдов Владимир Николаевич (1849—1925) — актер Александринского театра с 1880 по 1924 г. (в 1886—1888 гг. выступал в театре Корша в Москве).

Далматов (Лучич) Василий Пантелеймонович (1852—1912) — актер Александринского театра в 1884—1894 и 1901—1912 гг.

Дальский Мамонт Викторович (1865—1918) — актер.

Дарский Михаил Егорович (1865—1930) — актер и режиссер. В 1902—1924 гг. — в Александринском театре.

Де-Лазари Иван Константинович (1875—1931) — режиссер балетной труппы московского Большого театра с 1900 г. С 1913 г. — актер Александринского театра. Популярный гитарист.

Дешевов Владимир Михайлович (1899—1955) — композитор, автор преимущественно танцевальной музыки.

Домашева Мария Петровна (1875—1952) — актриса Александринского театра с 1899 г.

Домерщикова Анна Платоновна (1888 — ?) — артистка балета; в 1906—1922 гг. — в Мариинском театре.

Дриго Риккардо (Ричард Евгеньевич; 1846—1930) — итальянский композитор, дирижер; с 1886 г. — главный дирижер оркестра балета Мариинского театра.

Дубровская Фелицата Леонтьевна (1896—1981) — артистка балета. В Мариинском театре в 1913—1920 гг.; в 1920—1929 гг. — солистка труппы «Русский балет Дягилева».

Дулов Михаил Тимофеевич (1877—1948) — пианист-аккомпаниатор.

Дуров Анатолий Леонидович (1865—1916) — цирковой артист, дрессировщик.

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — театральный деятель; чиновник особых поручений при дирекции Императорских театров в 1899—1901 гг.

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — актриса Малого театра с 1871 г.

Ершов Иван Васильевич (1867—1943) — артист оперы (драматический тенор); с 1895 г. — в Мариинском театре.

Жакобс Эдуард (1833—1919) — бельгийский виолончелист.

Зазулин Иван Петрович (1857—1893) — актер, драматург, антрепренер. В 1888—1893 гг. держал антрепризу в Панаевском театре на Адмиралтейской набережной.

Зембрих Марчелла (1858—1935) — польская оперная певица (колоратурное сопрано).

Иванов Лев Иванович (1834—1901) — танцовщик и балетмейстер; с 1852 г. — в Мариинском театре, с 1885 г. — второй балетмейстер.

Исаенко Григорий Григорьевич (ум. 1923) — инспектор Балетного отделения Петроградского театрального училища с 1917 г.

Кабелла Эдуардо (1855—?) — итальянский дирижер. Работал в России в 1878—1919 гг.

Кавецкая Виктория Викторовна (ок. 1870—1929) — артистка оперетты; с 1905 г. — в театрах Буфф и Палас-театре.

Канкарович Анатолий Исаакович (1885—1956) — композитор, дирижер, музыкальный критик, педагог.

Карпов Евтихий Павлович (1857—1926) — режиссер, драматург. В 1896—1900 гг. — главный режиссер, в 1916—1926 гг. — режиссер Александринского театра.

Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978) — артистка балета. В 1902—1918 гг. — в Мариинском театре.

Карузо Энрико (1873—1921) — итальянский оперный певец (драматический тенор).

Кленовский Николай Семенович (1853 — 1915) — композитор и дирижер.

Клечковская Лидия Альбиновна (1888—?) — артистка балета. В 1906—1909 гг. — в Мариинском театре. Дочь полицеймейстера Александринского театра А. В. Клечковского.

Козлов Федор Михайлович (1882—1956) — артист балета, педагог. С 1910 г. гастролировал с собственными труппами в Великобритании, США и других странах. В 1920-е гг. имел школы балета в США.

Колонн Эдуард (1838—1910) — французский скрипач, дирижер.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса Александринского театра в 1896—1902 гг.; осенью 1904 г. открыла Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской.

Кондратьев Алексей Михайлович (1846—1913) — актер, режиссер Малого театра.

Корнальба Элена — итальянская балерина. Гастролировала в Петербурге на сцене Мариинского театра в 1887—1889 гг.

Корчмарев Климентий Аркадьевич (1899—1958) — композитор.

Кристи Михаил Петрович (1875—1956) — заведующий Петроградским управлением научных учреждений Академического центра Наркомпроса, член художественного совета Театра драмы.

Крупенский Александр Дмитриевич (1875—1939) — управляющий Конторой Императорских театров в 1903—1914 гг.

Кугель Александр Рафаилович (1864—1928) — литературный и театральный критик, драматург, режиссер.

Кузнецова-Бенуа Мария Николаевна (1880—1966) — артистка оперы (сопрано); солистка Мариинского театра с 1905 г.

Куличевская Клавдия Михайловна (1861—1923) — артистка балета, педагог. В 1880—1901 гг. — в труппе Мариинского театра. В 1901—1917 гг. — педагог Петербургского театрального училища. Для выпускных спектаклей ставила отдельные номера и балеты.

Купер Эмиль Альбертович (1877—1960) — дирижер Оперного театра С. И. Зимина в Москве в 1907—1909 гг.

Кусов Иван Николаевич (1875—1946) — артист балета, педагог; в 1894—1922 гг. — в Мариинском театре.

Кшесинская Матильда Феликсовна (1872—1971) — артистка балета, педагог; в Мариинском театре с 1890 г. Прощальный бенефис Кшесинской прошел 13 февраля 1904 г.; в 1904—1917 гг. балерина выступала на положении гастролерши.

Кшесинский Иосиф Феликсович (1868—1962) — артист балета, педагог. Брат М. Ф. Кшесинской. В Мариинском театре в 1886—1905 и 1914—1928 гг.

Кякшт Георгий Георгиевич (1873—1936) — артист балета, педагог. В 1881—1910 гг. — в Мариинском театре (в 1903—1904 гг. выступал в Большом театре).

Кякшт Лидия Георгиевна (1885—1959) — артистка балета, сестра Г. Г. Кякшта. В 1902—1908 гг. — в Мариинском театре. Сезон 1903/04 гг. выступала в московском Большом театре.

Ланге Леопольд Эдуардович — скрипач оркестра Мариинского театра.

Легат Николай Густавович (1869—1937) — артист балета, педагог, балетмейстер. С 1888 до 1914 г. — в Мариинском театре, с 1902 г. — помощник балетмейстера, с 1910 г. — главный балетмейстер театра.

Легат Сергей Густавович (1875—1905) — артист балета, брат Н. Г. Легата; с 1884 г. — в Мариинском театре.

Леньяни Пьерина (1863—1925) — итальянская артистка балета. В 1893—1901 гг. выступала в Мариинском театре.

Леонтьев Леонид Сергеевич (1885—1942) — артист балета, педагог, балетмейстер; в Мариинском театре с 1903 г.

Липковская Лидия Яковлевна (1882—1958) — артистка оперы (колоратурное сопрано); в 1906—1908 и 1911—1913 гг. — солистка Мариинского театра.

Лихошерстова Варвара Ивановна (ум. 1937 г.) — инспектриса балетного отделения Петербургского театрального училища.

Логановский Николай Николаевич (1856—1917) — виолончелист, солист оркестра Мариинского театра с 1885 г.

Лопухов Федор Васильевич (1886—1973) — танцовщик, балетмейстер, педагог. В 1905—1909 и 1911—1922 гг. — артист балета Мариинского театра, в 1922—1930 гг. — художественный руководитель труппы. Восстановил балет И. В. Стравинского «Жар-птица» в 1921 г.

Лопухова Лидия Васильевна (1891—1981) — артистка балета, сестра Ф. В. Лопухова. В Мариинском театре с 1909 г. В 1910 г. выступала в Русских сезонах Дягилева, в 1911—1915 гг. с группой русских артистов гастролировала в США, Италии, странах Южной Америки.

Лосский Владимир Аполлонович (1874—1946) — оперный певец и режиссер. Поставил оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в 1913 г. в Большом театре, в 1915 г. — в Мариинском театре.

Лукашевич Вера Адольфовна (1888—?) — артистка балета; в 1906—1919 гг. — в Мариинском театре. В 1909 и 1910 гг. гастролировала в труппе Дягилева.

Луначарская-Розенель Наталия Александровна (1902—1962) — актриса Малого театра, жена народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского.

Максимов Владимир Васильевич (1880—1937) — актер; в 1919—1924 гг. — в труппе Большого драматического театра.

Медалинский Александр Юлианович (1879—?) — танцовщик и балетмейстер; в 1897—1922 гг. — в Мариинском театре.

Медведев Петр Михайлович (1837—1906) — актер, режиссер, антрепренер.

Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна (1866—1948) — актриса Александринского театра с 1886 г.

Монахов Николай Федорович (1875—1936) — актер драмы и оперетты; с 1919 г. — в труппе Большого драматического театра.

Мордкин Михаил Михайлович (1880—1944) — артист балета, педагог, балетмейстер. В 1900—1910 и 1912—1918 гг. — в Большом театре.

Морозов Юрий Петрович (1881—?) — балетный критик, издатель, коллекционер, учредитель и редактор-издатель журнала «Балет» (СПб., 1907, № 1—3), затем «Театральной газеты» (СПб., 1907, № 1—4), первых русских специализированных изданий в этой области.

Москвин Иван Михайлович (1874—1946) — актер Московского Художественного театра с 1898 г.

Мясин Леонид Федорович (1895—1979) — танцовщик, балетмейстер; дебютировал как хореограф в труппе Дягилева в 1915 г. Поставил свыше 70 одноактных балетов.

Направник Эдуард Францевич (1839—1916) — композитор и дирижер; с 1863 г. — помощник капельмейстера, с 1869 г. — первый капельмейстер Мариинского театра.

Нижинская Бронислава Фоминична (1890—1972) — танцовщица, балетмейстер, педагог. Сестра В. Ф. Нижинского.

Нижинский Вацлав Фомич (1889—1950) — танцовщик, балетмейстер. В Мариинском театре в 1907—1911 гг.

Новинский Александр Федорович (ум. 1919) — актер Александринского театра с 1887 г.

Павлова Анна Павловна (1881—1931) — артистка балета, с 1899 г. — в Мариинском театре. С 1910 г. перешла на положение гастролерши.

Падеревский Игнацы (1860—1941) — польский пианист и композитор.

Патти Аделина (1843—1919) — итальянская оперная певица (колоратурное сопрано).

Пащенко Андрей Филиппович (1883—1972) — композитор, автор одной из первых советских опер «Орлиный бунт» (1925).

Петипа Вера Мариусовна (1885—1961) — артистка балета, дочь М. И. Петипа; в 1903—1907 гг. — в Мариинском театре.

Петипа Мариус Иванович (1818—1910) — танцовщик и балетмейстер. В 1869—1903 гг. — главный балетмейстер петербургской балетной труппы.

Петипа Мария Мариусовна (1857—1930) — артистка балета, дочь М. И. Петипа. В Мариинском театре в 1875—1907 гг.

Петров Михаил Артемьевич — артист балета Мариинского театра.

Петров Николай Васильевич (1890—1964) — режиссер, театровед. С 1910 г. — в Александринском театре.

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944) — писатель, театральный критик, историк балета. Автор труда по истории русского балета «Наш балет» (СПб., 1896).

Полякова Елена Дмитриевна (1884—1972) — артистка балета, педагог; в 1902—1918 гг. — в Мариинском театре.

Полянский Илья Михайлович (1886—?) — артист балета; с 1904 г. — в труппе Мариинского театра.

Попов Николай Александрович (1871—1949) — режиссер, драматург.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — беллетрист и драматург.

Потоцкая Мария Александровна (1861—1940) — актриса; в 1892—1929 гг. — в труппе Александринского театра.

Преображенская Ольга Иосифовна (1871—1962) — артистка балета, педагог. В Мариинском театре с 1889 г. В 1917—1921 гг. руководила классом пластики при оперной труппе Мариинского театра, преподавала классический танец в Петроградском хореографическом училище, в Школе русского балета А. Л. Волынского. В 1921 г. открыла в Париже балетную студию.

Пресняков Евгений Иванович (1883—?) — артист балета; в 1901—1906 гг. — в Мариинском театре.

Пуни Леонтия Константиновна (Леонтина-Констанция Цезаревна; 1884—?) — артистка балета; в 1903—1913 гг. — в Мариинском театре.

Раппапорт Виктор Романович (1889—1943) — режиссер, драматург. В первой половине 1920-х гг. осуществил ряд постановок на сцене ГАТОБа.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — композитор, педагог, дирижер, музыкально-общественный деятель; с 1871 г. — профессор Петербургской консерватории.

Романов Борис Георгиевич (1891—1957) — артист балета, педагог, балетмейстер; с 1909 г. — в Мариинском театре.

Рославлева Любовь Андреевна (1874—1904) — артистка балета; с 1892 г. — в московском Большом театре.

Рош Анна Николаевна (1871—?) — артистка балета, педагог. В1889—1908 гг. — в Мариинском театре.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель.

Рыхлякова Варвара Трофимовна (1871—1919) — артистка балета; в 1890—1910 гг. — в Мариинском театре. Известна как исполнительница сольных партий в классических балетах.

Рышков Виктор Александрович (1863—1926) — драматург и беллетрист.

Рышков Владимир Александрович (1865—1938) — чиновник особых поручений Академии наук, член совета и правления Литературно-театрального музея им. Бахрушина в Москве.

Рябцев Владимир Александрович (1880—1945) — артист балета, педагог, балетмейстер. С 1898 г. — в Большом театре. В 1908 г. — балетмейстер театра Н. Ф. Балиева «Летучая мышь», в 1910—1917 гг. — театра Незлобина.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — актриса Александринского театра с 1874 г.

Садовская Ольга Осиповна (1849—1919) — актриса Малого театра.

Садовский Михаил Провович (1847—1910) — актер Малого театра с 1869 г.

Садовский Пров Михайлович (младший) (1874 — 1947) — актер и режиссер. С1895 г. — актер, в 1944—1947 гг. — художественный руководитель Малого театра.

Самойлов Павел Васильевич (1866—1931) — актер; в 1900—1904 и 1920—1924 гг. — в труппе Александринского театра.

Светлов Валериан Яковлевич (1860—1934) — балетный критик, литератор.

Северский Николай Георгиевич — артист оперетты театра Буфф.

Седова Юлия Николаевна (1880—1969) — артистка балета, педагог. В 1898—1911 и 1914—1916 гг. — в Мариинском театре.

Скальковский Константин Аполлонович (1843—1906) — театральный и балетный критик, историк балета, публицист, коллекционер, административный деятель.

Смирнов Дмитрий Алексеевич (1882—1944) — оперный певец (тенор).

Смирнова Елена Александровна (1888—1934) — артистка балета, педагог. В 1906—1920 гг. — в Мариинском театре. С 1920 г. жила за границей.

Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — артист оперы (лирический тенор); с 1897 г. — в труппе Большого театра.

Соловьев Николай Феопемптович (1846—1916) — композитор, музыкальный критик, педагог. В 1874—1909 гг. преподавал в Петербургской консерватории (с 1885 г. — профессор).

Спесивцева Ольга Александровна (1895—1991) — артистка балета. В 1913—1924 гг. — в Мариинском театре.

Ставенгаген Бернгард (1862—1914) — пианист.

Стрельская Варвара Васильевна (1838—1915) — актриса Александринского театра с 1857 г.

Тальони Мария (1804—1884) — итальянская артистка, балетмейстер и педагог.

Тартаков Иоаким Викторович (1860—1923) — певец и режиссер.

Теляковский Владимир Аркадьевич (1861—1924) — директор Императорских театров в 1901—1917 гг.

Тистрова Мария Федоровна (1857—1922) — артистка балета; в 1875—1894 гг. — в Мариинском театре.

Травский Владимир Кузьмич (1854—1928) — драматург, переводчик, главный режиссер Императорской итальянской оперы.

Трефилова Вера Александровна (1875—1943) — артистка балета, педагог. С 1894 г. — в Мариинском театре.

Усачев Александр Артемьевич (1863—1937) — актер Александринского театра с 1891 г. В 1934 г. ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Фигнер Медея Ивановна (1859—1952) — артистка оперы (драматическое сопрано), педагог. В 1887—1912 гг. — солистка Мариинского театра. Жена Н. Н. Фигнера.

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — артист оперы (лирико-драматический тенор), педагог. В 1887—1904 гг. — солист Мариинского театра.

Фокин Михаил Михайлович (1880—1942) — артист балета, педагог, балетмейстер. С 1898 г. — в Мариинском театре, в 1905 г. дебютировал как балетмейстер.

Фомин Николай Петрович (1869—1943) — композитор, пианист, педагог, дирижер; с 1896 г. — участник Великорусского оркестра. Обработал и переложил для оркестра русские песни, произведения русских и западноевропейских композиторов.

Ходотов Николай Николаевич (1878—1932) — актер Александринского театра с 1898 г.

Холмская Зинаида Васильевна (1866—1936) — актриса, антрепренер, издатель.

Худеков Сергей Николаевич (1837—1927) — журналист, критик и историк балета, драматург, беллетрист.

Цимбалист Ефрем Александрович (1889—1985) — скрипач, композитор, педагог.

Цукки Вирджиния (1847—1930) — итальянская артистка балета. В 1885—1892 гг. гастролировала в России. В 1885—1888 гг. исполняла в Мариинском театре ведущие роли.

Чекрыгин Иван Иванович (1880—1942) — танцовщик и балетмейстер, композитор, дирижер, педагог; в 1897—1917 гг. — в Мариинском театре.

Черепнин Николай Николаевич (1873—1945) — композитор, дирижер, педагог. В 1906—1909 гг. — хормейстер и дирижер Мариинского театра. В 1909—1914 гг. дирижировал балетными и оперными спектаклями в Париже.

Чижевская Александра Антоновна (1870—1925) — актриса Александринского театра с 1897 г.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — артист оперы (бас); с 1899 г. — в труппе Большого театра; одновременно выступал и в Мариинском театре.

Шаронов Василий Семенович (1867—1929) — артист оперы (баритон).

Шерер Федор Карлович (1891—?) — артист балета, в Мариинском театре в 1909—1914 гг.

Ширяев Александр Викторович (1867—1941) — артист балета, педагог, балетмейстер. В 1885—1905 гг. — в Мариинском театре.

Шоллар Людмила Францевна (1888—1978) — артистка балета, педагог. В Мариинском театре в 1906—1921 гг. В 1921 г. эмигрировала.

Шпор Луи (1784—1859) — немецкий композитор, скрипач, дирижер.

Эдуардова Евгения Платоновна (1882—1960) — артистка балета, педагог. В 1901—1917 гг. — в Мариинском театре; в 1920—1935 гг. преподавала в собственной школе в Берлине.

Южин Александр Иванович (1857—1927) — актер, драматург, театральный деятель. С 1882 г. — в Малом театре; с 1909 г. находился во главе управления театра; с 1923 г. — его директор.

Юргенсон Борис Петрович (1868—1935) — сын нотоиздателя П. И. Юргенсона, один из наследников его музыкального издательства и нотопечатни.

Юренева Вера Леонидовна (1876—1962) — актриса Театра драмы в 1922—1924 гг.

Юрьев Юрий Михайлович (1872—1948) — актер Александринского театра с 1893 г.

Яблочкина Александра Александровна (1866—1964) — актриса Малого театра с 1888 г.

Яворская Лидия Борисовна (1871—1927) — актриса, основательница Нового театра в Петербурге.

Яковлев Кондрат Николаевич (1864—1928) — актер Александринского театра с 1906 г.

Содержание

Лешков Д. И.

Л 53 Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала / Сост., авт. предисл. и коммент. Т. Л. Латыпова. — М.: Молодая гвардия, 2004. — 300[4] с.: ил. — (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 8).

ISBN 5-235-02517-2

Записки Д. И. Лешкова (1883—1933) ярко рисуют повседневную жизнь бесшабашного, склонного к разгулу и романтическим приключениям окололитературного обывателя, балетомана, сбросившего мундир офицера ради мира искусства, смазливых хористок, талантливых танцовщиц и выдающихся балерин. На страницах воспоминаний читатель найдет редкие, канувшие в Лету жемчужины из жизни русского балета в обрамлении живо подмеченных картин быта начала XX века: «пьянство с музыкой» в Кронштадте, борьбу партий в Мариинском театре («кшесинисты» и «павловцы»), офицерские кутежи, театральное барышничество, курортные развлечения, закулисные дрязги, зарубежные гастроли, послереволюционную агонию искусства.

Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями, отражающими эпоху расцвета русского балета.

УДК 92
ББК 85. 335. 42



Лешков Денис Иванович

ПАРТЕР И КАРЦЕР
Воспоминания офицера и театрала

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **В. М. Петров**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технический редактор **Н. И. Михайлова**
Корректоры **Л. М. Марченко, Г. В. Платова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 16.09.2003. Подписано в печать 09.08.2004. Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 15,96+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 34247.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994 Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994 Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02517-2

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Денис Лешков

Партер и карцер



Жизнь эта была и есть, так или иначе, почти сплошной кутеж или увлечение...

По строго заведенному правилу все ужины наши начинались с тостов, следующих в определенном порядке, как то: за Мариуса Петипа (по одной рюмке), за М. Ф. Кшесинскую (по три рюмки), за Преображенскую, Петипа I, Павлову, Трефилову, всех солисток и так далее... Мы дошли до последних корифеек (а если принять во внимание, что всех артисток балетной труппы около 70, то дойти до корифеек — это действительно нечто колоссальное).

Я, как всегда, с позволения сказать, «говел» в церкви Театрального училища... На Пасхальной заутрене явилась только что приехавшая из-за границы Анна Павлова. Я ухитрился похристосоваться с ней 9 раз, на том основании, что 3х3=9. Первые три дня Пасхи я не вылезал из парадного мундира и перецеловал почти весь кордебалет!..

Мы при появлении Кшесинской моментально окружили ее железным, в восемь звеньев, кольцом, и только таким образом ее не задавили поклонники. Несколько раз в течение адски медленного движения от входа из уборной до кареты мы чуть не шашками защищали ее... и когда усадили в карету и приставили почетный караул к каждой дверце, то, несмотря на сопротивление конной полиции, в один момент согнали с козел кучера и выпрягли лошадей. Затем началось триумфальное шествие вокруг театра...

Революционный клич «переоценка ценностей» породил такие уродливые вывихи, которые могла сделать только петровская «дыба». Искусство было сначала раздето догола, потом высечено кнутом и, окровавленное, выброшено на сцену.